К. Паустовский

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

РАССКАЗЫ, СКАЗКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, ЗАМЕТКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

РАССКАЗЫ



КРУЖЕВНИЦА НАСТЯ

Ночью в горах Ала-Тау глухо гремела гроза. Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих пронзительных молний сложный узор — пышные розаны и маленькие хохлатые петухи.

Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за окном. Две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми скалами. В пропасти рычал и перекатывал камни ручей.

— Вот она, Азия! — вздохнул Руднев. — А кружево-то на занавеске наше, северное. И плела его какая-нибудь красавица Настя.

— Почему вы так думаете?

Руднев улыбнулся.

— Мне вспомнилась, — сказал он, — история, случившаяся на моей батарее под Ленинградом.

Он рассказал мне эту историю.

Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на пустынный наш Север.

В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел со старого речного парохода и поселился в доме сельского учителя.

В этой деревушке жила со своим отцом — лесным сторожем — девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и красавица. Настя была молчалива и сероглаза, как все девушки северянки.

Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли в дом сельского учителя. Удрученный несчастьем, старик послал Настю ухаживать за раненым.

Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая ее девичья любовь. Но проявления этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил.

У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней, даже Насте. Все в деревне были убеждены, что Балашов человек одинокий.

Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и принес ей подарки. Настя приняла их.

Балашов впервые попал на Север. Он не знал местных обычаев. Они на Севере очень устойчивы, держатся долго и не сразу сдаются под натиском нового времени. Балашов не знал, что мужчина, который пришел без зова в избу к девушке и принес ей подарок, считается, если подарок принят, ее женихом. Так на Севере говорят о любви.

Настя робко спросила Балашова, когда же он вернется из Ленинграда к ней в деревню. Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернется очень скоро.

Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених ее обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье.

Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и все никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошел мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход.

Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ушла ночью из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война. Через огромную грозную страну никогда не видавшая поезда крестьянская девушка добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.

Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина в пижаме, с папиросой в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома. Он на фронте под Ленинградом.

Настя узнала правду — Балашов был женат. Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков.

Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращенному в вооруженный лагерь. Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни памятников, заваленных мешками с землей, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий.

Она вышла к Неве. Река несла черную воду в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в этой воде, должно быть, единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви.

Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжелые косы и поставила ногу на завиток перил. Ее кто-то схватил за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотерными щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган желтой краской.

Полотер только покачал головой и сказал:

— В такое время что задумала, дура!

Человек этот — полотер Трофимов — увел Настю к себе и сдал на руки своей жене — лифтерше, женщине шумной, решительной, презиравшей мужчин.

Трофимовы приютили Настю. Она долго болела, лежала у них в каморке. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чем не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи и что только такие «тетехи», как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного.

Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и все еще надеялась увидеть Балашова.

Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни.

Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила ее на курсы медицинских сестер. Врачи — учителя Насти — были поражены ее способностью делать перевязки, ловкостью ее тонких и сильных пальцев. «Да ведь я кружевница», — отвечала она им, как бы оправдываясь.

Прошла осадная ленинградская зима с ее железными ночами, канонадой. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт и по ночам думала о Балашове, о старом отце, — он до конца жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она ушла тайком из дому. Бранить ее не будет, все простит, но понять — не поймет.

Весной Настю, наконец, отправили на фронт под Ленинград. Всюду — в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях она искала Балашова, спрашивала о нем.

На фронте Настя встретила полотера, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о девушке северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти, шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты.

Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каж-

дого были они в мирной жизни, и каждый берег в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения.

Каждый клялся, что Настя — девушка из его родных мест. Украинцы считали ее своей, сибиряки тоже своей, рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская, и даже казахи из далеких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на фронт, должно быть, из Казахстана.

Слух о Насте дошел и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник, так же как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражен силой ее любви. Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе?

Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы ничего путного не вышло. А вот другим везет! Всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. На висках седина...

Случилось так, что Настя нашла, наконец, батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова — он был убит за два дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива.

Руднев замолчал.

— Что же было потом?

— Потом? — переспросил Руднев. — А потом было то, что бойцы дрались, как одержимые, и мы снесли к черту линию немецкой обороны. Мы подняли ее на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я редко видел людей в таком священном, неистовом гневе.

— А Настя?

— Что Настя! Она отдает всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта.

1941

АНГЛИЙСКАЯ БРИТВА

Всю ночь шел дождь, смешанный со снегом. Северный ветер свистел в гнилых стеблях кукурузы. Немцы молчали. Изредка наш истребитель, стоявший у берега, бил из орудий в сторону Мариуполя. Тогда черный гром сотрясал степь. Снаряды неслись в темноту с таким звоном, будто распарывали над головой кусок натянутого холста.

На рассвете два бойца, в блестящих от дождя касках, привели в глинобитную хату, где помещался майор, старого низенького человека. Его клетчатый мокрый пиджак прилип к телу. На ногах волочились огромные комья глины.

Бойцы молча положили на стол перед майором паспорт, бритву и кисточку для бритья — все, что нашли при обыске у старика, — и сообщили, что он был задержан в овраге около колодца.

Старик был допрошен. Он назвал себя парикмахером Мариупольского театра армянином Аветисом и рассказал историю, которая потом долго передавалась по всем соседним частям.

Парикмахер не успел бежать из Мариуполя до прихода немцев. Он спрятался в подвале театра вместе с двумя маленькими мальчиками, сыновьями его соседки-еврейки. За день до этого соседка ушла в город за

хлебом и не вернулась. Должно быть, она была убита во время воздушной бомбардировки.

Парикмахер провел в подвале, вместе с мальчиками, больше суток. Дети сидели, прижавшись друг к другу, не спали и все время прислушивались. Ночью младший мальчик громко заплакал. Парикмахер прикрикнул на него. Мальчик затих. Тогда парикмахер достал из кармана пиджака бутылку с теплой водой. Он хотел напоить мальчика, но он не пил, отворачивался. Парикмахер взял его за подбородок — лицо у мальчика было горячее и мокрое — и насильно заставил напиться. Мальчик пил громко, судорожно и глотал вместе с мутной водой собственные слезы.

На вторые сутки ефрейтор немец и два солдата вытащили детей и парикмахера из подвала и привели к своему начальнику — лейтенанту Фридриху Кольбергу.

Лейтенант жил в брошенной квартире зубного врача. Вырванные оконные рамы были забиты фанерой. В квартире было темно и холодно — над Азовским морем проходил ледяной шторм.

— Что это за спектакль?

— Трое, господин лейтенант! — доложил ефрейтор.

— Зачем врать, — мягко сказал лейтенант. — Мальчишки — евреи, но этот старый урод — типичный грек, великий потомок эллинов, пелопоннесская обезьяна. Иду на пари. Как! Ты армянин? А чем ты это мне докажешь, гнилая говядина?

Парикмахер смолчал. Лейтенант толкнул носком сапога в печку последний кусок золотой рамы и приказал отвести пленных в соседнюю пустую квартиру. К вечеру лейтенант пришел в эту квартиру со своим приятелем — толстым летчиком Эрли. Они принесли две завернутые в бумагу большие бутылки.

— Бритва с тобой? — спросил лейтенант парикмахера. — Да? Тогда побрей головы еврейским купидонам!

— Зачем это, Фри? — лениво спросил летчик.

— Красивые дети,— сказал лейтенант.— Не правда ли? Я хочу их немного подпортить. Тогда мы их будем меньше жалеть.

Парикмахер обрил мальчиков. Они плакали, опустив головы, а парикмахер усмехался. Всегда, если с ним случалось несчастье, он криво усмехался. Эта усмешка обманула Кольберга, — лейтенант решил, что невинная его забава веселит старого армянина. Лейтенант усадил мальчиков за стол, откупорил бутылку и налил четыре полных стакана водки.

— Тебя я не угощаю, Ахиллес, — сказал он парикмахеру. — Тебе придется меня брить этим вечером. Я собираюсь к вашим красавицам в гости.

Лейтенант разжал мальчикам зубы и влил каждому в рот по полному стакану водки. Мальчики морщились, задыхались, слезы текли у них из глаз. Кольберг чокнулся с летчиком, выпил свой стакан и сказал:

— Я всегда был за мягкие способы, Эрли.

— Недаром ты носишь имя нашего доброго Шиллера, — ответил летчик. — Они сейчас будут танцевать у тебя маюфес.

— Еще бы!

Лейтенант влил детям в рот по второму стакану водки. Они отбивались, но лейтенант и летчик сжали им руки, лили водку медленно, следя за тем, чтобы мальчики выпивали ее до конца, и покрикивали:

— Так! Так! Вкусно? Ну еще раз! Превосходно!

У младшего мальчика началась рвота. Глаза его покраснели. Он сполз со стула и лег на пол. Летчик взял его под мышки, поднял, посадил на стул и влил в рот еще стакан водки. Тогда старший мальчик впервые закричал. Кричал он пронзительно и не отрываясь смотрел на лейтенанта круглыми от ужаса глазами.

— Молчи, кантор! — крикнул лейтенант.

Он запрокинул старшему мальчику голову и вылил ему водку в рот прямо из бутылки. Мальчик упал со стула и пополз к стене. Он искал дверь, но, очевидно, ослеп, ударился головой о косяк, застонал и затих.

... — К ночи, — сказал парикмахер, задыхаясь, — они оба умерли. Они лежали маленькие и черные, как будто их спалила молния.

— Дальше! — сказал майор и потянул к себе приказ, лежавший на столе. Бумага громко зашуршала. Руки у майора дрожали.

— Дальше?—спросил парикмахер.—Ну, как хотите. Лейтенант приказал мне побрить его. Он был пьян. Иначе он не решился бы на эту глупость. Летчик ушел. Мы пошли с лейтенантом в его натопленную квартиру. Он сел к трюмо. Я зажег свечу в железном подсвечнике, согрел в печке воду и начал ему намыливать щеки. Подсвечник я поставил на стул около трюмо. Вы видели, должно быть, такие подсвечники: женщина с распущенными волосами держит лилию, и в чашечку лилии вставлена свеча. Я ткнул кистью с мыльной пеной в глаза лейтенанту. Он крикнул, но я успел ударить его изо всей силы железным подсвечником по виску.

— Наповал? — спросил майор.

— Да. Потом я пробирался к вам два дня.

Майор посмотрел на бритву.

— Я знаю, почему вы смотрите, — сказал парикмахер. — Вы думаете, что я должен был пустить в дело бритву. Это было бы вернее. Но, знаете, мне было жаль ее. Это старая английская бритва. Я работаю с ней уже десять лет.

Майор встал и протянул парикмахеру руку.

— Накормите этого человека, — сказал он. — И дайте ему сухую одежду.

Парикмахер вышел. Бойцы повели его к полевой кухне.

— Эх, брат, — сказал один из бойцов и положил руку на плечо парикмахера. — От слез сердце слабеет. К тому же и прицела не видно. Чтобы извести их всех до последнего, надо глаз иметь сухой. Верно я говорю?

Парикмахер кивнул, соглашаясь.

Истребитель ударил из орудий. Свинцовая вода вздрогнула, почернела, но тотчас к ней вернулся цвет отраженного неба — зеленоватый и туманный.

1941

БЕЛЫЕ КРОЛИКИ

Ганс Вермель считался самым опытным вором в роте лейтенанта Кнопфа. В этом не было, конечно, ничего удивительного. Несколько удивляло всех только то обстоятельство, что внешность Вермеля не соответствовала обычным представлениям о воре мирного времени. Это был вялый, неповоротливый солдат с тусклыми глазами. Говорил он мало и неохотно. Ходил, грохоча сапогами, дышал хрипло, черные его пальцы были похожи на клещи для сбрасывания с крыш зажигательных бомб. Но в военное время эти качества не мешали Вермелю ловить кур и душить их тремя пальцами.

У всех людей есть свои странности. Были они и у Вермеля. Он долго обнюхивал, как собака, все награбленные вещи. Те из них, запах которых ему не нравился, он отбрасывал в сторону. Кроме того, он мог есть непрерывно в течение целого дня. Для того чтобы вновь проголодаться, ему надо было только раз сильно рыгнуть. Одним словом, это был добротный образчик фашистской расы с ее свинцовыми внимательными глазками, свойственными жестоким и глупым животным.

В одном из южных советских городов Вермель в поисках пищи забрел в брошенную ветеринарную лабораторию. У выбитой двери стоял черномазый часовой-итальянец. Он загородил Вермелю дорогу штыком. Вермель ударил по винтовке, и она громко стукнула итальянца в челюсть. Итальянец закричал, но Вермель дал ему пинка в грудь.

— Молчи, макаронщик! Вшивый Муссолини!

Итальянец поднял винтовку, плюнул, выругался и ушел с поста, рискуя быть повешенным за нарушение обязанностей часового.

В лаборатории стоял запах холодных кислот. Осколки стеклянных колб, толщиной в папиросную бумагу, валялись на полу. В углу комнаты стояли клетки.

Вермель понюхал воздух и, грохоча сапогами, пошел к ним, — от клеток пахло теплой шерстью и навозом. Суетливые белые кролики, втиснув носы между прутьев, обнюхивали немецкого солдата и смотрели на него розовыми глазками. Вермель сосчитал — кроликов было восемь. Он раздвинул прутья клетки и вытащил за уши первого кролика, потом второго, третьего. Это был обед для взвода, — праздничный обед из рассыпчатого, нежного мяса!

Рота Кнопфа стояла рядом с ротой итальянских егерей лейтенанта Спалетти. К вечеру в роте Спалетти начались злорадные разговоры о том, что соседи-немцы обожрались кроликами.

Часовой доложил Спалетти о немецком солдате, напавшем на него из-за угла. Немец выбил у часового винтовку и украл из лаборатории всех кроликов. Он убил их тут же, ударяя головой о мраморный стол, и унес, завернув в свою вшивую куртку. Спалетти пригрозил часовому расстрелом и послал вестового к лейтенанту Кнопфу.

Десять немцев, обожравшихся кроликами, лежали вповалку в зале разрушенного кино среди других солдат, не получивших кроличьего мяса и потому переполненных завистью. Вермель рыгал и лениво сплевывал.

Дверь распахнулась. Кто-то ударил ее снаружи сапогом.

— Встать! — закричал визгливым женским голосом лейтенант Кнопф и появился в дверях, пропуская полкового врача. — Встать, собачьи дети!

Солдаты тяжело встали и вытянулись. Кнопф подтянул сапоги и прошелся на почтительном расстоянии вдоль шеренги солдат.

— Ну-ка, мальчики, — сказал он ласково, — кто это из вас украл кроликов и даже не захотел угостить своего лейтенанта хотя бы задней ногой?

Солдаты молчали. Речь лейтенанта им явно не нравилась.

— Кто жрал кроликов? — крикнул лейтенант, и голос его сорвался.

Солдаты переминались с ноги на ногу и молчали.

— Я вижу, что вы так набили себе брюхо, что не можете пошевелить языком, — сказал лейтенант спокойно. — Каждый немецкий солдат имеет право есть птицу и скот, отобранные у жителей. Но надо же соображать, что ты суешь себе в рот! А вы знаете, сукины дети, что ваши кролики были заражены бешенством для опытных целей?

Солдаты вздрогнули, но промолчали.

— Кто жрал кроликов?

Солдаты не двигались.

— Не валяйте дурака, — сказал, наконец, полковой врач. — Вы не итальянцы. Мы заботимся о вашем благе. Тех, кто ел этих кроликов, мы отделим от остальных, отправим в тыл и сделаем им прививку от бешенства.

— В тыл! — воскликнул лейтенант. — Вот видите, что вы наделали, сволочи! В последний раз я приказываю: кто жрал кроликов, три шага вперед!

Вермель сделал шаг вперед. Лейтенант отскочил. Вся шеренга дрогнула, двинулась и отпечатала три гусиных тяжелых шага. Двадцать два человека! Двадцать два человека ухитрились съесть восемь кроликов!

Дальнейшие события развивались вполне благоприятно для двадцати двух солдат. Им приказали временно сдать оружие. Десять виновников молчаливо приняли в свой круг двенадцать голодных и неповинных в «кроличьей истории» солдат, — ведь каждому хочется побывать в тылу.

Все двадцать два человека внезапно поняли, почуяв близость тыловой жизни, как им осточертела эта война. Это было совсем не то, что раньше. Не веселая автомобильная прогулка по Дании. Там рукава их походных курток лоснились и пахли прогорклым молоком, как у молочниц, — так часто солдаты вытирали рты после выпитых сливок. И это была не Франция, где патроны пылились в подсумках, и не Бельгия, где не было даже минированных дорог.

Здесь мороз, скрипя под ногами, заставлял рвать в кровь собственные уши. Здесь дрались из-за каждого куста. Здесь все выло и взрывалось вокруг, и земля дымилась на десятки километров, как кратер огромного вулкана. К черту такую войну! После нее, пожалуй, не удастся обставить даже двухкомнатную квартиру в своем родном городе, и вместо двуспальной кровати придется валяться под кривым березовым крестом и слушать вой русской метели. К черту такую войну!

Ночью солдат выстроили и повели. Они охотно вскинули на плечи свои вещевые мешки и начали сосредоточенно топать по мерзлой русской земле. Но повели их не в тыл. Чем дальше они шли, тем больше недоумевали, пока не поняли, что ведут их в сторону фронта, к большому оврагу, где только вчера они устраивали пулеметные гнезда.

— Что это значит? Что это за фокусы? — пробормотал один из солдат. Остальные поежились, но промолчали.

Это значило, что генерал, выслушав донесение о съеденных бешеных кроликах, крикнул, что он плюет на прививки, и приказал в эту же ночь расстрелять двадцать два солдата фюрера и закопать их трупы поглубже в землю. Он был седой и хитрый, этот

генерал. Он сразу же догадался, что двадцать два человека не могли съесть восьмерых кроликов и что теперь уже нельзя найти виновных.

Несколько пулеметных очередей — и со всеми было поступлено одинаково. Так окончили жизнь двадцать два немецких солдата, не совершивших на земле всего, что им было предназначено и обещано фюрером, и сохранивших двадцать две пули в подсумках русских бойцов.

И такова уж человеческая справедливость,— итальянцы смеялись не над теми, кто съел бешеных кроликов, а, наоборот, над теми двенадцатью солдатами, которые их не ели и попали впросак. Здорово их надул полковой доктор.

1942

ПРАВАЯ РУКА

Зенитный пулеметчик со сторожевого катера Тихон Рябцов был родом из-под Пскова. Деревня его была занята немцами, мать, как предполагал Тихон, умерла, и потому Тихону, когда ему отрезали раздробленную правую руку, некуда было податься. Ранило Тихона под Петергофом.

Тихон долго лежал в госпитале на Каменном острове. По ночам он постоянно просыпался, осторожно отгибал край тяжелой занавеси — койка Тихона стояла у самого окна, — смотрел в сад на снежную бледную ночь и слушал. Тихо было в пустом городе, на холодной земле, и казалось, что уснуло все живое непробудным сном и нет даже войны. Но вдруг обледенелые деревья вспыхивали желтым огнем, и часто, будто молотом по железной палубе, начинали бить зенитки. Тогда Тихон задергивал занавеску и вздыхал:

— Бьются ребята, а я...

Он замолкал, долго лежал с закрытыми глазами и стискивал зубы с такой силой, что у него начинали болеть скулы.

— ...а я тут валяюсь, как боров, как бегемот.

Рана долго не заживала. Тихона увезли в Вологду, везли через Ладожское озеро по мокрому льду. В небе

ревели на разные голоса истребители, охраняли ледяную дорогу. Из Вологды Тихона переправили в город Бийск, в самую глухую Сибирь.

Летом в Бийске Тихон выписался из госпиталя и нанялся служить сторожем в Белокуриху — небольшой курорт в предгорьях Алтая, знаменитый целебной водой. Тихона приставили охранять недостроенную плотину на горной речушке Безымянке, в трех километрах от Белокурихи.

Жил Тихон в низкой избе, прижатой горами к самой речушке. Безымянка лила прозрачные водопады, бормотала в камнях, должно быть сердилась на тесноту, и над ней так низко нависали всякие кусты — ежевика, дикая малина и облепиха, — что не продерешься к воде. Раз в три-четыре дня Тихон ходил в Белокуриху за хлебом, солью, за крупой, а остальное время сидел около плотины, варил похлебку, читал растрепанную интересную книгу — выпросил ее у медицинской сестры. Называлась книга «Отверженные».

Время шло медленно. Кругом не было ни души. За все лето только один раз мимо избы Тихона прошел по тропе седой охотник, но с ним Тихону не удалось поговорить. Старик был совсем глухой, подозрительный, и, когда он ушел, Тихон даже плюнул с досады ему вслед.

А потом пришла, раскинулась осень. Никогда еще Тихон не видел такой осени: ни ветерка, ни облака на прозрачном небе. Леса горели на свету, будто их выковали из золота хитрые сибирские кузнецы, выковали каждую ветку, листок, каждый малый стебелек. Свистели со всех сторон бурундуки, роса до полудня не высыхала на бруснике, на мшистых валунах, и цвел на этих камнях такой красный цветок, будто горели среди мха маленькие костры. По ночам, как и на Каменном острове, Тихон часто просыпался, смотрел в низкое оконце, за ним поблескивала одна и та же звезда — самая яркая из всех звезд на небе. Она даже отражалась в реке, и река играла с ней, дробила ее свет, хотела оторвать его, запутать в водопадах, при-

крыть пеной и унести с собой, как уносят, прикрыв ладонью, огонек свечи. Но реке это не удавалось.

К концу сентября трава на заре уже хрустела от инея, и Тихон начал готовить на зиму дрова. Пилить их и колоть одной рукой было очень трудно. Тихон мучился, уставал, а однажды швырнул в сердцах топор и чуть не заплакал. Пропади они пропадом, эти дрова!

Топор загремел по камням, и тут же в кустах, за плотиной что-то зашуршало, посыпался щебень.

Тихон вгляделся, но увидел только, как закачались ветки березы. С них посыпались сухие листья.

«Неужто зверь?» — подумал Тихон.

На следующее утро где-то далеко, выше по реке, начал глухо тяпать топор. А может быть, это был не стук топора, а попросту дятел долбил дерево. Тихон усмехнулся — все-таки неподалеку завелся пестрый приятель, стучит, трудится, выковыривает из-под коры муравьев.

А днем речушка начала приносить к плотине мелко наколотые березовые дрова. Тихон вылавливал их, складывал на берегу, а речушка все несла новые поленья, и не было им конца-краю. Откуда только Безымянка вымывала эти дрова?

К вечеру дрова перестали плыть, а наутро снова поплыли. И все стучал друг-дятел на далекой сосне. Тихон собирал дрова, улыбался. «Заведу собаку, — думал он. — Назову Шариком. Печурку буду топить, при печном огне стану читать. Так и перезимую».

На второй день к вечеру за плотиной опять что-то зашуршало. Тихон пригнулся, схоронился в кустах и увидел двух мальчиков с линялыми красными галстуками. Они пробирались через чащу, вниз по реке, несли топор и пилу. Один был худой, бледный, другой — весь ободранный колючками ежевики, белобрысый и тоже худой.

— Стой! — негромко крикнул Тихон и поднялся из-за кустов.

Мальчики остановились, уронили пилу. Они хотели было удрать, но не успели и исподлобья поглядывали на Тихона.

Тихон подошел к ним, и тогда все разъяснилось.

Мальчики рассказали, что до войны они жили под Ленинградом, в большом пионерском лагере. Началась война, и всех пионеров из этого лагеря, у кого не было родителей, увезли на Волгу, а оттуда в Белокуриху.

И вот они, пионеры, ходили на речушку удить под водопадами радужную рыбу хариуса и несколько дней подглядывали за Тихоном, выслеживали его, как следопыты и разведчики, видели, как он бился с дровами, и надумали ему помочь. Вверху на реке они нашли старые дрова, заросшие ежевикой, и начали их мелко колоть и сплавлять к Тихоновой избе.

Рассказывал белобрысый, а бледный молчал и улыбался, но Тихон понял, что этот мальчик и был в этом деле заводилой, даром что тихий.

Тихон проводил мальчиков до лавы и все расспрашивал, как же это они остались без родителей. И узнал, что бледный мальчик был испанец и звали его Мигуэль. Тихон покачал головой: до чего война переворошила людей! И тут же назвал бледного мальчика Митей.

С этого дня и началась у Тихона дружба с бледным мальчиком. Он все чаще приходил к Тихону, приносил хлеб, табак, собирал вместе с Тихоном и сушил калину, слушал рассказы Тихона о Балтийском флоте.

О себе мальчик рассказывал, медленно подбирая русские слова. У него фашисты убили в Мадриде старика отца, он остался один и пошел пешком во Францию, но не дошел. Его подобрал по дороге какой-то американец, посадил в машину, отвез в приморский город, устроил на пароход в Англию, а оттуда советское посольство отправило его в Ленинград.

Пришла зима, завалила ущелье снегом по самые уши. Только речушка сердилась, хлопотливо прокапывала в снегу пещеры, звенела льдинками по камням.

Зимой мальчик приходил реже. Один только раз он пробыл в избе у Тихона два дня, когда сорвался

буран, горы ревели, как тысяча самолетов, и водопады снега переваливались через скалы.

Тихон жарко натопил избу и, сидя у печки, медленно читал мальчику трогательную историю каторжника Вальжана. А кончив читать, он сказал:

— Пройдет война, Митя, и будет на земле много шуму и радости. И мы с тобой заживем! Двинем домой, в Ленинград. Будешь ты студентом Ленинградского университета, а я при тебе буду существовать как сиволапый папаша. Только ты меня не стыдись.

Мальчик грустно улыбался и смотрел на огонь. Тихон положил тяжелую руку на его голову и добавил:

— Ты сиротой между нами не будешь. Наш народ, конечно, простой, бывает грубый, но душевный. Ты не сомневайся, Митя.

Тогда мальчик поднял глаза и застенчиво посмотрел на суровое лицо Тихона.

— Спасибо, — сказал он, — я знаю.

В самом начале весны Мигуэль сказал Тихону, что через две недели их лагерь возвращается под Москву. Тихон промолчал, но назавтра побрился, надел бушлат, бескозырку и пошел в Белокуриху к начальнику пионерского лагеря, высокому человеку со смеющимися прищуренными глазами. Краснея до дурноты и глядя на свои бутсы, Тихон объяснил высокому человеку, что так как Мигуэль — сирота и нет у него ни одной родной души, то он, Тихон, хотел бы усыновить мальчика.

— Нет, — сказал, улыбаясь, высокий человек, — у нас ему будет лучше. Поверьте мне, товарищ Рябцов. Вы плохо продумали это дело. Через год-два посмотрим. Через год-два милости просим, приезжайте к нам.

— А раньше нельзя? — глухо спросил Тихон.

— Что ж, можно и раньше, — улыбнулся высокий человек.

— Ну, простите! — Тихон поднялся и вышел, зацепившись плечом за косяк двери.

В день отъезда мальчик пришел попрощаться с Тихоном. Тихон заметил его на повороте дороги и торопливо, крадучись, ушел в лес, спрятался за камнем и, свертывая цигарку, слушал, как мальчик зовет его.

— Чего уж там, — шептал Тихон, — сойдет и так. Чего уж прощаться!

Мигуэль ушел печальный, встревоженный.

Лагерь уехал. С тех пор Тихон подолгу не приходил в Белокуриху. Он перестал бриться, ворочался по ночам, с ненавистью смотрел на весенние горы. Они цвели до самых вершин полевыми цветами, и даже старухи по деревням, глядя на горы, что-то шамкали про райские места, про благорастворение воздуха. А для Тихона не было сейчас во всем мире мест более угрюмых, нагоняющих тоску, чем эти благословенные горы.

«Не нужный я никому человек», — думал Тихон, и сознание этой ненужности было страшнее всего, что он до сих пор перенес в жизни.

В конце весны Тихон неожиданно взял расчет. Ночью он сложил в матросский мешок кое-какие вещи, немного хлеба, соли и ушел пешком в Бийск, на железную дорогу. Адрес лагеря был у Тихона зашит под подкладкой бушлата. Тихон шел быстро, насвистывал — земля горела у него под ногами.

На берегу Катуни он два часа дожидался парома. Молодые голосистые бабы сводили к парому упиравшихся лошадей. Била в реке тяжелая рыба нельма. Старуха в разноцветных валенках: левый — серый, а правый — черный, сидела на возу, долго рассматривала Тихона, жалела его — молодой, видный человек, а без руки — и наконец отважилась, спросила:

— Куда ж это ты бредешь, милый, с котомкой да без руки? Бредешь, смеешься. Горе тебе нипочем.

— К сыну я иду, — ответил Тихон. — Поняла, старая? К сыну!

— А жена померла, что ли?

— Не было у меня жены, — усмехнулся Тихон.

— А ты не смейся над старой! — рассердилась старуха. — У меня тоже двое сынов на фронте.

— Я не смеюсь. — Тихон взглянул на старуху. — Сын у меня... приемыш... К нему и иду. Около него жить буду.

— Ну, разве приемыш! — заулыбалась старуха. — Ты так и скажи. Небось ласковый?

— Даже очень, — ответил Тихон. — Как для других, а для меня нету ласковей человека на свете.

— Вот я и гляжу, что ты радуешься, — сказала старуха. — Безрукий, калека, а радуешься.

— Ничего, бабка, и для меня найдется занятие! — сказал Тихон и пошел на паром.

Паром, скрипя, тронулся, и тотчас солнце так ударило по воде, что Тихон зажмурился. Прощайте, сибирские горы!

1943

ПАЧКА ПАПИРОС

Лето стояло дождливое. В городском саду над рекой крапива разрослась выше скамеек и закрыла могильную каменную плиту. На плите была выбита надпись: «Сибиряки — писателю Сибири».

Раненые из соседнего госпиталя часто приходили в сад, сидели на могильной плите, покуривали, смотрели на реку, удивлялись. Глубокая и величавая, она огибала глинистую гору с заглохшим садом и уходила в такие далекие дали, что от одного взгляда на них становилось спокойно на сердце.

Иногда в саду появлялся босой мальчишка с ведром и клеил на забор афиши. Бойцы читали и огорчались: внизу, в городе, шли новые картины в кино, а старший врач редко отпускал бойцов в город, все посмеивался, говорил, что от скуки лучше заживают раны.

Но когда появилась афиша об открытии зверинца, вывезенного из южного прифронтового города, бойцы взволновались всерьез. Даже решили послать к старшему врачу ходатаев с просьбой отпустить выздоравливающих в зверинец и выбрали для этого двух приятелей — стрелка Федоткина, родом из Сапожка (есть и такой город в России) и Наума Бершадского из Тирас-

поля. Но Бершадский наотрез отказался идти к врачу и объяснил бойцам, что на это есть у него веская причина.

Причина действительно была, и заключалась она в подписи под афишей: «Директор зверинца Розалия Бершадская». Наум прочел эту подпись и сразу заскучал, потерял присутствие духа.

Дело в том, что Розалия Бершадская была не кем иным, как матерью Наума. С детства она называла Наума не иначе, как «босяком». У старухи были на это, конечно, свои основания: Наум учился кое-как, предпочитал гонять голубей, играть по задворкам в «три листика», делать набеги на баштаны на берегу Днестра и воровать там дыни у беззубых сторожей. Но по натуре Наум не был плохим человеком. Он это знал, и не его вина, что у него получился легкомысленный подход к жизни.

Больше всего Розалия Бершадская негодовала на сына за его уменье жить «по блату».

Понятно поэтому, что Наум заскучал. Он боялся неожиданной встречи с матерью, хотя вместе с тем втайне и желал ее. Как-никак, а он любил эту беспокойную старуху. С ней было связано воспоминание о детстве с его нестерпимым солнцем, гудящими базарами, запахом абрикосов.

Как-то вечером Наум рассказал о своем детстве Федоткину, но тот отнесся к этому рассказу с обидным равнодушием. Науму было досадно, что Федоткин, курносый, веснушчатый парень, ничего не понимает в таких делах, как воспоминания о детстве.

Звери долго не могли успокоиться после пережитых бомбежек. Стоило где-нибудь в городе зафыркать грузовику, как они начинали поглядывать на небо, волноваться и от волнения переставали есть. Тогда старый сторож Давид приходил к Розалии Борисовне, швырял в сердцах на стол через окошко кассы кусок сырого мяса и начинал шумно браниться.

— Примите мясо и сократите свои нервы, эвакуант! — отвечала, сдерживаясь, Розалия Борисовна.

Такие ссоры случались каждый день, пока, наконец, в зверинце не появились раненые бойцы из госпиталя.

Розалия Борисовна заулыбалась и, не доверяя Давиду, сама давала объяснения о нравах зверей.

Бойцы осмотрели зверинец и ушли, но один из них задержался, сел около кассы, закурил.

— Нога тоскует, — сказал он. — Малость передохну и поковыляю обратно.

— Пожалуйста, — ответила Розалия Борисовна. — Хотите чаю?

Боец от чая не отказался.

— Знавал я на фронте одного человека, — сказал боец, — по фамилии Бершадский.

— Ох, товарищ, — сказала Розалия Борисовна тонким голосом. — У меня сын на фронте. Я ищу его, как нитку в сене, уже четыре года. А как его звали?

— Звали его Наумом, — пробормотал боец и с опаской посмотрел на Розалию Борисовну.

— Так это же он! — воскликнула Розалия Борисовна и засмеялась. — Мой босяк! Вы из одной с ним части?

— Нет, — сказал боец. — Я его издали знал. Он работал продавцом в ларьке Военторга.

Розалия Борисовна встала, покраснела от гнева, подняла руки к небу и потрясла ими:

— Я так и знала. Трус! Блатмейстер! Другие люди бьются с немцами, а он торгует в тыловом ларьке. Нашел себе место! Позор на мою седую голову! Я ему покажу, что должен делать на фронте мой сын. Он у меня поплачет! Он у меня как миленький возьмет автомат и будет драться как надо. Тоже новости — торговать! Чем?

— Махоркой он снабжает бойцов, — испуганно пробормотал раненый.

— Чтобы он подавился той махоркой! — крикнула Розалия Борисовна.

Боец позабыл о чае и торопливо заковылял к госпиталю.

Федоткин ничего не сказал Науму о разговоре со старухой, но дня через два он снова появился в зверинце, подошел к кассе, где сидела Розалия Борисовна, просунул голову в окошко и быстро сказал:

— А ваш сын, между прочим, хотя и торгует махоркой, а геройский человек и представлен к ордену Красного Знамени.

— Ну-ну! — сурово пробормотала Розалия Борисовна. — Не втирайте мне очки, молодой человек. Я его лучше знаю, чем вы.

— Воля ваша, — сказал Федоткин, — а врать мне нет интереса. Он мне не сват, не брат, а, можно сказать, сосед по лазаретной койке.

— Он здесь? — крикнула Розалия Борисовна и вскочила.

— Выписался, — торопливо ответил Федоткин, отводя глаза. — Вы слушайте, что я скажу. Немцы окружали наш дот, а приказ был держаться в том доте до прибытия подмоги — одним словом, до тех пор, пока начнет развидняться. И говорит командир дота по телефону: «Держимся и не уступим дот, но маловато патронов для пулемета и опять же если бы хоть раз затянуться. Нет табаку ни крошки, что ты будешь делать! А? Без табаку сердце томится и в глазах пусто». И тут вызывается Наум Бершадский, случайный человек в нашей части, доставить на дот и патроны, и табак, и спички. «Дайте мне, — говорит лейтенанту, — одного парня для подмоги, потому что у человека не десять рук». Лейтенант согласился, и пополз Наум в дот. Как только его пронесло — никому не известно, но он, однако, дополз и табаку всем дал, а командиру особо — пачку дорогих папирос. И по случаю внезапной смерти командира дота взял на себя распоряжение, как человек тертый и ученый в школе, и продержался, пока не развидняло. А вы говорите — босяк! Обидно бойцу слышать такие слова.

Розалия Борисовна заплакала и долго не отпускала Федоткина.

— Вот видите, товарищ, — сказала она ему напоследок, — хорошее воспитание никогда даром не пропадает. Об одном я только жалею, что он уже выписался из лазарета и нет его в этом городе.

— Оно, конечно, жалко, раз вы его простили, — сказал боец. А когда возвращался в госпиталь, то ругал Наума и говорил в пространство:

— Ну и волынка же с этим Наумом, черт его подери!

На следующий день Наум пришел в зверинец. Розалия Борисовна поймала его и так стиснула, что он задохся и только и мог выговорить:

— Бросьте, мамаша! Что это, ей-богу, за обращение!

Так окончилась эта маленькая история в сибирском городе. Наум уехал на фронт, а раненые передавали рассказ о нем и о Розалии Борисовне из уст в уста и, сидя на могильной плите, говорили, что материнское слово всегда отлежится у человека в душе, вырастет, как зерно, даст колос.

Розалия Борисовна иногда приходила в старый сад — тут ведь часто бродил на костыле ее Наум, — слушала издали пенье бойцов и даже плакала. Уж очень широко и печально пели бойцы, как будто дарили этой родной стороне свои песни, как дарят уснувшей матери осторожный сыновний поцелуй.

1943

РОБКОЕ СЕРДЦЕ

Варвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы — народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры — одним словом, всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города, в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несло пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене было видно мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетеной корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спиро. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил под камнями,

потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был ее племянник и воспитанник Ваня Герасимов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики и если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, то разражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухоньке, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и отправлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был, конечно, неправ, она это хорошо знала. Ее Ваня — мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работящего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный за-

кон, карающий человека за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комнаты в доме Егора Петровича, засушенные цветы и листья в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и приятно, — виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в летную школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменила его военная служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и за каждым из них засинел клочок неба и задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазы-

вали коричневой грязью — под цвет окружающей земли — стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня. До рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребе, встревоженные собаки. Над головой все гудел-кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий... По всем дворам торопливо заговорили люди — Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом. Все говорили только, что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на старость, добровольно вернулась к прежней работе: служила сестрой в госпитале. Так же, как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев; многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни и переселилась в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелую батарею. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первые взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам — они мчались на бреющей высоте над Карантином, — что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович. — Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб.

В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около стены, заросшей диким виноградом, и бессмысленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна. — Значит, свои своих... До чего же мы дожили, Егор Петрович?

— Так и надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. — Не приставайте ко мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо, — ответила Варвара Яковлевна. — Не могу я понять, как это можно занести руку на свое, родное...

— А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть...

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

— Господи, господи, — сказала Варвара Яковлевна, — что же это такое? Хоть бы вы мне объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захотел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прошло трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой — ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она накинула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая

полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

«За срыванье — расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардирование мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Германское командование решило поступить с этим варваром как с врагом обывателей и расстрелять его. Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество, завтра в семь часов утра его проведут по главной улице города. Германское командование уверено, что благонамеренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города

обер-лейтенант Зус».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около поломанных грузовиков! Почему-то мысль, что его убьют обязательно во дворе, около грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от автола, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда

не простят ей эту убитую женщину, и несчастного старичка провизора и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо — от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе недобрые пристальные взгляды, слышала свистящий шепот в спину. Как она будет смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои — все равно. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала голову, все ждала обидного окрика. Иначе она бы увидела, как переменился ее родной город. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, пыльные морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афишного столба, спряталась за ним, вся съежилась, ждала.

Обеими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где, кроме носового платка и ключа от сарайчика, ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячелетней давности — симфонии Шостаковича, гастролях чтеца Яхонтова.

Люди все подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие прижимали к глазам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы

пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась, несколько рук осторожно схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не увидела, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался, и не заметила, как Егор Петрович и старый Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через пустыри по битой черепице, среди белого от извести чертополоха.

— Не надо, — бормотала Варвара Яковлевна. — Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее все, что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась стиснуть изо всех сил зубами уголок старенького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?» — и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой — такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжелый гром, завыли сирены и снаряды, загрохотали взрывы,

эхо пулеметного огня застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухоньке у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

— Значит, и Ваня мой тоже?.. — спросила Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

— Ваня — святой человек, — сказал Егор Петрович. — Теперь в нашем городе все дети — ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и снова заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крышкой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайного носика, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улететь.

1943

ПРИКАЗ ПО ВОЕННОЙ ШКОЛЕ

Всем известно, что людей, недавно попавших на военную службу, одолевают воспоминания. Потом это проходит, но вначале память все время возвращается к одному и тому же: к ярко освещенной комнате, где лежит на столе «Давид Копперфильд», к Москве, к ее бульварам, загорающимся чистыми огнями. Достаточно беглого взгляда на заштопанную гимнастерку, чтобы с новой любовью вспоминать материнские маленькие пальцы, ее опущенную голову, ее наперсток, ее робкие просьбы беречь себя и помнить, что она будет ждать сына, что бы с ним ни случилось, ждать до последнего своего вздоха.

И курсанта медицинского училища в одном из городов Средней Азии Михайлова первое время, так же как и всех, одолевали воспоминания. Потом их острота притупилась, но был один день в году, которого Михайлов боялся: четвертое мая, день его рождения. Что бы ни было, он знал, что в этот день ему не уйти от прошлого.

Четвертого мая Михайлов проснулся на рассвете и несколько минут лежал с закрытыми глазами. Подъема еще не было. За окнами в листве касторовых деревьев начиналось воробьиное оживление: должно быть, над

близкой и еще прохладной пустыней уже подымалось солнце. Отдаленно пахло розами из соседнего сада, дымом кизяка и еще чем-то сухим и сладким, чем всегда пахнет в азиатских городах.

Михайлов помедлил, потом открыл глаза и посмотрел на столик около койки. Нет, чуда не случилось! На столике не было ни плитки шоколада, ни конверта с почтовыми марками Южной Америки, ни ландышей в стакане, ни нового вечного пера, ни толстой книги о плавании на корабле «Бигль» — не было ничего, что бывало в Москве. На столике лежали пилотка, ремень, полевая сумка, набитая старыми письмами.

Михайлов вскочил, оделся и, голый по пояс, пошел во двор под тепловатый душ. Он мылся, слушая, как в окрестных пыльных дворах восторженно рыдали ослы, и вздыхал. Да, тоскливый день рождения, без единого подарка! Ну, что же, ничего не поделаешь. Будем взрослыми, будем мужчинами!

«Все это так, — думал Михайлов, — но неужели сегодня ничего не случится?» Он знал, конечно, что случиться ничего не может и что этот воскресный день пройдет так же размеренно, как и все остальные дни. Вот разве будет кино под открытым небом. Но кино ожидалось вечером, а днем Михайлов с несколькими товарищами был отправлен на практику в хирургическую клинику.

Старичок хирург в белом колпаке хитро посмотрел на курсантов, потом на их сапоги под халатами, усмехнулся и сказал:

— Ну-с, молодые люди, надо сделать внутривенное вливание гипертонического раствора и никотиновой кислоты. Кто за это возьмется?

Курсанты переглянулись и промолчали. Самые робкие опасались даже смотреть на хирурга. Шуточное ли дело — внутривенное вливание таких препаратов! Если говорить по совести, то его должен был делать сам хирург, хитрый старичок. У курсантов пока еще это вливание удавалось редко. Кроме холодного пота, дрожания рук, пересохшего горла и других неприятных ощущений, ничего хорошего оно не сулило.

— Ну-с, — сказал старичок, — я замечаю, юноши, что ваше раздумье продолжается чересчур долго. Да. Чересчур!

Тогда Михайлов покраснел и вызвался сделать вливание.

— Мойте руки! — приказал старичок. — По способу Фюрбрингера. Да!

Пока Михайлов долго мыл руки по этому способу и замечал, что руки у него начинают дрожать, в перевязочную вошел в халате, накинутом на одно плечо, боец Капустин — тот самый, которому надо было вливать раствор и никотиновую кислоту. Михайлов стоял к нему спиной и слышал до последнего слова весь разговор бойца с хирургом.

— Извиняюсь, — сказал боец, как показалось Михайлову, грубым и даже несколько вызывающим голосом. — Уж не курсант ли меня будет колоть? Что я — чучело для обучения штыковому удару? Или что?

— А в чем дело? — спросил старичок, роясь в блестящих инструментах.

— А в том дело, — ответил боец, — что курсанту я больше не дамся. Один раз кололи — довольно! Не согласен я больше, товарищ хирург!

— Ах, так! — услышал Михайлов пронзительный голос старичка и заметил, что руки у него уже не дрожат, а трясутся. — Прошу немедленно успокоиться! Да! Немедленно! Ну, ну, я же сказал — успокоиться! Сегодня будет делать вливание очень опытный курсант. Он его делал уже много раз. Понятно?

— Понятно, — мрачно пробормотал боец Капустин.

У Михайлова упало сердце. Хирург явно хитрил: Михайлов делал это вливание первый раз в жизни.

— А раз понятно, то садись на табурет и молчи, — сказал старичок. — Поговорили — и хватит! Понятно?

— Понятно, — еще мрачнее пробормотал боец Капустин и сел на табурет.

Первое, что увидел Михайлов, когда обернулся, были колючие, полные страха глаза бойца Капустина, смотревшие в упор на курсанта. После этого Михайлов увидел веснушчатое лицо бойца и его остриженную голову.

Все дальнейшее Михайлов делал как во сне. Он сжал зубы, молчал и действовал решительно и быстро. Он наложил жгут. Вены прекрасно вздулись, и страх, что «вена уйдет», пропал. Михайлов взял толстую иглу, остановил страшным напряжением дрожь пальцев и прорвал острием иглы кожу на руке Капустина. Пошла кровь. Попал! Все хорошо! Как будто перестало биться сердце. Потом Михайлов уже ничего не видел, кроме иглы и вздувшейся вены. Неожиданно он услышал тихий смех, но не поднял голову. Поднял он ее только тогда, когда вынул иглу и все было кончено. Смеялся боец Капустин. Он смотрел на Михайлова веселыми глазами и тонко смеялся.

Михайлов растерянно оглянулся. Старичок хирург кивал ему головой. Сдержанно улыбались и переглядывались курсанты. Во взглядах их можно было уловить скрытую гордость: вот, мол, знай наших, работают не хуже старых хирургов!

— Ну, спасибо, — сказал боец Капустин, встал и потряс руку Михайлову. — Спасибо, друг! Сразу видать, что сто раз делал, не менее. Теперь никому не дамся, только тебе. Спасибо, сынок. Извиняюсь, товарищ хирург!

И боец Капустин ушел, размахивая правой рукой, ушел ухмыляясь, и Михайлову даже показалось, что рыжее сияние окружает его стриженую голову.

В палате Капустин рассказал об этом случае своему соседу по койке Коноплеву, бывшему полотеру.

— Ты у него одного колись, — советовал Капустин. — Сто раз он это вливание делал. Сто раз! Техника!

— А ты считал? — спросил Коноплев.

— Эх ты, полотерная щетка! — рассердился Капустин. — Все мозги на паркетах растряс. Говорю тебе, сотню раз делал. Друг он мне теперь навеки. Нисколько у меня рука не болит.

На следующий день Коноплев, глядя со скуки за окно, в соседний двор медицинского училища, увидел интересные вещи. Курсанты были выстроены во дворе, стояли по команде «вольно» и чего-то ждали. Коноплев сообщил эту новость Капустину, и оба бойца —

люди любопытные — спустились во двор и стали глядеть.

Раздалась команда: «Смирно!» Курсанты вытянулись и застыли. Вышел подтянутый, еще молодой начальник, начал читать перед строем приказ. Бойцы внимательно слушали — они понимали толк в приказах.

— «Курсанту Михайлову, — слушали бойцы, — за образцовое проведение сложного внутривенного вливания бойцу Капустину и принимая во внимание, что эта процедура была произведена им впервые, объявляю благодарность».

Капустин посмотрел на Коноплева, покраснел и сплюнул. Коноплев захихикал и сказал:

— Вот те и сотый раз! Процедура! Дура ты, Капустин! Обмишурили они тебя, а ты и уши развесил.

— Это мы еще поглядим, кто из нас дура! — угрожающе пробормотал Капустин. — Чего скалишься? Значит, у человека талант. Значит, я благодарен ему еще больше. Талант — он, брат, землю ворочает!

— Насчет таланта я не говорю, — примирительно сказал Коноплев. — Это, конечно, дело великое. Конечно, если кому он даден...

— Вот и видать, что ты дура! — с сердцем сказал Капустин. — Разговариваешь серо, неубедительно. Сам своих слов не понимаешь.

А вечером в этот же день Капустин пришел в школу и попросил разрешения вызвать к нему во двор курсанта Михайлова. Михайлов вышел. Капустин протянул ему огромный сверток из мятых газет и сказал:

— Примите гостинец. От чистого сердца. Раньше полагалось преподносить в день рождения, а я — в благодарность за талант. Так что не обижайтесь.

У себя на койке Михайлов, окруженный любопытствующими курсантами, долго разворачивал что-то твердое, завернутое в несколько измятых «Известий». Когда, наконец, последняя газета была сорвана, восхищенные курсанты отступили: на койке лежали куски сушеной дыни. Чурджуйской дыни, чей запах пре-

краснее запаха жасмина и чья сладость слаще дикого меда.

И курсанты, дабы не нарушать порядка, вполголоса прокричали «ура» и тут же половину дыни съели.

Оставшиеся куски дыни Михайлов положил на столик и, просыпаясь ночью, взглядывал на них и улыбался. Впервые воспоминания не мучили, а радовали его. Засыпая, он все время видел улыбающегося бойца Капустина с дыней в руках. От рыжих волос бойца Капустина и от дыни разливалось сияние. Оно делалось все ярче, наполнялось щебетом птиц, и дыня пахла все сильнее.

Михайлов проснулся. Стоял тихий рассвет. Где-то звенела вода, и над пустыней зарождался один из бесчисленных и великолепных дней, предупреждая о своем появлении золотым светом на восточной половине неба.

1943

ДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Есть у нас в России много маленьких городов со смешными и милыми именами: Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, Железный Гусь. Жители этих городов называют их ласково и насмешливо «городишками».

В одном из таких городишек — в Спас-Клепиках — и случилась та история, которую я хочу рассказать.

Городок Спас-Клепики уж очень маленький, тихий. Затерялся он где-то в Мещорской стороне, среди сосенок, песков, мелких камышистых озер. Есть в Спас-Клепиках кино, старинная ватная фабрика чуть ли не времен Крымской войны, педагогический техникум, где учился поэт Есенин. Но, по правде говоря, городок этот ничем особенным не знаменит. Все те же любопытные мальчишки, рыжие от веснушек, те же жалостливые старухи, плотники со звенящими пилами на плечах, те же дуплистые кладбищенские ивы и все тот же гомон галок.

Около Спас-Клепиков проходит узкоколейная железная дорога. Я проезжал по ней в самом начале весны. Поезд пришел в Спас-Клепики ночью. Тотчас в темный вагон набились смешливые девушки с ватной фабрики. Потом вошел боец с вещевым мешком, сел против меня и попросил прикурить.

Бойца провожали молодая женщина и старуха. Они молчали. Молчал и боец. Лишь изредка то одна, то другая женщина трогала бойца за рукав и тихо говорила:

— Так ты пиши, Ваня.

— Постараюсь, — отвечал боец.

Лица женщин нельзя было разглядеть в темноте, но по мягким их голосам можно было с уверенностью сказать, что это были очень добрые и дружные женщины: мать и сестра бойца, что глаза у них ласковые и что все они полны той любовью к людям, которую наш народ называет не совсем правильно «жалостью».

В ногах у меня что-то завертелось, очень пушистое и теплое. Кто-то, очевидно по ошибке, лизнул мою руку горячим языком. Боец удивленно вскрикнул: «Дымок!» — и засмеялся. Засмеялись и женщины.

— Прибёг, — сказал боец. — Хозяина своего прибёг проводить. Вот увидит проводница, она тебе покажет! Нешто можно собаке в вагон!

— По такому случаю можно, — ответил из темноты хриплый голос, и тотчас зажужжал в невидимой руке карманный электрический фонарик с динамкой.

Слабый свет упал на пол, потом на серого пса с виноватыми глазами. Он сидел между ног у бойца и торопливо махал хвостом. Всем видом своим он хотел показать, что понимает, конечно, незаконность своего пребывания в вагоне, но очень просит не выгонять его, а дать попрощаться с хозяином.

— Дымок, друг любезный, — сказал боец, — как это мы тебя не приметили!

— Я его в избе замкнула, — будто оправдываясь, сказала старуха.

— Под дверью протиснулся, — добавила молодая женщина. — Там доска отстает.

— Сколько бежал! — вздохнул, сокрушаясь, боец. — Двенадцать километров! А? На дворе темнота, грязь, дороги вконец развезло. Ишь мокрый весь до костей!

— Животное все понимает, — сказал из глубины вагона бабий голос. — Оно и войну понимает. И, скажем,

опасность. У нас в Ненашкине прошлый год немецкие самолеты повадились пролетать, два раза бомбы спускали, убили телку Дуни Балыгиной. Так с тех пор как загудят антихристы, так петухи рысью бегут под стрехи, хоронятся.

— Зверь и тот его ненавидит! — сказал человек с фонариком. — Шерсть на собаках дыбом становится, как заслышат они ихний лет. Вот до чего ненавидят.

— Буде врать-то! — сказала проводница. — Откуль пес разбирает, какой летит: ихний или наш.

— А ты его спроси, откуль он знает, — ответил хриплый голос. — У тебя одно занятие — никому нипочем не верить. Билеты по десять минут в руках вертишь. Все тебе мстится, что они фальшивые.

— Пес все может определить, — сказал примирительно боец. — У ихних самолетов гул специальный. С подвывом.

— Сам ты с подвывом! — огрызнулась проводница.

Паровоз неожиданно дернул. Страшно лязгнули буфера, еще страшнее зашипел пар. Девушки с ватной фабрики с визгом бросились к выходу; оказалось, что все они провожали подругу. Женщины торопливо попрощались с бойцом и спрыгнули уже на ходу.

— Дымок! — тревожно кричали они из темноты вслед поезду. — Дымок!

— Дымок! — кричал и боец, стоя на площадке и оглядываясь. Но Дымка нигде не было.

— Пропал пес, скажи на милость! — бормотал смущенно боец, возвращаясь в вагон. — Вот незадача, скажи пожалуйста!

— Да здесь он, дядя Ваня, — раздался из темноты мальчишеский голос. — Схоронился у меня в ногах, весь трясется.

— Это кто говорит? — спросил боец.— Ты, Ленька?

— Я.

— Ленька Кубышкин из Кобыленки? Кузьмы Петровича сын?

— Он самый.

— Дай-ка я около тебя сяду.

Боец протиснулся к мальчику, сел, опустил руку, нащупал дрожащего пса, вытащил его за загривок и посадил к себе на колени.

— Вот, понимаешь, навернулась забота, — сказал боец. — Увязался Дымок, что с ним поделаешь! А женщины мои небось измаялись там на станции, всё его кличут. Чего ж теперь будет-то?

— Ничего не будет, — сказала проводница, — кроме того, что я тебя высажу с этой собакой в Кобыленке. Взял моду с собаками в такое время кататься! Билет на нее есть?

— Нету, — сказал боец. — Я ж ее не брал, она сама в вагон влезла, в ногах схоронилась.

— Мне какое дело, — ответила проводница, — сама или не сама. Мне давай билет и общее согласие пассажиров на провоз ее в этом вагоне. И справку, что она у тебя здоровая. Ишь моду взял какую, — собаками сейчас займаться.

— Иди ты, знаешь куда! — сказал из темноты хриплый голос. — Бессовестная! По человечеству надо судить. А у тебя заместо ума — тарифные правила!

— Поговори у меня! — угрожающе сказала проводница, но ей не дали окончить.

Вагон зашумел так грозно, что проводница ушла. Она так хлопнула дверью, что старуха, сидевшая у дверей, перекрестилась:

— Исусе Христе! Так ведь и голову отшибить недолго!

— Слыхал я, Ленька, что от отца, от Кузьмы Петровича, писем весь год не было, — сказал, помолчав, боец.

— Не было. Все не пишет.

— А ты не беспокойся. Иной человек и жив и его осколком даже нисколько не царапнуло, а он писем не пишет.

— Обстановка, что ли, не позволяет? — спросил хриплый голос.

— Бывает, обстановка. А бывает, и характер у человека такой.

— Надо быть, нету уже в живых человека, раз он цельный год вестей не подает, — сказала старуха, сидевшая около двери. — Охо-хошеньки!

— Не отучились вы каркать! — рассердился боец. — Вместо разговору всегда у вас, у старых, один карк. То рваную подошву нашла на дороге — к беде! То воробей влетел в избу — опять худо! То лошадь приснилась, — быть, значит, пожару. Выдумки у вас слишком много. Паренек ждет отца, надеется, а ты ему сомненье даешь. С какой это стати, интересно? К чему это такой разговор!

— А я, дядя Ваня, нисколько не беспокоюсь, — тихо сказал мальчик. — Папаня мой жив. Я это сегодня узнал.

— Товарищей его встретил, что ли?

— Нет, не товарищей. Через экран я узнал.

Боец уставился на мальчика.

— Через какой экран? Очумел, что ли!

— Да нет, дядя Ваня, честное пионерское — не очумел. Только приехал третьего дня в Кобыленку из Клепиков Валя Лобов и говорит: «Хочешь, Ленька, своего папаню видеть в геройской обстановке? Ежели хочешь, то езжай первым поездом в Клепики, иди в кино и смотри картину «Сталинград». И увидишь ты в ней своего родителя живого и невредимого». Я и поехал. Пошел в кино. Мальчишки у дверей толкутся, все без билетов — и никого не пускают. Всё оттирают и оттирают меня от дверей, а за ними уже звонок звенит. Я и заплакал. От досады на этих мальчишек заплакал. Мальчишки смеются: «Гляди, какой нервный!» Тут я им и объяснил свое положение. Зашумели они: «Чего ж ты молчал, гусь лапчатый! Сеанс уже начинается!» И давай колотить в дверь кулаками. Милиционер выскочил — старенький уже, усатый — и кричит: «Марш отсюдова! Я вас, огольцов, всех позабираю!» А мальчишки вытолкали меня вперед, все кричат, все разом милиционеру рассказывают, зачем я в кино приехал. Милиционер взял меня за пиджачок, втащил в дверь, говорит: «Ну ладно, иди. Только смотри — без обману». А со мной трое мальчишек все-таки влезло. Сел я, смотрю, — и до того мне страшно! И все жду. И вдруг вижу: папаня мой бежит по двору в каске, стреляет, и за ним бегут другие бойцы. И лицо у него так-то суровое, крепкое. И тут я

закричал и ничего больше не помню. Будто уснул сразу, а проснулся в комнате у директора кино. Сижу на диване, директор — девушка такая веселая, в ватнике, — меня водой отпаивает, а милиционер стоит рядом и говорит: «Первый случай в моей практике, а стою я в этом кине уже два года». Потом директор велела мне подождать, ушла и, как сеанс окончился, принесла мне кусок пленки с папаней, сказала: «Береги и отпечатай при первой возможности».

— А ну покажь! — сказал боец.

Мальчик вытащил из кармана завернутый в бумагу кусок пленки. Человек с хриплым голосом зажег электрический фонарик и осветил пленку. Боец осторожно развернул ее и посмотрел на свет.

— Беда! — вздохнул он. — Мелкая очень печать, все навыворот! Не разберу. А охота мне Кузьму Петровича посмотреть в сталинградском бою, большая охота.

— Счастье тебе, малый, — сказал человек с хриплым голосом. — Истинное счастье!

— А наши старухи-дуры, — пробормотала старуха, сидевшая у двери, — всё на кино ругаются. Мельтешит, говорят, перед глазами и мельтешит!

— Вот те и мельтешит! — сказал боец. — Слыхала, какой случай? За это незнамо кого благодарить надо.

— Уж истинно, благодарить, — согласилась старуха. — За утешение, за то, что отца повидал. Великое дело!

Паровоз засвистел, начал тормозить.

— Кобыленка! — сказал мальчик и встал. — Ну, мне сходить. Вы, дядя Ваня, дайте мне Дымка. Я его завтра к вашим назад отвезу.

— Вот выручил! — радостно сказал боец. — А то душа у меня не на месте. Жаль собаку. Возьми его на руки, держи крепче. И папане обо всем напиши. Привет от меня, от Ивана Гаврюхина. Ну, шельма, прощай!

Боец потрепал собаку по спине, по ушам, потом погладил. Мальчик взял Дымка, спрятал под пальтецо и быстро вышел. Я вышел вслед за ним на открытую

площадку. Поезд тронулся. Собака тихо повизгивала у мальчика под полой.

В холодных лужах блестели звезды. Ветер дул из лесов, доносил запах талого льда — должно быть, с лесных озер, где сейчас было черно, жутко, где лед уже растаял у берегов и к полыньям подбегали сторожкой рысцой худые волки, пили жгучую воду, оглядывались, нюхали воздух; из-под осевшего снега пахло мерзлой брусникой, корнями.

Я вошел в вагон и услышал голос бойца:

— За это незнамо кого благодарить надо, — сказал он, затянулся, и огонек папиросы осветил его щетинистое лицо.

Все сильнее шумел ветер в соснах за окнами вагона. Поезд входил в обширный лесной край.

1943

СНЕГ

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна. — Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налетов, — а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые.

Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню, — тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем, — смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня, — он даже не вздрагивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик, — читала Татьяна Петровна, — вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа, — читала дальше Татьяна Петровна, — и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальной». Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди».

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над

дверью. На нем была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обиделся, ушел из прихожей: веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне. — Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая, — ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время.

Поезд пришел в городок днем. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная, — сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да, — сказал начальник станции, — хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов, — ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо, — ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой.

Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы.

«Ну что ж! — сказал Потапов. — Опоздал. И теперь это все для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу.

Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же, — подумал Потапов, — с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг».

Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как

бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку, — тихо сказала женщина,— вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание.

Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдемте! — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло.

— Кто же твоя мама? — спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая, — таинственно прошептала девочка. — А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй, — ответил Потапов.

Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить, — сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны, — она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы, — Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать, — сказала она. — Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались, — писал Потапов, — но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему — не

знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

1943

СТЕПНАЯ ГРОЗА

Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону оврага. Вверху по краю оврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей.

Каска валялась в ручье давно, больше года, заржавела, но мальчишки со Слободки ее не трогали. Может быть, потому, что мальчишки без надобности не выходили из дому, а может быть, потому, что мальчишки были теперь опытные насчет мин. Тронешь такую каску, грохнет рядом мина — и тогда «бенц»! Слово «бенц» на языке мальчишек означало всякую неожиданность, в том числе и внезапную смерть.

В доме жил старый учитель географии Иван Лукич, по прозвищу «Патагонец». Прозвали его так за высокий рост и за красноватое, обветренное лицо. Иван Лукич, человек одинокий и неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре — удил рыбу.

Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка, единственный сын вдового рыбака с Вольного острова. Почти каждое лето «Патагонец»

навещал отца Юрки — Никифора Бесперечного, ездил с ним в днепровские плавни ловить сазанов.

Перед приходом немцев Никифор отвел Юрку в Херсон, к Ивану Лукичу, сказал, что сам он, Никифор, уходит на шаланде с рыбаками на Кинбурн, будет там биться с немцами, как бились в стародавние годы с турками «вечной памяти запорожские хлопцы».

Напоследок Никифор притянул к себе Юрку, взъерошил ему волосы, сказал:

— Дожидайся тут отцовского возврата. Слухай Ивана Лукича, потому что он знает, в чем наша пропорция и какая заключается в нашей жизни осмысленность.

Никифор любил выражаться торжественно и туманно.

Через день после ухода Никифора Иван Лукич собрался уходить с Юркой от немцев, но пришлось остаться — не на чем было переправиться через Днепр. Лодку свою Иван Лукич отдал бойцам, а места не было.

Немцы в Слободку заходили редко. Их не интересовали хибарки, залатанные ржавой жестью, маленькие сырые огороды. Немцы расположились в городе, рубили на дрова городской сад, насаженный еще при Екатерине, уводили в степь евреев, открыли в городском театре «казино» с музыкой для офицеров.

Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал по оврагу щавель, — только щавелем и жили. Был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили. Иван Лукич очень от этого страдал. Огорчался и Юрка — с малых лет он привык к бою щук под кручами и запаху очерета.

Днем и в городе и на Слободке всегда бывало неспокойно. По ночам было не лучше, но Ивану Лукичу и Юрке ночи казались безопаснее, будто темнота в овраге отделяла их от немцев стеной. В сумерки Иван Лукич закладывал дверь железным засовом, завешивал окна, зажигал старинный медный ночник, ставил по сторонам его на столе тяжелые тома

переплетенной «Нивы» и впервые за весь день спокойно закуривал толстую крученую папиросу из махорки, смешанной с сушеной крапивой.

Юрка сидел у стола, смотрел на комнату Ивана Лукича, и все в ней представлялось ему интересным и живым: огромный атлас Петри на столе в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. Около домика стояла глиняная девушка в зеленом корсаже и красной юбке с оборками и кормила таких же глиняных белых барашков. Часы эти отставали на четыре часа в сутки. На стенах висели картины: «Переход Суворова через Сен-Готард» Сурикова, «Девятый вал» Айвазовского и портрет путешественника Миклухи-Маклая — страшно худого человека с бородой, похожего на Ивана Лукича.

Иван Лукич садился в потертое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блесны, вздыхал.

От письменного стола пахло табаком и лекарствами. В ящиках лежала стопками пожелтевшая линованая бумага, стереоскоп с видами всех европейских столиц, медный бинокль и много других приятных вещей.

С каждым месяцем этих вещей становилось меньше. Иван Лукич продавал их на маленьком базаре — барахолке, и сам удивлялся, что находились на них покупатели.

Но, несмотря на продажу вещей, Иван Лукич быстро слабел и вскоре перестал быть похожим на патагонца. Кожа на лице посерела, припухла. Иван Лукич жаловался на холод и спал, не снимая шапки.

Освобождение приближалось. С востока надвигалась Красная Армия, и Иван Лукич все чаще мерил старым циркулем карту, соображал, когда советские части дойдут до города.

Однажды ночью Иван Лукич долго не спал, ворочался, даже вставал. Было тихо. Только изредка прошумят и стихнут старые вербы или прогудит вы-

соко над домом неизвестно чей самолет. На рассвете Иван Лукич разбудил Юрку, сказал:

— Вставай! У тебя слух лучше моего.

Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было темное, серое. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихонько звякнуло, и далекий, но мощный гул медленно прошел мимо дома и затих в овраге. Потом прошел второй гул, третий. На окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукичом овес. Тоненькие его травинки наклонились к стеклу, будто тоже прислушивались к канонаде.

Утром Иван Лукич ушел на базар, чтобы разузнать новости. Юрка остался один. Он сидел на теплом от солнца полу и рассматривал «Ниву» за 1907 год. Кто-то подошел к окну, постучал. Юрка закрылся томом «Нивы», осторожно выглянул из-за него. За окном стояла соседка, бабка Федосья.

Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухи-Маклая, зашептала:

— Немцы тревожатся. Ходят скрозь по домам, ищут детей и родичей партизанских. Видно, тронулась их власть и они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич?

— На базаре, — шепотом ответил Юрка.

— Ну, смотри! — сказала бабка Федосья. — Все мы знаем, что ты внучек Ивана Лукича, а может, найдется на Слободке подлюга, который и больше нашего знает и расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке.

— А его за что? — спросил Юрка.

— За то, что сховал тебя при родном отце партизане, — ответила бабка. — Конечно, за его доброту. В степь подаваться надо вам обоим. Придет Иван Лукич, скажи ему. Тебя найдут — и его кончат. И дом спалят.

— А одного его не кончат? — спросил Юрка. — Без меня?

— Откуда я знаю! — ответила бабка. — Может, одного и не кончат. Надо думать, хлопчик, что и

справди не кончат, потому не будет у них нияких доказательств. А ты — доказательство!

Бабка ушла. Юрка постоял среди комнаты, схватил свой кожушок и шапку, вышел, припер дверь палкой и побежал низом по оврагу в степь.

Степь только что начала просыхать от весенней грязи. Всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать-и-мачехи уже раскрывались на солнцепеке.

Юрка пробирался подальше от хуторов. К северу ушли — затерялись телеграфные столбы железной дороги на Николаев. Потом перед собой в степи он увидел людей и свернул на юг. Люди копались в земле — должно быть, рыли окопы или рвы против танков.

Остановился Юрка около старого шалаша-куреня. В курене никого не было, только валялись гнилой хворост и прошлогодние арбузные корки. Наверное, здесь был когда-то баштан и в этом курене сидел старый сторож, такой же, как дед Лысуха на Вольном острове.

Дед Лысуха был подслеповатый и глухой. Он ничего не видел и потому, сидя у куреня, все время покрикивал наудачу на воображаемых воров-мальчишек: «А ну, марш с баштана, голота! Вот выдерну с плетня дрючок да встану — тогда будете знать!» Крик деда на пустом баштане веселил рыбаков. «До чего старательный, — говорили они. — Кричит весь день, а у него из-под постолов хлопчики тянут дыни. Да бог с ним, пусть сторожит. Надо же старому пропитание».

Юрка подобрал сухие арбузные корки, вытер о кожушок, начал жевать. Они были твердые, как кожа, но все же их можно было разжевать в кисловатую кашицу.

Днем небо затянулось облачной скатертью, задул ветер, закачал слабую траву. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожушка и задумался.

Что делать дальше? Вот он ушел из города, чтобы из-за него, из-за Юрки, немцы не убили Ивана Лукича, ушел и не взял ни одного сухаря, в смятении

забыл про еду. «Буду тихо сидеть в курене, не двигаться, дышать носом, как советовал Иван Лукич, — думал Юрка, — а выходить только в балочку за водой. Тогда продержусь целую неделю. А за неделю, может, и выбьют наши германцев и ихних полицаев, и не успеют они меня приколоть. А как же Иван Лукич?»

Юрка начал краснеть. Жар бросился ему в щеки.

Что он подумает, Иван Лукич? Ушел, бросил его одного, старенького, напугался. Где ему догадаться, что Юрка ушел, чтобы отвести от него опасность! И записку никак нельзя было оставить: придут немцы, найдут — тогда верная смерть. Что же делать? Отец всегда говорил, что нет на свете худшего «злодеянства», как бросить своего человека в беде. В качестве примера он рассказывал историю о Казачьем кургане, где похоронены запорожцы, перебитые турками. Запорожцев выдал туркам из трусости свой же казак, и, как говорил Никифор, «того казака, что выдал товарыство, турки вбылы первого».

— И за дело вбылы, Юрка! За дело! — добавлял Никифор.

Как же быть? Побежать разве обратно в город, объяснить Ивану Лукичу, почему он, Юрка, ушел в степь...

В степи потемнело, ветер задувал все сильней. С моря нагоняло низкие тучи.

«Подожду до ночи, — решил Юрка. — Ночью вернусь в город, тогда меня никто не увидит, не схватит. И уйдем опять в степь вместе с Иваном Лукичом».

Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих, задремал.

Очнулся он в темноте. Ветра не было. Юрка осторожно выглянул. Мгла лежала над степью, а на востоке глухо гремело — должно быть, подходила гроза. «Лишь бы дождя не было», — подумал Юрка и посмотрел на крышу куреня. Она была сложена из дерна. В темноте мутно белели дыры в тех местах, где дерн обвалился.

Далеко в степи закричал человек. Юрка задержал дыхание, прислушался. Крик повторился, но уже

дальше. Человек, должно быть, ходил по степи, спотыкался, искал кого-то, звал жалобным голосом.

«Сумасшедший! — подумал Юрка. — Разве здоровый будет ходить в такую ночь по степи, кричать на верную смерть».

Юрка поднял голову, ждал. Крик не повторялся. Было опять тихо, даже гром не гремел, и Юрка слышал, как тяжело, до искр в глазах, колотится его сердце.

Может быть, сумасшедший заметил курень, замолчал и подкрадывается к нему?

Юрка вылез из куреня, пополз по сырой земле, путаясь в ботве. Кто-то, громко топая сапогами, пробежал в темноте, остановился, сказал, задыхаясь: «Вот гадюки, чтоб их громом убило!» — и побежал дальше. Еще никогда Юрка не видел такой страшной ночи.

Небо было как сажа и все кругом было как сажа, и хоть бы одна звезда загорелась в небе!

Неожиданно мутным красным огнем вспыхнула чернота, осветился курень — он был совсем близко, — снова накатилась ночь, и такой гром ударил по земле, что у Юрки дернулась и заболела голова. Торопясь и перебивая друг друга, загрохотали небесные разрывы, зашумел ветер, засвистела дикая ночь.

Юрка вскочил и побежал в степь. Он спотыкался, падал. Что-то черное и мокрое зашумело по земле, по кожушку, и Юрка не сразу понял, что начался дождь. А с востока все чаще разверзались залпы, будто великаны разрывали небо, и за ним открывалось другое небо из угрюмого страшного пламени. Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как косматое и зловещее солнце несется, вертясь и мигая, за пологом черных туч и гаснет тотчас, как только гаснут залпы.

Солнце как будто мчалось в вышине с яростной быстротой, но вместе с тем оставалось на месте.

«Сон, что ли?» — подумал Юрка, ударился обо что-то большое, темное и упал. «Хата, — подумал Юрка. — Вся кривая, разбитая». Он схватился за угол хаты, попал рукой в густую грязь, и под слоем грязи

пальцы его наткнулись на холодную сталь. Зажегся залп, и Юрка увидел забитые глиной гусеницы танка у себя над головой. Они висели, разорванные взрывом, тяжелые и неподвижные. Пахло гарью, бензином.

Юрка шарахнулся, бросился назад, нога у него подвернулась. Он упал и услышал, как далеко в непроглядной ночи кричали сотни людей. «Сошлись!» — вскрикнул Юрка и больше уже ничего не слышал — только земля скрипела у него на зубах.

Когда он открыл глаза, над головой в чистом утреннем небе нехотя плыли, будто хотели остановиться, но не останавливались, легкие облака. На их белые верхушки нельзя было смотреть — так они светились от солнца. Хотелось лечь на край такого облака и плыть над степью.

Юрка скосил глаза, но земли не увидел. Со всех сторон медленно плыли облака, будто он лежал в воздухе и огромное небо задумчиво вращалось вокруг него, как облачная карусель. Свиристела рядом маленькая степная птица.

Юрка поднял голову и увидел, что лежит на сухой соломе в грузовой машине. Машина стояла.

Потом над бортом машины показалась стальная каска. Юрка сжался, смотрел на каску; сердце его колотилось.

Каска медленно подымалась, и вскоре под ней появилось веснушчатое лицо бойца с выгоревшими бровями. Боец молча посмотрел на Юрку, таинственно ему подмигнул. Юрка улыбнулся.

— Ага! — сказал боец. — Итак, значит, живы-здоровы?

Юрка молчал.

— Петров! — сказал боец кому-то, кто сидел, очевидно, на земле около машины. — Похоже, что этот гражданин из колонии глухонемых.

— Не! — сказал Юрка таким сиплым голосом, что ему самому стало неловко. — Я не глухой. Я из Херсона. А вы откуда?

— Мы? — спросил боец. — Мы костромские. Прибыли в ваше расположение для организации немецкого драпа.

Глухой бас из-под машины сказал:

— С добрым утром, молодой человек. Не желаете ли консервов? Свино-бобовых?

— Здравствуйте, — тихо ответил Юрка и сел. — Я сейчас слезу.

Юрка вылез. Низко по горизонту стлался дым. Около машины сидел на куче щебня высокий бородатый боец и открывал консервную банку. Он посмотрел на Юрку и кивнул ему головой. Маленький чернявый водитель вытирал тряпкой стекла в кабине.

— Арутюн, — позвал бородатый, — иди садись, режь хлеб. Бобы мировые.

— Я резать хлеб не могу, — ответил водитель. — Я весь горючим пропах. Около меня даже курить опасно.

Так началось знакомство Юрки с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть начало синеветь над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал им о Никифоре, об Иване Лукиче, о том, как он, Юрка, жил в Херсоне и убежал, чтобы не подвести Ивана Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками.

— Итак, — сказал боец в веснушках, — допросом установлено, что указанный гражданин, — боец сделал свирепое лицо и посмотрел на Юрку, — есть сын рыбака, партизанящего на Кинбурне, и воспитанник старого педагога, каковой педагог в свободное от служебных занятий время интересуется ужением рыбы на Днепре. Правильно я вас понял, молодой человек?

— Правильно, — неуверенно ответил Юрка и на всякий случай спросил: — А вы кто такие?

— Мы члены общества любителей соловьиного пения, — ответил боец с веснушками.

Юрка улыбнулся: очень забавно разговаривал веснушчатый. Но бородатый боец и водитель, должно быть, привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бобами, не обращая внимания на веснушчатого. Только водитель сказал:

— Брось морочить мальчику голову. Мы связисты.

— Вот что, хлопчик, — сказал бородатый боец, — ты до Херсона один не дотопаешь. Определенно не дотопаешь. Всего еще много — и мин, и одиночных немцев по степи, и черт его знает чего. Лезь в кузов! Мы поедем до моря, а оттуда Арутюн вернется в Херсон. И тебя доставит. Сговорились?

— Сговорились, — ответил Юрка. — А вам зачем к морю?

— Много будешь знать — облысеешь!

Вскоре машина тронулась. Ветер зашумел в ушах. Из-под колес на молодые травы полетели комья грязи. Чем дальше шла машина, тем сильнее дул ветер, тем громче пел веснушчатый боец незнакомую Юрке песню:

Эх, позарастали стежки-дорожки!

Юрке уже казалось, что война где-то далеко и что не было здесь никаких немцев. Казалось, может быть, потому, что бойцы ничего не говорили о войне, а может быть, потому, что машина бежала на юг, к морю, по глухой проселочной дороге, а бой шел в стороне, на западе. И если бы не толпа пленных немцев, которых вели всего два конвоира, то Юрка совсем бы позабыл о войне. Немцы были почернелые, будто копченые, и тяжело месили грязь низкими сапогами.

Машина остановилась около рыбачьей лачуги. Юрка выскочил и прищурился — широко летел в лицо разгонистый ветер, а под обрывом, совсем рядом, бежало навстречу море, разливалось зеркалами по пескам, несло соленую пыль.

Пока бойцы вытаскивали из машины связки проволоки и ящики, Юрка сбежал на берег. Волны подымались, вода просвечивала зеленым бутылочным цветом. Потом они с громом падали на песок и уходили, уволакивая голыши, медную гильзу от снаряда и мандариновую кожуру.

Вдали желтел низкий берег. Над ним расплывались в небе темные шары разрывов.

«Кинбурн, — подумал Юрка. — Там еще немцы. Должно быть, Никифор бьется с ними, выбивает

последних, гонит прямо в Черное море дельфинам на ужин».

Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашел в лачугу попрощаться с бойцами. Внутри было пусто, мусорно, стояла старая лавка, и только в углу висела такая же икона, как и у них в хате на Вольном острове: черный дед в серебряной ризе, святитель Николай из Мир Ликийских, заступник рыбацкого племени. За икону была заткнута сухая ветка вербы, а рядом на стене висела немецкая пилотка.

Веснушчатый боец подметал лачугу веником из полыни. Он сдернул пилотку со стены, бросил в печь — там уже горел огонь под котелком. Но бородатый боец вытащил пилотку щепкой, вынес и выбросил в степь.

— Кулеш, — сказал он, — дело чистое. Не годится чадить около него немецким барахлом.

Юрка поблагодарил бойцов, попрощался с ними.

— Погоди! — сказал веснушчатый. — Есть разговор.

Он вынул из вещевого мешка коробку от печенья, развязал ее, осторожно порылся в ней и протянул Юрке три раскрашенных гусиных поплавка. На одном были синие, оранжевые и желтые полосы, на другом — крошечные цветы и травы, а на третьем — множество разноцветных точек, мелких, как маковые зерна.

— Сам красил, — сказал веснушчатый. — Я тоже рыболов. Всюду с собой их таскаю. Устану — разверну их, погляжу, потрогаю, и как будто и не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере, кусты, вода стоит тихая, пар над ней по утрам, журавли курлычут на болотах. Хорошо! Знаменито! И сразу у меня легче становится шаг. Один поплавок возьми себе, другой — твоему папаше, а вот этот, с цветами, — учителю твоему. Так и скажешь: «От Семечкина Ивана, рыболова и бойца. В знак почтения».

Юрка спрятал поплавки в шапку и ушел сконфуженный и радостный.

В середине дня машина остановилась при въезде в город около Слободки. Юрка выскочил, попрощался с водителем и побежал к себе в овраг. Дым еще стоял над городом. В небе звенели алюминиевые самолеты, и Юрка видел на крыльях маленькие красные звезды.

Юрка спустился в овраг, перескочил через ручей, увидел Слободку и остановился. Облупленные и серые слободские хаты блестели, как снег. Женщины в подоткнутых платьях мазали стены квачами, обводили синей каймой окна, а одна — Христина, белозубая и дерзкая на язык — даже нарисовала над каждым окном пышные пионы.

— Здоров! — крикнула Христина Юрке. — Всей Слободкой после немцев мажемся. Теперь наша Слободка — как небесный рай. И Иван Лукич мажется.

Юрка побежал к дому Ивана Лукича. Он издали увидел, как Иван Лукич стоит на табурете и мажет кистью высоко под крышей. Окна в доме впервые были открыты настежь, и только что вымытые фикусы блестели на солнце.

— Иван Лукич! — крикнул Юрка и заплакал. — Здравствуйте!

Больше он ничего не мог сказать. Иван Лукич обернулся, уронил кисть, торопливо слез с табурета, подошел к Юрке. Стекла очков Ивана Лукича были забрызганы мелом.

Иван Лукич схватил Юрку за плечи, потряс, обнял, поцеловал и снял очки. Со стекол упало на землю несколько мутных от мела капель. Иван Лукич вытер глаза, сказал:

— Жив! Голодный небось, как волчонок? Еще бы не голодный! Ты зачем удрал? Думаешь, я не знаю. Я, брат, все знаю и одобряю. Завтра партизаны возвращаются с Кинбурна, Никифор приедет, а ты замурзанный, как галчонок. Пойдем! Переоденешься, чай сейчас вскипит.

Иван Лукич снова потряс Юрку за плечи и повел в дом. В комнатах было весело, пахло чистотой, вес-

ной, вымытыми полами. На полу около окна дрались из-за червяка два взъерошенных воробья, тянули червяка клювами каждый к себе.

Увидев Ивана Лукича и Юрку, воробьи бросили червяка и со страшным переполохом удрали в окно.

— Чертенята! — закричал Иван Лукич. — Разворовали червей.

Иван Лукич взглянул на Юрку, покраснел, пробормотал:

— Понимаешь, утром накопал целую банку подлистников. Для окуня нет лучше насадки. И, пожалуй, даже для леща. Так... впрок накопал.

Тогда Юрка достал из шапки два раскрашенных поплавка и протянул Ивану Лукичу.

— Это вам от одного бойца-рыболова, — сказал он. — От Семечкина Ивана. В знак почтения!

Иван Лукич взял поплавки, осторожно провел по ним пальцем, улыбнулся:

— Спасибо! Это — на счастье. Такой поплавок будет плавать в днепровской воде, как цветок с каких-нибудь Гавайских островов. Значит, двинем после чая на Днепр, Юрка. Удочки у меня в полном порядке.

— Двинем, Иван Лукич, — ответил Юрка.

За окнами весело перекликались женщины, пела Христина, кричали воробьи. От распускавшихся верб пахло нагретой корой, и хороводом ходили над городом и днепровским разливом, сверкая в небесной голубизне, самолеты.

1944

СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ

На рассвете всюду в избах одно и то же — и у нас, под Костромой, и на Украине, и в гуцульской деревушке у подножья Карпат. Пахнет кисловатым хлебом, вздыхает старик, бормочут в сенях сонные куры, торопливо тикают ходики.

Потом за окнами воздух начинает синеть, и по тому, как запотевают стекла, догадываешься, что во дворе, должно быть, весенний заморозок, ясность, роса на траве. Постепенно начинаешь различать черное распятье над дверью, баранью безрукавку на табурете, прикрытую выгоревшей фетровой шляпой, и вспоминаешь—да ведь это совсем не под Костромой, а на самой западной нашей границе, в Гуцулии. И синие глухие тучи, проступающие за оконцем, вовсе не тучи, а Карпатские горы. Далеко в горах, за лесом, за туманом, гремит протяжный пушечный выстрел. Начинается боевой день.

Выходишь умыться во двор. От холодной воды сразу исчезает ночная путаница в голове, и с ясностью вспоминаешь все, весь вчерашний день.

На поляне перед домом столько ромашки, что бойцы стесняются ходить по поляне, а обходят ее стороной. Среди поляны цветет одинокий куст

шиповника. В утренней прохладе он пахнет сильнее, чем днем. Солнце еще за горами, но верхушки лесов на западных склонах уже зажигаются ржавчиной от его первых лучей.

В избе живет дед Игнат со своей внучкой Ганей. Дед очень стар и болен. Он бывший дровосек. Вот уже год, как дед не может удержать в руке тяжелый топор. «Слава богу, — говорит дед, — что достало у меня силы перекреститься, как увидел я русские пушки». До церкви и то деду дойти трудно. Его туда отводит Ганя. Дед становится на колени перед алтарем, убранным голубыми бумажными цветами, его седые косматые волосы вздрагивают на голове, и он шепчет слова благодарности за хлеб, за то, что освободилась его «краина» от проклятых швабов и довелось ему, старому, увидеть еще одну весну в родной стране.

Страна эта прекрасна. Она закутана в светлый туман. Кажется, что этот туман возникает над ее мягкими холмами от дыхания первых трав, цветов и листьев, от распаханной земли и поднявшихся зеленей.

Маленькие радуги дрожат над шумящими мельничными колесами, брызжут водой на черные прибрежные ветлы.

Холмы сменяют друг друга, бегут от горизонта до горизонта. Они похожи на огромные волны из зелени и света. Небо такое чистое и плотное, что невольно хочется назвать его по-старинному — небосводом. Солнце отливает желтизной. И с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега, что еще не всюду растаял на вершинах гор.

Только вчера мы заняли эту деревушку. Жители еще спасались по лесам от немцев. В деревне никого не было, кроме детей, старух и дряхлых стариков. Немцы засели вблизи, за ущельем, над единственной горной дорогой. Нужен был проводник, чтобы подняться по кручам выше немцев на скалу, носящую название Чешске Лоно. Только оттуда, сверху можно было выбить немцев и очистить дорогу.

Вместо проводника к лейтенанту привели десятилетнюю девочку. Она была в новых постолах, в длинной бордовой юбке с белой каймой, в желтой безрукавке со множеством перламутровых пуговиц и шелковом платке. Маленькая, празднично разодетая, она стояла, потупив глаза, и теребила край синего фартука.

— Неужели нет проводника постарше? — спросил озадаченный лейтенант.

Тогда старики, стоявшие рядом, переглянулись, сняли фетровые шляпы, почесали затылки и объяснили, что эта девочка — внучка знаменитого в их местах охотника и дровосека деда Игната и никто, к сожалению, лучше ее не знает дороги на Чешске Лоно. Знает, конечно, сам Игнат, но вот уже год, как он не ходит в горы — очень слаб.

Лейтенант с сомнением покачал головой.

— Доведешь, не заблудишься? — спросил он девочку.

— Ага! — ответила девочка и покраснела.

— Так, чтобы даже птица нас не заметила?

— Ага! — повторила девочка и покраснела сильнее.

— А ты не боишься? — строго спросил лейтенант.

Бойцы стояли вокруг, хмурились. Что это за провожатый! Несерьезный получается разговор.

Девочка не ответила. Она только подняла на лейтенанта большие серые глаза, улыбнулась и снова потупилась. Невольно улыбнулся и лейтенант. Заулыбались и бойцы. Никто не ожидал увидеть из-под темных ресниц этот счастливый и смущенный взгляд.

Все молчали. Только вихрастый мальчишка с бегающими глазами, высунувшись из-за плетня, сказал со страшной завистью: «Ух, Ганька!» Девочка насупилась. Бойцы оглянулись. Мальчишка спрятался. Старики качали головами: да, есть чему позавидовать, хлопчик. Действительно, есть чему позавидовать!

Девочка провела отряд на Чешске Лоно. Дорога была очищена от немцев. К вечеру девочка вернулась вместе с раненым бойцом Малеевым. Боец он был

исправный, смелый, и никаких недостатков за ним не числилось, если не считать некоторой болтливости.

Вечером Малеев сидел около дома Игната на камне, пил молоко и, отставив забинтованную правую руку, беседовал со стариками. Старики слушали почтительно, ласково, но вряд ли что-нибудь понимали. Малеев был рязанский. Разговор у него с гуцулами получался не очень вразумительным.

— Ничего, — говорил Малеев, — наше начальство ее наградит. Беспрекословно! За шустрость и за смелость. За нами геройство не пропадет! Так что вы, граждане старики, в этом не сомневайтесь.

Старики улыбались, кивали головами.

— Начальство начальством, — говорил Малеев, — а вот бойцы больно девочке этой благодарны, не нахвалятся. И следовало бы ей от бойцов чего-нибудь преподнести за внимание. Только вот беда — не придумаешь чего. Сами знаете, у бойца в мешке неприкосновенный запас, а в подсумке патроны. А ей, видишь ли, куклу нужно или что-нибудь в этом смысле.

Малеев, излагая эти обстоятельства из жизни бойцов, хитро подмигивал, поглядывал на смущенную девочку, позванивал чем-то у себя в кармане, но никто не понял его тонких намеков.

В кармане у Малеева были спрятаны стеклянные бусы. Их дал Малееву лейтенант и приказал наутро подарить Гане, но по возможности неожиданно. Не просто так, по-грубому, вынуть и сунуть в руку: «На, мол, получай!» — а с некоторой деликатностью и таинственностью.

Малеев хорошо понял задание и с радостью взялся его выполнить, хотя считал это дело трудным и щекотливым.

Старики в темноте разошлись. Запылали над Карпатами звезды, сильнее зашумели водопады. Из вечерних лесов запахло сыростью, дикими травами.

Дед Игнат, Малеев и Ганя долго еще сидели около дома. Малеев притих. Ганя робко спросила:

— А у вас за Москвою такие речки, как наши? Или дуже другие?

— Другие, — ответил Малеев. — У вас хорошо, и у нас хорошо. Наши реки льются широкие, чистые, в цветах, в травах. Льются в далекие крымские моря. Плывут по тем рекам белые пароходы с красными шелковыми флагами, и горят-светятся по берегам бесчисленные наши города.

— И лес дуже другой? — спросила Ганя.

— И лес другой, — сказал Малеев. — Грибной лес у нас. На тыщи километров. Разный бывает гриб: боровик, подберезовик, рыжик. Живет в наших лесах мудрая птица дятел. Каждое дерево клювом долбит, пробует. Какое дерево сухостойное или с гнильцой, делает на нем отметины для лесников: руби, мол, не сомневайся!

Малеев замолчал. Ганя его больше ни о чем не спрашивала. Тогда Малеев не выдержал.

— А что ж ты про людей наших не спрашиваешь? — спросил он. — Какие они, наши люди?

— А людей я знаю, — ответила Ганя и улыбнулась.

— Вот правильно! — сказал Малеев. — Весело с тобой разговаривать.

Утром Малеев проснулся очень рано, вышел из дому, оглянулся, вытащил из кармана бусы, повесил их на плетень около дома, а сам спрятался за углом, стал ждать. Ганя пошла к речке за водой и на обратном пути должна была пройти около плетня. По расчетам Малеева, она должна была обязательно заметить бусы. Недаром Малеев долго дышал на них, тер о шинель. Бусы горели на солнце, как пригоршня алмазов!

На тропинке показалась Ганя. Малеев следил за ней, не спуская глаз.

Ганя увидела бусы, остановилась, заулыбалась, поставила на землю ведра, потом медленно пошла к плетню, несмело протянув к бусам худенькую руку. Она подходила к плетню так осторожно, будто боялась спугнуть птицу.

Но вдруг она вскрикнула, схватилась за концы платка, повязанного на голове, и заплакала.

Малеев от удивления выскочил из-за угла и увидел вихрастого мальчишку. Он мчался вдоль плетня, зажав в руке блестящие бусы.

«Углядел!» — подумал Малеев и закричал страшным голосом:

— Брось! Тебе говорю, брось! Раскаешься!

Мальчишка оглянулся, швырнул бусы в траву и помчался еще быстрее.

Все случилось именно так, как не хотел лейтенант. Малеев подобрал бусы, подошел к плачущей Гане, сунул ей бусы в руку и, покраснев, пробормотал:

— Это тебе. Получай!

Вышло, конечно, грубо и без всякой таинственности, но Ганя подняла на Малеева такие заплаканные и благодарные глаза, что Малеев отступил и мог только сказать:

— Начальство, конечно, своим порядком... А это от нас.

Дед Игнат стоял на пороге, усмехался. Когда Малеев и Ганя подошли, дед взял у Гани бусы, позвенел ими на солнце, надел их на Ганину шею и сказал:

— Монисто это краше золота. Эх, серденько мое, увидят твои ясные глаза счастье. С такими людьми — увидят!

Ганя поставила на траву ведра с водой и, потупившись, смотрела на бусы сияющими глазами. Вода качалась в ведрах, отражала солнце, светила снизу на бусы, и они горели на смуглой шее у девочки десятками маленьких огней.

1944

БРИЗ

Весь день шел дождь с холодным, порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Все было серое: небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как черная река.

К старому, одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришел молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Севастополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку кахетинского и оставил ночевать.

В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи — тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют.

Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутемном кабинете.

— Любопытно, — сказал доктор, допивая вино, — о чем думает человек, когда он тяжело ранен. Вот вы, например, о чем вы думали тогда под Севастополем?

— Я больше всего боялся потерять коробку от папирос «Казбек», — ответил моряк. — Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован Казбек, покрытый снегом. Ранило меня на рассвете. Было еще свежо после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный, тяжелый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение и мне будет легче дышать. А солнце все подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой все меньше. Наконец солнце начало жечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал ее, чтобы закрыть ладонью глаза от света. Пока что я не чувствовал особенной боли. Но я твердо помню, что все время беспокоился из-за коробки «Казбека».

— Почему вы так боялись ее потерять?

— Да как вам сказать... Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка — на всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Все кажется, что тебя убьют и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит.

— Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке? — спросил доктор и хитро прищурился.

Моряк покраснел и ничего не ответил.

— Ну, хорошо,— сказал поспешно доктор.— Оставим этот вопрос.

В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю, открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь, из темноты:

— Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?

— Ну конечно, можно! — ответил доктор. — Вы что? Бегом мчались с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить! Погасите свет,—сказал доктор моряку из передней, — и пойдемте на балкон. Только накиньте шинель. Дождь еще не прошел.

Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко ее пожала.

Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень.

— Ну, — сказал доктор, ежась от дождя, — что же все-таки случилось с вашей коробкой «Казбека»?

— Когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары. Или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно...

— Что?

— Та... то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал.

— Ничего странного, — сказал доктор. — Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение.

— Нет, почему же? — смутился моряк. — Но, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным.

— Почему?

— Да, знаете, — ответил, поколебавшись, моряк, — любовь — как бриз. Днем он дует с моря на берег, ночью — с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как нам бы хотелось.

— Однако, — заметил насмешливо доктор, — вы разговариваете, как заправский поэт.

— Боже мой! — воскликнула женщина. — Какой вы прозаический человек, доктор!

— Нет, позвольте! — вскипел доктор.

В это время багровым огнем вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождем, в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнем. Ракеты отражались в асфальте.

На несколько мгновений город вырвался из темноты. Появилось все то, что жильцы высокого дома

видели каждый день: Кремль, широкие мосты, церкви и дома Замоскворечья.

Но все это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень легким. Ускользающий блеск ракет и дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнем.

Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня.

— Прямо феерия какая-то! — сказала женщина. — Жаль, что салют в двадцать четыре выстрела, а не в сто двадцать четыре.

Она помолчала и добавила:

— Севастополь! Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода? Особенно под кормой пароходов. И запах поломанных взрывами сухих акаций.

— То есть как это «помните»? — сказал доктор. — Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был.

Женщина ничего не ответила.

— Но я-то все это хорошо помню, — сказал моряк. — Вы были в Севастополе?

— Примерно тогда же, когда и вы, — ответила женщина.

Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущенно попрощавшись.

Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошел. В разрывах между туч горели звезды. «Меняется погода, — подумал моряк, — поэтому и не спится». Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом: «Какая там очень-очень прозрачная вода!» — и моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было.

Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она была пуста. Он вспомнил, что у него есть еще папиросы в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажег свет. На столике около зеркала, на его морской фуражке лежала изорванная и измятая коробка «Казбека». Большое черное пятно закрывало рисунок снежной горы.

Моряк, еще ничего не понимая, взял коробку и открыл ее, — папирос в ней не было. Но на крышке с внутренней стороны он увидел знакомый адрес, написанный его собственной рукой. «Откуда она здесь? — подумал моряк. — Неужели...» Почему-то испугавшись, он быстро погасил свет и, зажав коробку в руке, вернулся в комнату. До утра он уже не мог уснуть.

Утром моряк ничего не сказал доктору. Он долго брился, потом умывался холодной водой, и руки у него вздрагивали. «Глупо! — думал моряк. — Что за черт!»

Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли настежь. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя. В этом утре уже было предчувствие длинного лета, теплых ливней, прозрачных закатов, летящего под ноги липового цвета.

Моряк почему-то был уверен, что это утро и не могло быть иным. Тишина на рассвете, такая редкая в Москве, не успокаивала, а, наоборот, усиливала его волнение.

— Что, в самом деле, за черт! — сказал вполголоса моряк. — В конце концов бывают же в жизни и не такие случаи.

Он догадывался, что эта женщина работала, очевидно, сестрой в Севастополе, первая перевязала его, нашла коробку с адресом и написала письмо той, другой женщине, забывшей его так легко и быстро. А вчера она услышала его рассказ, узнала его и нарочно принесла эту коробку «Казбека».

«Да, но зачем она ее сберегла? И почему ничего не сказала? От молодости, — решил моряк. — Я же

сам люблю всякие таинственные вещи. Надо обязательно зайти к ней и поблагодарить». Но тут же он понял, что понадобится отчаянная смелость, чтобы нажать кнопку звонка у ее дверей, и что он вряд ли на это решится.

Через час моряк вышел от доктора. Спускался он по лестнице очень медленно. На третьем этаже он остановился. На площадку выходило три двери.

Моряк с облегчением подумал, что он не спросил доктора, в какой квартире живет эта женщина и как ее зовут. Да и неловко об этом спрашивать. А теперь нельзя же звонить подряд во все двери и спрашивать неизвестно кого!

В это время за одной из дверей моряк услышал знакомый голос. «Я вернусь через час, Маша, — сказал этот голос. — Я плохо спала эту ночь. Здесь очень душно. Пойду к реке».

Моряк понял, что вот сейчас, сию минуту, она выйдет и застанет его на площадке. Он бросился к двери и с отчаянно бьющимся сердцем позвонил.

Дверь тотчас отворилась. За ней стояла вчерашняя женщина. Из двери дуло ветром. Он развевал легкое платье женщины, ее волосы.

Моряк молчал. Женщина вышла, захлопнула дверь, взяла его за руку и сказала:

— Пойдемте. Я провожу вас.

— Я хотел поблагодарить вас, — сказал моряк. — Вы спасли меня там... в Севастополе. И послали по этому адресу письмо...

— И, кажется, послала неудачно? — улыбнулась женщина. — Вы на меня не сердитесь?

Они спускались по лестнице. Женщина отпустила руку моряка, поправила волосы.

— За что? — спросил моряк. — Все это очень странно. И хорошо...

Женщина остановилась, заглянула ему в глаза.

— Не надо волноваться, — сказала она тихо. — Хотя что я говорю. Я сама волнуюсь не меньше вас.

Они вышли на набережную, остановились у чугунных перил. Кремль просвечивал розовыми стенами сквозь утреннюю мглу.

Женщина прикрыла рукой глаза и молчала. Моряк смотрел на ее руку и думал, что на этих вот пальцах была, наверное, его кровь. На этих тонких и милых пальцах.

Женщина, не отнимая руки от глаз, сказала:

— Никогда я не верила, что это бывает так... сразу. И что я увижу вас снова после Севастополя.

Моряк взял ее руку. Он поцеловал эту маленькую и сильную руку, не обращая внимания на прохожих. Прохожие шли мимо, как бы ничего не замечая. Только, отойдя очень далеко, они украдкой оглядывались и смущенно улыбались.

1944

ПОДПАСОК

Роса была холодная, обильная — настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по темной воде расплывались медленные круги.

Я промок насквозь от этой росы и развел костер. Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. Лиственницы уже облетели. Их хвоя — тонкая, как короткие золотые волосы, все время сыпалась сверху, хотя ветра и не было. На лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица — здешний лесной парикмахер, что она стрижет хвою, щелкает ножницами, сыплет эту хвою вниз, мне на голову, на реку, на костер.

Я сушился и смотрел на реку. Желтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали, то разгораясь, как золото, когда попадали на солнце, то погасая и чернея, когда на них падала тень от кустов.

На реке со времени боев с немцами остались брошенные переправы — плоты, заросшие кипреем и оль-

хой, и отдельные бревна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду.

Кусты около костра затрещали. Из них высунулась мокрая коровья морда. Корова понюхала воздух, шумно вздохнула и кивнула мне белой головой с черным пятном на лбу. Тотчас где-то рядом щелкнул, как выстрел, кнут и кто-то крикнул:

— Куды, Параська! Куды залезла, чумовая?

Параська рванулась в сторону и, ломая кусты, исчезла. Из-за кустов вышел подпасок — обыкновенный подпасок, каких можно увидеть в каждой нашей деревне, — маленький, беловолосый, в большом картузе, в рваном ватнике и с длинным кнутом. Он тащил кнут за собой по мокрой траве.

Подпасок потянул носом, вытер его свисавшим до земли рукавом, поглядел на меня и сказал сиплым голосом:

— Почтение! Роса прямо заливает. Сил никаких нету.

— Иди, сушись! — предложил я.

— Это можно, — согласился подпасок, подошел и присел на корточки около костра. — Вы что же, путешественник?

— Пожалуй, что путешественник, — ответил я.

— А я пастух, — сказал мальчик. — Алексей Кудышкин. Работаю вместо отца. Он на фронте. Я, правда, ловчился попасть в конюхи, да председатель не взял. Говорит, что недомерок, ростом не вышел. Назначил Леньку. А какой Ленька конюх! Я его враз поборю, ежели всерьез схватиться. Высокий, а силы никакой нету. Потому что у человека вся сила в плечах, а у него плечи узкие, как у козла.

Мальчик помолчал, потом неожиданно спросил:

— Вы реку Миссисипи видели? В Америке.

— Нет, не видел. А что?

— Охота мне ее повидать. Говорят, широкая, поболе Волги. А в Сталинграде вы были?

— Бывал.

Мальчик улыбнулся:

— Папаня мой за Сталинград ранение и медаль получил. Он до войны был в нашем селе пастухом.

— Откуда ты знаешь про Миссисипи? — спросил я.

— Из школы. И от папани. Он все знал, каждую былинку. Как ее зовут, где она растет и какая от нее польза или вред. Все объяснит. Про нашу страну и про другие страны. Правда это, что есть алмазные горы, только они глубоко в землю ушли и, чтобы до них дорыться, надо копать сто лет машинами?

— Не знаю, — ответил я. — Что-то не слыхал я про такие горы.

— А папаня — так он слыхал! — сказал мальчик.— Он не путешественник, а все знал про путешествия. А про бутылки вы знаете?

— Про какие бутылки?

— Про почтовые.

— Нет, не знаю.

— Я вам сейчас объясню, — сказал мальчик. — Плывет, значит, путешественник на корабле. По большому океану. Матросы, конечно, бунтуют. Им неохота плавать. У них дома пища сытная, печь всю зиму топится, своя корова и огород, а вечерком можно сходить к соседу, сыграть в поддавки. А тут одна жара и вода — и ничего больше нету. Вот они забунтовали, ссадили того путешественника в лодку и пустили его одного в океан. А сами повернули паруса и возвращаются обратно. А путешественника океан выбрасывает на необитаемый остров. Вы видели необитаемые острова?

— Нет, — ответил я.

— Да у нас на реке есть такие острова, — сказал мальчик; глаза его блестели и лицо раскраснелось от волнения. — На одном выдра живет. Так вот, выбрасывает его волна на необитаемый остров. Там только пальмы шумят да попугаи летают, каркают, и хорошо еще, если есть пресная вода. Вот он достает из лодки бутылку, пишет записку, что выбросило его на этот остров, закупоривает и кидает в океан. Ее несет течением, потом ее, конечно, подбирает команда с какого-нибудь парохода, дает радио, что вот требуется этому путешественнику немедленная выручка. И его спасают. А матросов судят потом адмиральским судом.

— За бунт?

— За бунт. И за бесчеловечность.

— Алешка! — закричал издали сердитый женский голос. — Куда ты подевался! Параська в капусту полезла.

— Здесь я! — закричал подпасок. — Сейчас выгоню.

Он встал, запахнул ватник.

— Вот вредная какая! — сказал он. — С целым стадом столько не намаешься, как с одной Параськой. Ну, прощайте.

Он побежал в кусты. Издалека послышались щелканье кнута, крик: «Куды, дьявол!» и недовольное мычание коровы.

Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье и на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи. То дуплистая ива лежала поперек реки, как мост, и около нее выскакивали из воды головли. То река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени.

У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы. В одном месте открылся косогор, красный от кленов, а в зарослях кленов — старенькая часовня с заржавленным куполом.

На закате я вышел к проселочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке появились заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плоту что-то нестерпимо блестело. Я вглядывался, но никак не мог разобрать, что это блестит — консервная банка или осколок стекла.

Я осторожно перешел на плот по перекинутому бревну, нагнулся и увидел обыкновенную пивную бутылку. Вьюнок несколько раз обвился вокруг ее горлышка. Я поднял бутылку и посмотрел на свет. Она была запечатана воском. Внутри ее что-то белело. Это было письмо, сложенное треугольником.

Я отбил горлышко и вытащил письмо, но прочесть его не смог: оно было написано очень бледным карандашом, а сумерки так быстро сгущались, что уже нельзя было разобрать неровные строчки. Мне надо было торопиться, чтобы до полной темноты добраться до железной дороги. Из зарослей тянуло холодным запахом листьев. На полянах еще стоял неясный свет. Высоко в небе догорало багровым пламенем облако.

Поезд на Москву пришел ночью. После пустынных лесов, холодного воздуха и одиночества прокуренные шумные вагоны показались необыкновенно уютными. Я лег на верхнюю полку около фонаря, достал письмо и прочел его. Письмо было старое. Судя по дате, написанной почему-то особенно крупным почерком, оно пролежало в бутылке около двух лет.

«Здравствуй, папаня. Это тебе письмо от сына Алексея Кудышкина. Пока ты бьешься на фронте, мы живем ничего, дожидаемся твоего возвращения. Маманя работает пастухом, а я ей помогаю. Но охота мне быть конюхом. Потому что за коровами только смотри и смотри, а никаких наблюдений нету. На коне можно съездить куда хошь по делам, а у коров одна протоптана дорожка на Горелый луг да в Митину рощу. Там много не насмотришься. А мне охота все обсмотреть и все знать. Я бы к тебе в Сталинград доплыл от нас на плоту, да маманя не пустит. И, говорят, без пропуска на фронт тоже нельзя. Ты бы меня взял к себе патроны подносить или чего другое делать по военной части. Я бы управился. А ты бы нет-нет да и рассказал про разные разности, — ежели в бою будет передышка. Письмо это я посылаю в бутылке, как путешественник, потому что по почте мне посылать неинтересно. Наша река течет в Волгу, а по Волге бутылка наверняка доплывет. Какой-нибудь боец ее найдет, прочтет адрес и тебе доставит, ежели не потопит бутылку миной или пароход не ударит по ней колесом. Ребята говорят, что Сталинград тянется на сорок восемь километров и на каждом шагу — бой! А еще я посылаю в бутылке потому, чтобы маманя не прочла, она, бывает, плачет по тебе и больно не любит, когда я или

бабка ее слезы увидим. Так и знай. Ждем тебя целого и невредимого и вспоминаем каждый день. И потому остаюсь при сем любящий тебя сын Алексей.

Петька, мельников сын, — уже летчик. Говорят, пролетел над нашим селом, махал крыльями, только я не видел. В омуте у дубового пня такая сила язей, прямо страсть — бьют и день и ночь. А у деда Потапа, у охотника, лисица-дура унесла ночью из клети утиное чучело, — ошиблась. Дед ругался два дня. Отпиши мне ответ».

В Москве я был в большом затруднении — как быть с этим письмом? Адрес Алешиного отца с тех пор, конечно, изменился. Пришлось прибегнуть к некоторому обману, чтобы не огорчить Алешу, и переслать письмо ему в деревню с припиской, что бутылка с этим письмом была замечена в Каспийском море, подобрана на борт командой парохода «Красноводск» и пересылается по обратному адресу, так как военные действия под Сталинградом давно закончились победой и адресат выбыл для дальнейших побед в западном направлении.

1944

ФЕНИНО СЧАСТЬЕ

Поезд отошел из Москвы ночью. В вагоне было тесно. Мы вышли отдышаться на темную площадку. Ущербный месяц летел, не отставая от поезда, над вершинами березового леса. Как всегда в сентябре, в дверь дуло горьким холодком — запахом речной воды и мокрых листьев.

На коротких остановках месяц останавливался вместе с поездом, и свет его, казалось, делался ярче, —должно быть, от наступавшей тишины. Только тяжело дышал паровоз да из вагона долетал детский плач — дети всегда плачут в ночных поездах.

На площадку вышла женщина в платке, с кошелкой. В спину ей сердитый женский голос сказал:

— Тут и так не продерешься, а она жестикулирует своей кошелкой! Размахалась, барыня!

— Оставьте вы меня со своим красноречием! — ответила молодым голосом женщина в платке и закрыла за собой дверь.

Мы ехали впервые в эти места. Поезд приходил на станцию поздно ночью, и никто из нас не знал дорогу. Я спросил женщину:

— Вы не знаете, как дойти до Бобылина?

— Заблудитесь, — ответила женщина. — Дорога лесная, обманчивая. Я сама иду до Суглинок, вас до-

веду. Одной мне тоже боязно идти ночью. А от Суглинок до Бобылина — всего три километра.

На станции было безлюдно. Горел среди ночи одинокий фонарь. В сенях темного дома, у переезда, захлопал крыльями и пропел петух.

Мы пошли по лесной дороге. Месяц опускался за лесом. Колеи, налитые недавним дождем, блестели в тени. Потом лес раздвинулся, и мы вышли в пойму реки Дубны. Вся она — с кромкой своих рощ и лесов, с дымными громадами седых ветел по берегам, с туманом, стлавшимся над излучинами, с крутоярами и игрою звезд над чащами — представлялась нам загадочной и давно желанной страной. Сами мы казались себе странниками, пробирающимися на какие-то Далекие воды, где цветут, не отцветая, плакучие травы, и что ни день — то синева небес, солнце, паутина, летящая по ветру над пажитями...

— Вот, — сказал мой спутник, — люди мечтают о длинном лете. А я мечтаю о длинной осени — такой вот теплой, туманной.

Женщина засмеялась.

— Хорошо вы говорите, — сказала она. — Не только у вас, городских, а и у нас, деревенских, бывает такое желание. Иной раз народится такой день, что радости не оберешься. Каждый колос валяется на стерне, как литой. Подымешь его, а он теплый от солнца. И глядишь, какой-нибудь жучок запоздалый на нем сидит, греется, шевелит усами. В избе сухо, светло от сада, — сад дает от себя желтое излучение. Села бы у окошка и никуда бы не уходила. Глядела бы на калину в саду, думала бы... Осенью мельница наша водяная начинает работать, зерно перемалывать. Я на мельнице служу, мельнику помогаю. Мельница, верно, старая, но зря про нее говорят, что на ней только одному черту махорку молоть.

— А о чем бы вы думали у окошка? — спросил мой спутник.

Женщина долго молчала, потом ответила певучим голосом:

— О счастье людском. Это — наше назначение.

— Чье назначение?

— Женское.

— Неужто только женское?

— Нет, верно, всеобщее, — согласилась, подумав, женщина. — Только женщина более всего к этому предназначена.

— А вам случалось давать людям счастье? — спросил мой спутник.

Женщина снова засмеялась:

— Ох, это трудно! Сама не знаю. Может, и случалось. Для этого знаний у меня мало. Я ведь неученая. Была работницей на фарфоровой фабрике, бывшей Гарднера, а теперь мукомолю. Вот, слышите? — добавила она, явно желая переменить разговор. — Вода шумит на плотине. Около мельницы.

Мы остановились, прислушались. За темной стеной ракит, где небо уже зеленело от зари, монотонно падала вода. Этот шум — единственный звук в безмолвии ночи — утверждал непрерывное движение природы. Должно быть, каждый из нас подумал о лесных ручьях, бегущих под буреломом и сгнившей листвой, о том, как мерцают звезды в заводях Дубны, о белой пене, что плывет по черной запруде и кружится над ямами, где спят на дне рыбы. Поэтому мы оба — и я и мой спутник — позабыли спросить женщину, почему для того, чтобы приносить людям счастье, нужно много знаний. Это было нам непонятно.

Заря разгоралась, вся в туманах. Высоко вспыхнуло облако. Все пространство воздуха между этим облаком и краем земли наполнилось бледным и широким сиянием. Это солнечный свет охватывал и прогревал океаны сентябрьского воздуха над еще спящей и сумрачной страной. Но через полчаса земля начала одеваться в багрянец, в ржавчину сжатых полей, в сырую и яркую зелень озимой, в пурпур осиновых листьев и желтизну трепещущих без ветра берез.

— Вот и Суглинки! — сказала женщина.

Дорога шла вниз к реке, между вековых осокорей.

— Зайдите в избу, выпейте молока на дорогу, — попросила женщина. — У меня своей избы нету. Я живу у подруги — у Варвары. Мы с ней всю жизнь вместе.

Мы вошли в Суглинки — чистую и пустынную деревню, вымощенную торцами. Фуксии цвели за окнами. Далеко на току гудел барабан молотилки. Черная река огибала деревню дугой.

У порога избы на нас залаял белый пес с отрубленным хвостом. «Тузик!» — предостерегающе крикнул из избы мужской голос, и пес полез под крыльцо, где лежала примятая солома.

В избе за перегородкой кто-то возился, должно быть одевался. С потолка на длинной нитке свешивался шар из бумаги. Рыжий котенок с водянистыми глазами играл этим шаром, как футбольным мячом. Около печки шумел самовар.

— Ты, Феня? — спросил из-за перегородки молодой мужской голос. — А мать пошла на реку белье полоскать. Мы уж заждались. Думали, совсем тебя засосала Москва.

— Это Миша, Варварин сын, — шепотом сказала Феня. — Капитан артиллерии. Герой Советского Союза. Он ранен был тяжело, теперь поправляется.

Феня улыбнулась. Глаза у нее были серые, но когда она улыбалась, они темнели, поблескивали синевой.

Феня сняла платок, поправила русые волосы и ушла в погреб за молоком. Из-за перегородки вышел высокий человек в темных очках, в военном кителе. Он приветливо улыбнулся и назвал себя: «Капитан Рябинин». Золотая звезда блестела на кителе, маленькая звезда и две нашивки за тяжелые ранения. Этот золотой блеск здесь, в чистой и небольшой избе, был как-то очень кстати — он вязался со спокойным осенним утром, с ясностью неба, со стоявшей окрест тишиной.

Когда мы выпили молоко и начали прощаться, капитан вызвался нас проводить до поворота на Бобылино.

— Только не взыщите, — сказал он, — я быстро ходить не могу. Не из-за ноги, а из-за глаз. Я недавно, собственно говоря, прозрел. Очень сложное было ранение глаз, и очень хитрая была операция. Полгода лежал в темноте, как в погребе. А теперь все вижу, но пока еще несколько туманно, конечно. Пойдемте!

По дороге капитан рассказал нам историю своей слепоты.

— Вот вы — пишущие люди, — сказал капитан, — но то, что я вам расскажу, описать, очевидно, никак невозможно. Не потому, конечно, что эта тема для вас непосильная, а потому, что я это вам толком объяснить не смогу. Для этого нужно, должно быть, особое дарование. А я им не обладаю.

— Какая-нибудь сложная глазная операция? — спросил мой спутник.

— Нет. Это — своим порядком. Это как раз объяснить сравнительно легко. А тут все дело в Фене... Замечательная женщина наша Феня. Не на своем она, конечно, пути. Не тем делом занята.

— А что же ей следовало бы делать? — спросил я.

— Не знаю, — замялся капитан. — Не могу определить ее природное назначение. Что-то вроде вашего писательского дела. Во всяком случае, ее способности находятся где-то очень близко от него, можно сказать, совсем рядом.

— Любопытно! — заметил мой спутник.

— Еще бы! — согласился капитан. — Суть в том, что, когда я лежал в госпитале под Москвой, тетя Феня, конечно, ко мне приехала. Она у нас всеобщая сердобольница. А на вид — строгая женщина, никогда своей жалости не обнаруживает. Одинокая — живет не для себя, для других. Я тогда, сами представляете, был в трудном состоянии. Весь мир для меня пропал, и, как нарочно, мучили меня зрительные воспоминания. «Неужели, думал, никогда я не увижу ни солнца, ни воды, ни туч на небе, ни лиц любимых, человеческих?» Бывало, закричит кукушка за окном, а я сожму кулаки и ругаюсь, — кукушке завидовал. Сидит она на ветке, видит каждую песчинку на земле, а я, как крот, земля для меня — подземелье. И вот приехала Феня. Был я тогда неспокойный, капризный и все приставал: «Расскажи, Феня, что делается кругом на земле. Скучно мне очень». А она все боялась, как бы доктора не забранили ее, да и мне как бы от ее рассказов не сделалось тяжелее. Но все-таки я ее умолил. И начала она мне рассказывать. Обо всем. Глядит за окно и рас-

сказывает все, что видит. «Вот, мол, за окнами озеро, и над ним от солнца стелется теплый туман. И в тумане этом идет белый буксирный пароход, светится издали медью и стеклами, тащит за собой баржи с березовыми дровами. По дровам бегает черная косматая собачонка, лает на чаек. На барже — избушка. На окнах в той избушке вазоны с геранью. И герань пышно цветет. Босая девушка в красном платье качает насосом воду из трюма. Вода льется за борт, а уклейки играют около падающей воды, ловят червяков, что недавно только мирно жили в трюме, питались березовой трухой. Девушка качает воду, поет: «И кто его знает — на что намекает, на что намекает, на что намекает». Проплыла эта избушка на барже по великой Руси до самой Москвы». — «А еще что видишь?» — спрашиваю я Феню. «Я вижу, говорит, как от озера по потолку твоей комнаты бегут зайчики. Все догоняют друг друга и догнать не поспевают. Потолок сосновый, хорошо струганный, и то тут, то там вытекает из него смола. Мальчишкой ты эту смолу, должно быть, жевал?» — «Нет, говорю, я вишневую смолу жевал». — «Вишневая слаще, — говорит Феня. — Я завтра тебе принесу вишневой смолы». Так вот она мне рассказывала целые дни. И я всему верил. Очень успокаивался. И даже был счастлив. Жаль, что не было рядом никого, кто бы мог записать ее рассказы. Получилась бы книга. Только вот не знаю, как эту книгу следовало бы назвать.

— «Фенины сказки», — сказал мой спутник.

— Нет, это не сказки, — уверенно возразил капитан. — Сильнее надо назвать. И правдивее.

— Ну, тогда «Фенино счастье».

— Тоже неверно. Не Фенино, а мое счастье, — снова возразил капитан. — Хотя, пожалуй, и Фенино, — добавил он. — Она была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения.

Я вспомнил слова Фени о том, что она неученая и потому ей трудно доставлять людям счастье, рассказал об этом капитану и спросил:

— Как вы понимаете эти Фенины слова?

— Да тут, по-моему, и понимать нечего, — ответил капитан. — Все ясно.

— А вот нам не ясно.

— Видите ли, — сказал капитан, — каждый понимает счастье по-своему. У каждого оно свое. Но есть вещи, которые одинаково у всех людей вызывают подъем и чувство счастья.

— Какие?

— Ну хотя бы музыка. Или великолепные здания. Или картины. Я перед Нестеровым в Третьяковской галерее могу стоять часами. Вот об этом счастье Феня и говорила. Для того чтобы давать его людям, мало таланта. Нужны еще большие познания.

— А по-моему, — сказал мой спутник, — хватит иной раз и одного таланта. И Феня это доказала в случае с вами.

— Да, пожалуй, — ответил неуверенно капитан и вдруг улыбнулся. — Да, пожалуй, — повторил он уже увереннее. — Одно только жаль, что все Фенины рассказы дальше Суглинок не идут, никто их не знает.

Капитан остановился, показал на серую крышу в лощине среди гущи ив.

— Видите, — сказал он, — крыша, а около нее, кажется, краснеет бузина. Это и есть бобылинская мельница. Я, может быть, к вечеру тоже туда приду, посижу с вами на реке. Там места удивительные!

Мы простились с капитаном и начали спускаться к реке среди зарослей бузины. Внизу уже светилась вода, шумела около мельницы, и из деревни тянуло дымком соломы — осенним русским дымком.

1944

МОЛИТВА МАДАМ БОВЭ

Все называли ее «мадам», даже водовоз Федор. По утрам он привозил на подмосковную дачу, где жила мадам, воду в большой зеленой бочке.

Мадам выходила из дому, чтобы помочь Федору перелить воду из бочки в кадушку, и выносила кусок хлеба старой водовозной кляче. Сонная кляча тотчас просыпалась, осторожно брала хлеб из руки у мадам теплыми губами, долго его жевала и кивала мадам головой.

— О-о! — смеялась мадам. — Она меня благодарит, эта старая лошадь.

Мадам не знала, что ее, Жанну Бовэ, кое-кто из соседей тоже называл «старой клячей».

Мадам была стара, но ходила и говорила так быстро и у нее были такие румяные щеки, что это обманывало окружающих, и ей давали меньше лет, чем было на самом деле.

Уже давно мадам жила в России, в чужих семьях, учила детей французскому языку, читала им нараспев басни Лафонтена, водила гулять и прививала хорошие манеры. В конце концов мадам почти забыла Нормандию, где когда-то росла голенастой девчонкой.

Когда немцы обошли с севера линию Мажино и вторглись во Францию, когда французская армия, пре-

данная генералами, сдалась и пал Париж, — мадам не сказала ни слова. В это утро она только не вышла к чаю.

Дети — две девочки — вполголоса рассказывали родителям, что видели, как мадам стояла на коленях в своей комнате перед окном, выходившим в лес, и плакала.

В лесу кричали кукушки. Лес был густой. В его глубине на крик кукушек отзывалось эхо.

— Теперь она никогда не перестанет плакать, — сказала отцу старшая девочка с двумя выгоревшими от солнца косами.

— Почему?

— Потому что у нее нет больше Франции, — ответила девочка и начала теребить косу.

— Не расплетай косу, — ответил отец. — Франция будет.

Мадам спустилась из своей комнаты только к обеду. Она сидела за столом строгая, сухая. Губы ее были стиснуты, и румянец исчез с ее маленьких щек.

Никто не заговорил о Франции. Мадам тоже молчала.

На следующее лето Германия напала на Советский Союз. Немцы налетали на Москву. Тяжелые бомбы падали невдалеке от дачи.

В это трудное время мадам поражала всех своей суетливостью. С раннего утра до ночи она хлопотала, ездила в Москву за продуктами, стирала, штопала, готовила скудную пищу, шила ватники для солдат. И все время, возясь, работая, она напевала про себя французскую песенку: «Quand les lilas refleuriront».

— «Когда опять зацветет сирень», — перевела слова этой песенки старшая девочка. — Почему вы все время поете эту песенку, мадам?

— О! — ответила мадам. — Это старая песенка. Когда надо было терпеть и ждать чего-нибудь очень долго, моя бедная мать говорила мне: «Ничего, Жанна, не горюй, это случится, когда опять зацветет сирень».

— А сейчас вы чего-нибудь ждете? — спросила девочка.

— Не спрашивай меня об этом, — ответила мадам и посмотрела на девочку строгими серыми глазами. — Ты поняла меня?

Девочка кивнула головой и убежала. С тех пор она, так же как и мадам, начала напевать о расцветающей сирени. Эта песенка ей нравилась.

Все чаще девочке мерещилась пышная весна, тихие утренние сады и заросли сирени над прудом. Quand les lilas... quand les lilas refleuriront... refleuriront...

Конец весны в 1944 году был теплый и свежий от частых и коротких дождей. В начале июня в саду около дачи зацвела сирень.

Ее холодные гроздья всегда были покрыты росой, и когда кто-нибудь нюхал сирень, все лицо у него делалось мокрым. В лесу перекликались птицы. Всех веселила какая-то неизвестная птица, прозванная «часовщиком». «Трр-трр-трр!» — кричала она, и этот металлический крик был похож на звук, который бывает, когда заводят ключом стенные часы.

Но лучше всего были сумерки, когда над сырыми березовыми рощами подымалась туманная луна. На вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей. В сизом воздухе стояли над лесом облака и тлели слабым светом. А потом над огромной притихшей землей воцарялась ночь, до самых краев налитая прохладным воздухом и запахом воды.

Мадам укладывала детей спать, выходила в сад, садилась отдохнуть на скамейку около сирени и прислушивалась. Долетал отдаленный шум дачных поездов, голоса людей, идущих по шоссе. Ничто вокруг не напоминало о войне, но война шла — тяжкая, суровая, — и, может быть, потому в то лето люди с особенной силой ощущали прелесть лесов, птичьего крика, неба, покрытого звездами.

Мадам впервые пошла этой весной в церковь, в соседнюю деревню. Был троицын день. Церковь была убрана березками. Каменный пол посыпали травой. Она была примята ногами и пахла печально и сладко — осенью, увяданьем.

Дряхлый священник служил с трудом, очень медленно, и потому мадам многое поняла. Она вздохнула, когда священник читал молитву «о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временах мирных». Когда придут эти времена для ее далекой-далекой, почти забытой страны!

Вечером в этот день мадам вышла в сад позже, чем всегда. Хозяйка дома уехала в Москву, и мадам пришлось работать больше обычного.

В саду было очень тихо. Луна бросала прозрачные тени.

Мадам сидела задумавшись, сложив на коленях руки. Потом она оглянулась, встала — кто-то бежал мимо дачи. Мадам подошла к калитке и увидела соседского мальчика Ваню.

— Иван! — окликнула мадам.

— Я из Москвы! — крикнул мальчик, пробегая мимо. — Вторжение началось! Сегодня утром. В Нормандию! Наконец-то!

— Как, как! — спросила мадам, но мальчик, не отвечая, побежал дальше.

Мадам сжала руки, быстро пошла к себе в комнату. В столовой сидел хозяин дома и, как всегда, читал книгу за стаканом остывшего чая.

Мадам на мгновение остановилась и сказала очень быстро, задыхаясь:

— Они высадились... у нас... в Нормандии. Я говорила... Quand les lilas refleuriront...

Хозяин швырнул книгу на стол, вскочил, дико посмотрел вслед мадам, взъерошил волосы, прошептал: «Вот здорово!» — и пошел на соседнюю дачу узнавать новости.

Вернулся он через час и остановился на пороге столовой. Комната была ярко освещена. Горели все лампы. На рояле пылали, дымя, восковые свечи. Круглый стол был накрыт тяжелой белоснежной скатертью. На ней черным стеклом блестели две бутылки шампанского.

И всюду — на столах, окнах, на рояле, на полу — громоздились в вазах, кувшинах, в тазах, даже в деревянном дубовом ведре груды сирени.

Мадам расставляла на столе бокалы. Пораженный хозяин смотрел на нее и молчал. Он не сразу узнал ее — свою старую мадам, всегда озабоченную, суетливую, с покрасневшими от работы руками — в этой тоненькой седой женщине в сером шелковом платье. Такие изящные, но старомодные платья хозяин видел только в детстве на балах и на семейных праздниках. Жемчужное ожерелье светилось на шелку, и черный веер с треском закрылся в руке мадам и повис на золотой цепочке, когда она, увидев хозяина, улыбнулась и вкрадчиво сказала:

— Простите, месье, но я думаю, что по этому случаю можно разбудить на одну минуту девочек.

— Да... конечно! — пробормотал хозяин дома, еще ничего не понимая.

Мадам вышла, но запах тонких, должно быть, парижских духов остался в комнате.

«Что же это? — подумал хозяин. — Блеск глаз, улыбка, свободный жест, которым мадам захлопнула веер! Откуда все это? Боже мой, как она, должно быть, была хороша в молодости! И это платье! Единственное платье, которое она надевала на единственный бал где-нибудь в Кане или Гранвиле. Никто в доме до сих пор не знал, что у мадам есть такое платье, и ожерелье, и веер, и эти духи. И где она прятала бутылки с шампанским?»

Сверху спустились девочки, удивленные и взволнованные. Мадам быстро сошла за ними, села к роялю, поправила волосы и заиграла.

Да, хозяин угадал! Как всегда, у него начало холодеть под сердцем от этой звенящей томительной музыки:

Подымайтесь за родину!
День славы настал!

Хозяин слушал, откупоривая бутылку с шампанским. Девочки стояли среди столовой, прижавшись друг к другу, и смотрели на мадам сияющими глазами.

«К оружью, граждане!» — гремела Марсельеза, заполняя дом, сад, казалось, весь лес, всю ночь.

Мадам плакала, закинув голову, закрыв глаза, не переставая играть.

Мерным громом пел рояль. Они идут! Они идут, дети Франции, сыновья и дочери прекрасной страны! Они подымаются из могил, великие французы, чтобы увидеть свободу, счастье и славу своей поруганной родины.

«К оружию, граждане!» Ветер Нормандии, Бургундии, Шампани и Лангедока сдувает слезы с их щек — слезы благодарности тем тысячам английских, русских и американских солдат, что смертью своею уничтожили смерть и вернули жизнь, отечество и честь благородному измученному народу.

Мадам перестала играть, обняла за плечи девочек и повела их к столу. Девочки прижимались к ней, гладили ее руки.

Хозяин дома сидел в кресле, прикрыв ладонью глаза, и так и выпил свой бокал шампанского, не отнимая ладони. Младшая девочка подумала, что у него, должно быть, от слишком яркого света болят глаза.

На рассвете старшая девочка проснулась, тихо встала, накинула платье и пошла в комнату к мадам.

Дверь была открыта. Мадам в сером шелковом платье стояла на коленях у открытого окна, прижавшись головой к подоконнику, положив на него руки, и что-то шептала.

Девочка прислушалась. Мадам шептала странные слова, — девочка не сразу догадалась, что это молитва.

— Святая дева Мария! — шептала мадам. — Святая дева Мария. Дай мне увидеть Францию, поцеловать порог родного дома и украсить цветами могилу моего милого Шарля. Святая дева Мария!

Девочка стояла неподвижно, слушала. За лесом подымалось солнце, и первые его лучи уже играли на золотой цепочке от веера, все еще висевшего на руке у мадам.

1945

БЕЛАЯ РАДУГА

О, где она, горящая звездами,
Холодная сияющая ночь!

С. Соловьев

Художника Петрова призвали в армию на второй год войны в большом среднеазиатском городе. В этот город Петров был эвакуирован из Москвы.

К югу от города угрюмой стеной стоял хребет Ала-Тау. Была ранняя зима. Снег уже засыпал вершины гор. В холодных домах по вечерам было тихо и темно, — только кое-где за окнами дрожали коптилки. Свет в городе выключали очень рано.

Ночью над облетевшими тополями подымалась луна, и тогда город казался зловещим от ее пронзительного света.

Петров жил в маленьком дощатом доме на берегу горного ручья, обегавшего по обочине город. Шум ручья никогда не менялся. По ночам Петров слушал его, лежа на полу на тонком тюфяке за хозяйским роялем. Переливалась через камни вода, и медленно, без конца жевал за стеной старый соседский верблюд.

Поезд отходил из города ночью. Около безлюдного вокзала шумели обледенелые вязы. Непрогляд-

ная азиатская ночь мела между вагонами сухим снегом.

Никто не провожал Петрова. Он не оставлял здесь ни друзей, ни воспоминаний — ничего, кроме ощущения своей остановившейся жизни. Петрову было немногим больше тридцати лет, но от бесприютности он чувствовал себя стариком.

Петров влез в вагон, втиснулся в угол, закурил. На площадке незнакомый боец прощался с молодой женщиной. Прислушавшись к словам женщины, Петров почувствовал непонятное облегчение от того, что она говорила бойцу «вы».

Это был голос низкий, чистый, открытый. Петров подумал, что на такой голос можно идти, как на далекий зов — через пустыни, непроглядные ночи, ледяные перевалы, — идти, сбивая в кровь ноги, а когда не хватит сил, то упасть и ползти. Лишь бы увидеть, схватиться за косяк двери, сказать: «Вот... я пришел... Не прогоняйте меня». Есть голоса, как обещание счастья.

Когда поезд тронулся, Петров взглянул за окно. На платформе в светлой полосе фонаря он увидел молодую женщину. Бледное лицо, улыбка, поднятая рука — и все. На окна тотчас надвинулась ночь.

«Если задержитесь в Москве, — сказала напоследок женщина бойцу, — то позвоните Маше». И назвала номер телефона. Петров долго повторял про себя этот номер, потом, не доверяя памяти, записал его на воинском билете.

В дороге Петров часто смотрел за окно. В густые снега, в сизую даль уплывали вереницы телеграфных столбов. Среднеазиатский город все отдалялся, к нему уже не было возврата. Он становился воспоминанием — неясным и неправдоподобным, затерянным среди течения жизни, как теряется один прожитый день среди трехсот шестидесяти дней длинного года.

Зима, весна и дождливое лето прошли в боях. Во время прорыва немецкой обороны под Витебском Петров был ранен в голову.

Три месяца он пролежал в лазарете. Из лазарета его решили послать в один из санаториев, чтобы он

окреп после тяжелой раны. Петров попросил отправить его в среднеазиатский город, откуда его взяли в армию. Около этого города был небольшой горный санаторий.

— Голубчик, — сказал старший врач, щетинистый, седой, в мятых погонах, — опомнитесь! У вас месяц времени. Одна дорога туда и обратно отымет десять дней.

— Бывает, что один день дороже года, — возразил Петров.

— Ну, если так... Если у вас есть особые причины туда стремиться, — пробормотал врач, — тогда я только развожу руками. И соглашаюсь.

Ехать надо было через Москву. Поезд приходил в Москву в полночь, а из Москвы в среднеазиатский город уходил рано утром. В Москве предстояла томительная ночь на вокзале.

Петров начал волноваться еще задолго до Москвы, в сумерки, когда поезд, обдавая паром березовые рощи, мчался по смоленской земле. А вечером понеслись за окнами темные дачи, полосы снега, заиндевелые сады, Кунцево. Потом возникло слабое зарево полузатемненной Москвы, и наконец проплыли за окнами и остановились гулкие пустые платформы ночного Белорусского вокзала.

Елена Петровна погасила свет, подошла к окну, отодвинула занавес. От батареи отопления тянуло теплом. Над крышами Москвы лежала мутная ночь.

— Ну вот, — сказала Елена Петровна и прижала пальцы к бровям, так она делала, когда задумывалась. — Вот опять Москва после Средней Азии. Знакомая работа, подруги — все, как было раньше. Чего же ты хочешь?

— Чего же ты хочешь? — повторила она и замолчала.

Слеза появилась в уголке глаза. Она не вытерла ее и пристально смотрела за окно. Свет фонаря на перекрестке сразу сделался колючим, как сусальная елочная звезда.

— Если бы знать, что это за таинственное счастье? В чем оно? Трудно быть все время одной, и видеть все — хотя бы эту ночь, — и думать обо всем, и никому не улыбаться, не положить руку на плечо, не сказать: «Посмотри, какой падает снег».

На столе осторожно зазвонил телефон. Елена Петровна взяла трубку. Мужской голос попросил позвать Машу.

— Маша уже здесь не живет, — ответила Елена Петровна. — А кто просит?

— Дело в том, — сказал, подумав, мужской голос, — что она меня не знает. Мне бесполезно называть свое имя.

— Странно! — насмешливо сказала Елена Петровна.

— Очень, — согласился мужской голос. — Я только что приехал с фронта...

— А что же ей все-таки передать? Вы не от ее брата? Он тоже на фронте.

— Нет, я не знаю ее брата, — ответил голос и замолк.

— Ну что же? Я жду, — сказала Елена Петровна. — Может быть, положить трубку?

— Нет, погодите! — сказал умоляюще голос. — Я в Москве от поезда до поезда. Звоню с Белорусского вокзала. Не знаю, дадут ли мне договорить. Тут очередь к автомату.

— Тогда говорите скорее.

Елена Петровна слушала, стоя у стола. Она нахмурилась, потом улыбнулась, протянула руку к окну, — на занавес с шумом полез, тараща глаза, серый котенок, — сказала: «Тише! Что с тобой!»

— Да нет, это я не вам говорю, — засмеялась она. — Это котенку. Я слушаю, хотя еще ничего не понимаю. Да, да. Правда, это странно. А может быть, и хорошо... Не знаю... Я все это помню: и вокзал, и ночь, и ветер. Только не помню вас. Неужели по голосу? Какой же вы, однако, чудак. Когда вы уезжаете? Я не знаю что и думать... Конечно, обидно. Тяжело ранены? В голову? Вы устанете там, на вокзале, до полу-

смерти. Нельзя вам ходить ночью по Москве. Нельзя! Вас задержат. Да, я слушаю! Говорите!

Разговор внезапно оборвался. Елена Петровна медленно положила трубку.

— Может быть, он позвонит опять, — сказала она, села в кресло около стола, нашла брошенную папиросу и жадно закурила.

Прошло четверть часа, потом полчаса, но никто не звонил. Часы пробили два.

— Нет! Это невозможно! — громко сказала Елена Петровна и вскочила. — Так я с ума сойду.

Она бросилась к шкафу, распахнула его. Котенок в испуге полез под диван. Елена Петровна порывисто достала черное платье, потом опрокинула духи. Котенок сидел под диваном, дрожал от охотничьего азарта и ловил растопыренной лапой то кружево, то легкий носовой платок, пролетавшие мимо. Эта игра ему нравилась, хотя он морщился и даже чихал от странного запаха этих вещей.

Когда Елена Петровна вышла из дому, часы пробили три. Москва спала в слабом свете фонарей и снега.

На Пушкинской площади Елену Петровну остановил патруль. Она показала патрульным свои документы, сказала, что ее муж, раненный на фронте, проезжает через Москву. Сейчас он на Белорусском вокзале, и она должна его увидеть. При слове «муж» Елена Петровна покраснела, но никто из бойцов этого не заметил.

Бойцы переминались, думали, потом старший сказал:

— Допустим, что это верно. Но Москва-то на военном положении, гражданка.

— У меня так мало осталось времени, — сказала с отчаянием Елена Петровна.

— То-то и оно! — пробормотал старший боец. — Было б у вас время, мы бы вас обязательно задержали. Это уж точно!

— А ну, Сидоров, — сказал он низенькому бойцу, — придержи машину.

Низенький боец остановил пустую легковую машину. Старший проверил документы у шофера, о чем-то поговорил с ним, обратился к Елене Петровне:

— Садитесь! Сидоров, доедешь с гражданкой до вокзала. Для проверки, — добавил он и улыбнулся. — И чтобы вас, между прочим, опять не задержали.

В зеленоватый вокзальный зал Елена Петровна вошла быстро, но тотчас задохнулась, — ей показалось, что у нее остановилось сердце. Если бы можно, она бы закрыла глаза, прислонилась к стене и так стояла, прислушиваясь, как далеко и тонко что-то звенит и звенит — может быть, огонь в вокзальной люстре, а может быть, кровь в ее висках.

На деревянных скамьях спали сидя утомленные люди. На дальней скамье сидел офицер, худой, с измученным лицом. На левом глазу у него была черная повязка.

Елена Петровна подошла к нему, сказала:

— Ну вот...

Офицер быстро встал.

— Ну вот... — повторила Елена Петровна и улыбнулась. — А вы совсем такой, как я думала.

Зал качнулся, поплыл вкось. Петров поддержал Елену Петровну, усадил на скамью, откуда растерявшийся боец стаскивал вещевой мешок, чтобы Елене Петровне было удобнее.

Елена Петровна посмотрела на встревоженное лицо Петрова, — милое, будто совсем знакомое лицо — и спросила вполголоса:

— Вы понимаете что-нибудь?

— Нет, — ответил Петров. — Да и нужно ли понимать?

— Пожалуй, правда, не нужно, — согласилась Елена Петровна и вздохнула. — Бедный, как я вас напугала. Руки совсем ледяные.

Она взяла холодные руки Петрова и начала отогревать их между своих ладоней.

— Это надолго... — сказала она как бы самой себе.

Петров молчал. В голосе Елены Петровны была и нежность и тревога, как тогда, в ту декабрьскую ночь

на вокзале, когда ветер из пустыни нес сухой снег. Петров молчал, но ему казалось, что он уже очень много, почти все сказал Елене Петровне.

Среднеазиатский город встретил Петрова белизной снегов и огромным солнцем в чистом по-весеннему небе. Густой снег лежал на вековых деревьях, на оградах, даже на телеграфных проводах. Широкие улицы сияли, как ущелья, прокопанные в снежных заносах, — зернистыми отвалами, сотнями белых искр. Это плавали в воздухе, не опускаясь на землю, плоские снеговые кристаллы.

Чистейшим синеватым льдом отсвечивали на город хребты Ала-Тау. Иногда в горах срывались лавины и над ними столбами подымалась белая пыль.

Ослики, семеня по улицам, потряхивали заиндевелыми ушами. Позванивала подо льдом в арыках вода и, как исполинские зимние розы, расцветали в палисадниках облепленные мохнатым снегом замерзшие цветы рудбекии.

Петров дышал и никак не мог надышаться. От зимнего воздуха даже болела голова.

С удивлением Петров думал, что этот город год назад казался ему угрюмым и зловещим. Но теперь упрямая память открывала в прошлом такие же светлые дни, такое же чистейшее небо, тот же запах мерзлой листвы, ту же тишину столетних садов. Раньше он не замечал этого. Почему? Может быть, потому, что был один и всегда один смотрел на все это. И не было рядом ни теплой руки, ни смеющихся глаз, ни низкого голоса.

Петров жил за городом, в санатории, среди высокогорной великолепной стужи, где, казалось, звезды на ночь замерзали и покрывались колким льдом.

Он жил в непрерывном и легком волнении. Волнение все нарастало, пока не превратилось в ощущение неправдоподобного и почти нестерпимого счастья, когда ему принесли телеграмму всего из трех слов: «Буду двадцатого встречайте».

После телеграммы все пошло как вихрь из снега, что не дает отдышаться, слепит, превращает мир в белую радугу.

Ночной вокзал, холод вздрогнувших милых губ, ее голос, ночная дорога в санаторий среди лесов из дикой яблони, шум водопадов, ливших тяжелую пену среди снега и бурелома. И голубые зарева звезд, медленно подымавшихся над горами своей вечной и ослепительной чредой. И воздух пустынь, гор, зимы, дувший им в лицо на обрыве, где они на минуту остановились, чтобы посмотреть на вершины, уходившие в неизмеримую ночь, сиявшие тусклым фирновым блеском. И слова Елены Петровны, сказанные тихо, почти с отчаянием:

— Это надолго, надолго... Может быть, навсегда.

1945

БАБУШКИН САД

С тех пор как отец Маши Никита ушел на войну, в старом саду около бабушкиного дома дорожки и грядки позарастали крепкими лопухами и укропом, а крапива встала такой густой стеной и так жглась, что Маша боялась к ней подойти.

Бабушка Серафима только вздыхала, — где уж ей, старой, справиться с такими непокорными травами, деревьями и кустами!

В непролазной траве весь день копошились и гудели шмели. Иногда они вырывались из травы, с размаху налетали на Машу, с треском ударяли в лицо и со звоном подымались вверх, выше скворечни, — радовались, что напугали Машу. Но радовались они напрасно — в вышине, где всегда летал пух от одуванчиков, шмелям приходил конец. Там их хватали на лету ловкие скворцы и тут же проглатывали. И ни один скворец даже не поперхнулся, хотя шмели были страшно мохнатые.

В бочке с дождевой водой у крыльца поселилась лягушка. Раньше из бочки брали воду поливать цветы, но теперь никто ее не брал, и вода была застоявшаяся — теплая и зеленая. Маша любила смотреть, как в этой воде шныряли какие-то водяные существа. Они были похожи на булавки с черными стеклянными

головками. Такие булавки были воткнуты над бабушкиной кроватью в ковер.

Лягушка вылезала из бочки только вечером и сидела, отдуваясь, около крыльца, посматривала на скворцов. Она их боялась.

Скворцы постоянно дрались с галками, а успокоившись, рассаживались на ветвях вековой липы и начинали изображать пулеметный бой. От этого не только у лягушки, привыкшей к водяной своей тишине, но даже у бабушки разбаливалась голова. Бабушка выходила на крыльцо, стыдила скворцов, махала на них полотенцем.

Тогда скворцы перебирались повыше и, помолчав, начинали показывать, как дровосеки с натугой пилят деревья, — это было еще хуже, чем пулеметный бой.

Лягушка боялась еще квакши — маленького древесного лягушонка с пухлыми лапками. Он сидел на ветке, таращил глаза и молчал. Кричал он редко, только перед дождем. Тогда все в саду замолкало, и было слышно, как далеко за лесом погромыхивает небо.

Рыжий пес Буйный залезал в будку, долго вертелся, уминал сено, вздыхал с огорчением — дождь был ему совершенно ненужен. Буйный был очень застенчивый пес. При виде посторонних он тотчас лез в отдушину под домом, и оттуда его нельзя было выманить никакими силами. На все уговоры он только вилял хвостом и все дальше отползал в темноту.

Потом к бабушкиному саду стали подходить немцы. Тогда пришел глухой старик Семен и выкопал в саду, за сиренью, большую яму.

Семен копал, ругался на немцев, говорил Маше: «Чем глядеть, как я себе плюю на руки, яму копаю, ты бы пошла помогла бабушке сундук уложить. Закопаем его, запрягу я завтра Чалого — и поедем в Пролысово». — «А потом?»— спрашивала Маша. «За Пролысово немец не пойдет, — отвечал Семен. — Там наши ребята стоят, дальше немцу пути не будет».

Семен окончил копать, пошел к колодцу, вытащил ведро воды, хотел напиться, но почему-то раздумал, позвал бабушку Серафиму, показал ей на ведро и сказал: «Гляди! Значит, и впрямь пора уходить».

Бабушка посмотрела на воду и покачала головой. Вода из колодца всегда была чистая, как стекло, а сейчас в ней плавали гнилушки, древесная труха и даже маленький гриб. Маша ничего не поняла. Бабушка Серафима объяснила ей, что ночью земля тряслась и в воду со стенок колодца нападало много всякого мусора. А раз земля тряслась — значит, где-то неподалеку шел бой.

Вечером Семен закопал сундук с бабушкиными вещами, шалями, старым будильником, фотографиями, серебряными ложками и с самой любимой Машиной игрушкой — двумя большими деревянными петухами на дощечке. Один петух был черный, другой — красный, и оба они могли со стуком клевать зерно.

Наутро Семен приехал на Чалом, распряг его во дворе, привязал к телеге, пошел в комнаты — попрощаться с домом.

Но попрощаться ему не пришлось.

Мимо дома густо пошли наши бойцы — все в касках, пыльные, загорелые, веселые. Семен вынес к калитке ведро воды. Маша принесла кружку.

Бойцы останавливались, вытирали потные лица, пили и рассказывали, что немецкий фронт этой ночью прорван и немцы отходят, бросают пушки и автоматы и что теперь — очень свободно — можно выкопать обратно сундук и жить спокойно: нашу землю мы нипочем немцам не отдадим!

Бабушка Серафима все плакала, смотрела вслед бойцам на их выгоревшие, пыльные спины, крестила их, как когда-то крестила Машиного отца Никиту. Семен опять сердился, говорил: «Неправильное у вас понимание, Серафима Петровна. И от горя и от радости вы одинаково плачете. Никуда это, по-моему, не годится».

Потом над домом, над лесами начали летать самолеты. На них блестело солнце, и звон был такой, что шмели в саду перевернулись на спины и прикинулись мертвыми со страха, — Маша знала эту их шмелиную хитрость.

Скворцы собрались на самой верхушке липы, возились там, сбивали липовый цвет, задрав головы,

смотрели на самолеты и перешептывались: «Да, да, наши! Да, да, наши!»

А на следующее утро во двор вошел боец с перевязанной рукой, сел на крылечке, снял каску и сказал:

— Разрешите передохнуть на солнышке раненому гвардейцу.

Бабушка позвала бойца в дом, к столу. Он прошел, осторожно гремя сапогами, по комнатам, и сразу же запахло хлебом, полынью и лекарством.

Боец все извинялся, что крошит на пол, — ему трудно было есть одной рукой.

Маша резала и подавала все, что надо, бойцу, а бабушка возилась с самоваром, достала темный мед в сотах, и боец, когда увидел мед, даже вздохнул всей грудью — ну, и благодатный же мед!

Буйный стоял за порогом, смущенно смотрел то на бойца, то на крошки на полу, но не решался подобрать эти крошки, думал, должно быть, что это будет невежливо по отношению к бойцу.

После еды боец поблагодарил, снова вышел на крылечко, сел, закурил махорку. Синий дым поплыл над садом. Десятки паучков, что висели вниз головой на липе на своих паутинках, глотнув махорочного дыма, испуганно побежали вверх, сматывая паутину. Скворцы замолкли, смотрели на бойца то слева, то справа, потом начали смеяться, щелкать, пустили пулеметную очередь.

Боец заглянул в бочку, увидел шустрых булавочных зверей и лягушку, усмехнулся и сказал:

— Ишь животные — шмыг да шмыг! А бочка у вас хорошая. Я сам и бондарь и ложечник из-под города Горького, с реки Неи.

— А что такое ложечник? — спросила Маша.

Тогда боец вынул из-за сапога деревянную ложку, показал Маше. От ложки пахло щами.

— Вот такие я ложки делаю, — сказал боец. — Режу из липы. А вот раскрашивать не могу. Раскрашивает их моя сестренка-трещотка, по имени Даша.

Бабушка жаловалась бойцу, что вот сад весь зарос, но боец этим не огорчился, а, наоборот, успокоил бабушку, сказал:

— Сад у вас даже очень приятный. Покуда ваш сын вернется с фронта, он, сад этот, пущай отдохнет. Земля и дерево тоже отдыхом нуждаются, скоплением сил.

На солнце было сонно, тепло. Из ступеньки на крылечке выступила липучая смола. Боец начал покачиваться, дремать. Бабушка хотела уложить его в комнате, на диване, но боец ни за что не согласился и попросил положить его, если возможно, на чердаке.

— Люблю спать на чердаках, — сказал он. — Иззябнешься, умаешься, а там сухо, от солнышка под крышей все нагрето, — в слуховое окошко ветер залетает. Благодать!

Маша провела бойца на чердак. Там было свалено сухое сено. Боец постелил на него шинель, лег. Тотчас из-за печной трубы вылетели тонкие осы и начали кружиться над бойцом. Маша испугалась.

— Они вам спать не дадут, — сказала она. — Ужалят.

— Меня оса не тронет, — ответил боец, — потому что по случаю ранения от меня лекарственный запах. А чтобы скорее уснуть, у меня есть свой способ.

— Какой? — спросила Маша.

— Листья буду считать, — ответил боец. — Вон на той липе за слуховым окном. Насчитаю до ста и усну.

Маша попрощалась с бойцом и начала осторожно спускаться по скрипучей лестнице с чердака. В разбитое слуховое окно сладко тянуло отцветающей липой.

Когда Маша остановилась внизу у лестницы, на чердаке уже слышался тихий храп, и осы успокоились, улетели за свою печную трубу.

Маша вышла в сад, посмотрела на липу и засмеялась — разве можно сосчитать все ее листья! Ведь их тысячи тысяч, их так много, что даже солнце не может пробиться через их гущину. Смешной этот боец!

1945

БАКЕНЩИК

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошло трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

— Вы откуда? — спросил я их.

— Из Ласковского леса, — ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

— Он только ворчливый, — сказал самый маленький мальчик.— Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

— Знаю. Давно.

— Он хороший?

— Очень хороший.

— Только вот все ему мало, — печально подтвер-

дил худой мальчик в кепке. — Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

— Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали.

— Ну, вот видите, — сказал маленький мальчик, залезая в лодку. — Я же вам говорил!

Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор.

— Ты только не думай, — сказал он мне, — они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил — страсть! Как дерево пилить — тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь небось знаете?

— Знаем, дедушка, — сказал мальчик в кепке. — Спасибо.

— Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, дроволы, работнички!

— Теперь умеем, — сказал самый маленький мальчик.

— Ну, то-то! Только это наука не хитрая. Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать надобно.

— А что? — встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.

— А то, что теперь война. Об этом знать надо.

— Мы и знаем.

— Ничего вы не знаете. Газетку мне намедни вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете.

— Что же в ней такого написано, Семен? — спросил я.

— Сейчас расскажу. Курить есть?

Мы скрутили по махорочной цигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга:

— А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?

— Правильно.

— А что это есть — любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают.

Мальчики обиделись:

— Как не знаем!

— А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди, ты не выскакивай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: «Иду я за родную землю». Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?

— За свободную жизнь иду, — сказал маленький мальчик.

— Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.

— За свои города и заводы, — сказал веснушчатый мальчик.

— Мало!

— За свою школу, — сказал мальчик в кепке. — И за своих людей.

— Мало!

— И за свой народ, — сказал маленький мальчик. — Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.

— Все вы правильно говорите, — сказал Семен, — только мало мне этого.

Мальчики переглянулись и насупились.

— Обиделись! — сказал Семен. — Эх вы, рассудители! А, скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?

Мальчики молчали.

— Вот я и вижу, что вы не все понимаете, — заговорил Семен. — И должен я, старый, вам объяснить. А у меня и своих дел хватает: бакены проверять, на столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому — эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пестун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так получается, что все это правильно — и свобода, и города, и, скажем, богатые за-

воды, и школы, и люди. Так не за одно это мы родную землю любим. Ведь не за одно?

— А за что же еще? — спросил веснушчатый мальчик.

— А ты слушай. Вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на озеро Тишь, а оттуда лугами на Остров и сюда ко мне, к перевозу. Ведь шел?

— Шел.

— Ну, вот. А под ноги себе глядел?

— Глядел.

— А видеть-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть цветок или траву — и иди дальше.

— Зачем?

— А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты его нарви, понюхай — он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница? Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена. Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь и зазвонят. То-то! Это растение приточное. Оно болезнь исцеляет.

— Что значит приточное? — спросил мальчик в кепке.

— Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь — ломота в костях. От сырости. От купены боль тишает, спишь лучше и работа становится легче. Или аир. Я им полы в сторожке посыпаю. Ты ко мне зайди — воздух у меня крымский. Да! Вот иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек, а я слышу — дождиком от него тянет. Грибным дождем — спорым, не очень шумливым. Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет, он все наше богатство растит. Я часто, ближе к вечеру, сижу у сторожки, корзины плету, потом оглянусь и про всякие корзины позабуду — ведь это что такое! Облак в небе стоит из жаркого золота, солнце уже нас покинуло, а там,

над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет — и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят соловьи будто громом — по лозе, по кустам! И звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит — загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то, ребята! Вот на это все поглядишь и подумаешь: жизни нам отведено мало, нам надо двести лет жить — и то не хватит. Наша страна — прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Все шумите: «родина», «родина», а вот она, родина, за стогами!

Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля.

— Эх, — сказал Семен, — идут на войну люди, а нас, старых, забыли! Зря забыли, это ты мне поверь. Старик — солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, — вот тут бы немцы тоже почесались. «Э-э-э, — сказали бы немцы, — с такими стариками нам биться не путь! Не дело! С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь!»

Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль воды.

— Так-то, ребята, — сказал Семен. — Опять небось будете на деда жаловаться — все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед.

Мальчики засмеялись.

— Нет, понятный, совсем понятный, — сказал маленький мальчик. — Спасибо тебе, дед.

— Это за перевоз или за что другое? — спросил Семен и прищурился.

— За другое. И за перевоз.

— Ну, то-то!

Мальчики побежали к песчаной косе — купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул.

— Учить их стараюсь, — сказал он. — Уважению учить к родной земле. Без этого человек — не человек, а труха!

1943

ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

В Нáволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, — горел только один фонарь.

«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»

Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, — царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем, — согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний...

Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин.— Не оглядывайся.

— Дорога действительно... — пробормотал извозчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. — Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»

Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф, — ответил Кузьмин.— А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.

— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — все! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань...

— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел. О том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет.

Пролетка въехала, наконец, в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела

за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.

Пролетка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.

— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.

— Не ждете, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.

— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте, — сказала женщина.

Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь

к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так все старомодно, давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока «Дорога дальняя легка». И черная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. — Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин. — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только

передать вам письмо и рассказать кое-что... о вашем муже.

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?.

— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?

— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старые чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она, наконец, спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего

долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.

— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.

— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин, сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему? — спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой? — спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.

— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так... — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.

Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всем, — ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов. — О чем

хотите, — добавила она. — Хотя все это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно? — спросил Кузьмин.

— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор, — разве это не странно?

Кузьмин смущенно молчал.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну, что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по темной улице.

— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.

— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких

лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему

показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно...» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

1945

НОЧЬ В ОКТЯБРЕ

По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне все помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду, а в перерывах между этими звуками — та полная тишина, когда кажется, что земля остановилась и беззвучно висит в мировом пространстве.

Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал работать в деревню, за Рязань. Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом. В усадьбе жила старушка Василиса Ионовна — бывшая рязанская библиотекарша. В эту усадьбу я приезжал работать и раньше. И каждый раз, приезжая, я замечал, как разрастается сад и как старятся дом и его хозяйка.

Из Москвы я выехал последним пароходом. Рыжие берега тянулись за окнами каюты. На берега непрерывно набегали серые волны от пароходных колес. Всю ночь в салоне горела красным накалом дежурная лампочка. Мне все казалось, что на пароходе я совершенно один, — пассажиры почти не выходили из теплых кают. Только хромой капитан сапер с обветренным лицом бродил по палубе и смотрел, улы-

баясь, на берега. Они были готовы к зиме: листва давно осыпалась, трава полегла, ботва почернела, а над избами прибрежных деревень курился белый дымок — всюду уже топили печи. И река была готова к зиме. Почти все пристани убраны в затоны, бакены сняты, и ночью пароход мог идти только потому, что над землей лежала серая лунная мгла.

На пароходе я разговорился с капитаном сапером, и мы оба обрадовались. Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит в Новоселках и что ему, так же как и мне, придется переправляться на лодке на другой берег Оки и идти через луга до той же деревни Заборье, что и мне. В Новоселки пароход должен был прийти вечером.

— Я-то иду не в Заборье, — сказал капитан, — а подальше, в лесничество, но до Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта и всего навидался, а одному все же скучно идти ночью через тамошнюю глухомань. До войны я лесничествовал, а теперь демобилизовался, возвращаюсь на старое место. Чудесное дело — леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каждую ночь видел во сне.

Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет.

Когда глухим вечером пароход подвалил к Новоселкам, на пристани никого не было, кроме сторожа с фонарем. Сошло нас двое — Зуев и я. Едва мы соскочили на сырой настил со своими рюкзаками, как пароход отошел, обдав нас мятым паром. Сторож с фонарем тотчас ушел, и мы остались одни.

— Давайте не будем торопиться, — сказал Зуев. — Посидим на бревнах, покурим, сообразим, что делать дальше.

По голосу его, по тому, как он вдыхал запах речной воды, оглядывался по сторонам и засмеялся, когда пароход дал за поворотом короткий гудок и ночное эхо начало перекатывать этот гудок все дальше, пока не занесло в заокские леса, — по всему этому я понял, что Зуев не хочет торопиться только потому, что с необыкновенной и какой-то изумленной радостью

ощущает себя в привычных местах, куда он не надеялся возвратиться.

Мы покурили, потом поднялись на крутой берег к сторожке бакенщика Софрона. Я постучал в окошко. Софрон тотчас вышел, будто он и не спал, узнал меня, поздоровался, сказал:

— Вода ноне прибывает. За сутки два метра. Должно, наверху дожди. Не слыхал?

— Нет, не слыхал.

Софрон зевнул.

— Дело осеннее. Ну, что ж, поехали?

Ока ночью казалась очень широкой, гораздо шире, чем днем. Вода шла сильно, во весь размах реки. Всплескивала рыба. В мутноватом свете ночи было видно, как круги от всплесков стремительно уносятся течением, растягиваясь и разрываясь.

На том берегу мы вышли. Из лугов тянуло холодной завялой травой, сладковатым запахом ивовых листьев. Мы пошли по чуть заметной тропинке, вышли на сенокосную дорогу. Было тихо. Луна опускалась к земле, — свет ее уже потускнел.

Мы должны были пересечь луговой остров шириной в шесть километров, потом перейти по старому мосту через второе — тихое и заглохшее — русло Оки, а за ним, за песками, уже лежало Заборье.

— Узнаю, — говорил, волнуясь, капитан. — Все узнаю. Оказывается, я ничего не забыл. Вон — купы деревьев! Это ивы на Прорве. Верно? Вот видите? Глядите, какой туман над Селянским озером! И ни одной птицы не слышно. Опоздал я, конечно, — улетели уже птицы. А воздух! Какой воздух, мать моя родная! Настоялся на травах за всю эту осень. Я таким воздухом нигде не дышал, кроме как в наших местах. Слышите, петухи заголосили? Это в Требутине. Вот звонкие, черти! За четыре километра слышно!

Но чем дальше мы шли, тем меньше говорили, а потом и совсем замолчали. Сумрачная ночь лежала над заводями, над черными стогами, над зарослями. Молчание этой ночи передалось и нам.

По правую руку потянулось заросшее озеро. Вода в нем отсвечивала. Зуеву было трудно идти из-за его

хромоты. Мы сели отдохнуть на поваленную ветром иву. Я хорошо знал эту иву, — она лежала здесь уже несколько лет и вся заросла низким шиповником.

— Да, жизнь! — вздохнул Зуев. — Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?

— Наоборот, — сказал я. — Совсем не глупо. У вас есть семья?

— Нет, я бобыль.

Мы пошли дальше. Луна зашла за высокий берег Оки. До рассвета было далеко. На востоке еще лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.

— Одного не пойму, — сказал Зуев. — Почему лошадей перестали гонять в ночное? Раньше до самого снега гоняли. А сейчас в лугах ни одной коняги.

Я тоже заметил это, но не придал этому значения. Вокруг было так пустынно, что кроме нас, на луговом острове, казалось, не было больше ничего живого.

Потом я увидел впереди неясную и широкую полосу воды. Ее раньше здесь не было. Я всмотрелся, и у меня замерло сердце,—неужели так разлилось старое русло Оки!

— Скоро мост, — весело сказал Зуев, — а там и Заборье. Можно сказать, пришли.

Мы подошли к берегу старого русла. Дорога срывалась прямо в черную воду. Она неслась у самых наших ног и подмывала низкий берег. То тут, то там был слышен тяжелый плеск, — это обрушивались куски подмытого берега.

— Где же мост? — спросил встревоженно Зуев.

Моста не было. Его или смыло, или затопило, и вода уже шла над ним толщей в полтора-два метра. Зуев зажег электрический фонарик, посветил. Из-под мутных волн торчали, качаясь, верхушки кустов.

— Так-так! — сказал озадаченно Зуев. — Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать.

Он помолчал.

— Покричать, что ли?

Но кричать было бесполезно. До Заборья было еще далеко. Нас все равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не было ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.

— Придется идти на перевоз, — сказал я. — Конечно...

— Что «конечно»?

— Да ничего. Дорогу я знаю.

Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз еще работает», — но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, естественно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.

— Ну, что ж! — согласился Зуев. — Пойдемте. Ночь как потемнела, окаянная!

Он снова посветил и выругался, — вода уже закрыла верхушки кустов.

— Дело серьезное! — пробормотал Зуев. — Идемте скорей!

Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетал из темноты и нес вкось над землей снеговую крупу. Все чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли, спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежало два небольших оврага — всегда сухих. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.

— Заливает овраги, — сказал Зуев. — Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода! Непонятно.

Даже во время сильных осенних дождей вода никогда не поднималась так быстро и не заливала остров.

— А деревьев здесь нет, — заметил Зуев. — Одни кусты.

На острове как раз против перевоза была наезженная дорога. Мы узнали ее по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла на высоком берегу тяжело гудел под ветром сосновый лес.

Чем дальше тянулась ночь, тем становилась кромешнее и холодней. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарем. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заполаскивала в луга.

— Перево-оз! — закричал Зуев и прислушался. — Перево-оз!

Никто не откликнулся. Гудел лес.

Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождем. Редкие его капли начали тяжело стучать по земле.

Мы снова начали кричать. В ответ все так же равнодушно гудел лес.

— Нет перевозчика! — сказал с сердцем Зуев. — Ясно! И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, если остров заливает и на нем нет и не может быть ни души. Глупо... в двух шагах от родного дома...

Я понимал, что выручить нас может только случайность, — или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничего не предвещало этой черной ночной беды, — к ней мы сами пришли навстречу.

— Пойдемте по берегу, — сказал я. — Может быть, наткнемся на лодку.

Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил фонариком, но свет его все тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.

Я наткнулся на что-то темное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажег спичку и сунул ее в солому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнем. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно шумел.

Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо

пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом — и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.

— Она сейчас погаснет, — тихо сказал Зуев. — Под ногами уже вода.

Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул леса и плеск воды долетали слабые, отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:

— Эге-гей! Лодка! Сюда!

Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:

— Иду-у!

Зуев быстро разгреб солому. Вырвалось пламя. В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихо смеяться.

— Весла! — говорил он. — Весла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке!

Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, никогда не умирающие в нашем народе.

— Эй, на пески выходите! Пониже! — звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это кричит женщина.

Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.

— Погодите садиться, воду надо отлить, — сказал тот же женский голос.

Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица ее не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова ее была закутана теплым платком.

— Как вас только сюда занесло? — строго спросила женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.

Она молча и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:

— Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.

— А как вы попали ночью в лес, наша спасительница? — шутливо спросил Зуев.

— Шла на работу, — неохотно ответила женщина. — Из Пустыни в Заборье. Вижу — огонь на острове, люди. Ну вот, догадалась. А перевозчика уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле весла нашла. Под сеном, в шалаше.

Я сел на весла. Я греб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что ее сносит к какому-то черному широкому водопаду, куда низвергается мутная вода, и тьма, и вся эта ночь.

Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить. В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о ненастной ночи и недавней опасности. Но теперь ночь казалась мне удивительной и прекрасной. И приветливым и знакомым показалось мне лицо молодой женщины, когда мы закурили и свет спички осветил ее мимолетным огнем. Серые ее глаза смущенно смотрели на нас. Мокрые пряди волос выбивались из-под платка.

— Никак ты, Даша? — вдруг очень тихо спросил Зуев.

— Я, Иван Матвеевич, — ответила женщина и засмеялась легким смехом, будто она смеялась чему-то известному только ей одной. — Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы! Никак не верили, что вы не вернетесь.

— Вот так оно и бывает! — сказал Зуев. — Четыре года воевал, смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти спасла меня Даша.

Помощница моя, — сказал он мне. — Работала в лесничестве. Учил я ее всякой лесной премудрости. Была девочка слабенькая, как стебелек. А теперь посмотрите, как вытянулась. Какая красавица! И строгая стала, суровая.

— Да что вы! Я не суровая, — ответила Даша. — Это я так, от отвычки. А вы к Василисе Ионовне? — неожиданно спросила Даша меня, очевидно чтобы переменить разговор.

Я ответил, что да, к Василисе Ионовне, и зазвал Дашу и Зуева к себе. Надо было обогреться, обсохнуть, отдохнуть в теплом старом доме.

Василиса Ионовна нисколько не удивилась нашему ночному появлению. По старости своей она привыкла ничему не удивляться и все, что бы ни случилось, толковала по-своему. И теперь, выслушав рассказ о нашем злоключении, она сказала:

— Велик бог земли русской. А про Софрона этого я всегда говорила, что он растяпа. Удивляюсь, как это вы, писатель, сразу его не раскусили! Значит, у вас тоже есть своя слепота на людей. Ну, а за тебя, — сказала она, оборачиваясь к Даше, — я рада. Дождалась ты, наконец, Ивана Матвеевича.

Даша покраснела, сорвалась с места, схватила пустое ведро и выбежала в сад, забыв затворить за собой дверь.

— Куда ты? — всполошилась Василиса Ионовна.

— За водой... для самовара! — крикнула из-за дверей Даша.

— Не понимаю я нынешних девушек, — сказала Василиса Ионовна, не обращая внимания на то, что Зуев никак не может зажечь спичку и закурить. — Слова им не скажи, вспыхивают, как костер. Чу́дная девушка! Могу сказать — моя отрада.

— Да, — согласился Зуев, справившись, наконец, со спичкой. — Замечательная девушка.

Конечно, Даша уронила ведро в колодец в саду. Я знал, как доставать ведра из этого колодца. Я доставал ведро шестом. Даша мне помогала. Руки у нее были ледяные от волнения, и она все повторяла:

— Вот чудачка эта Василиса Ионовна! Вот чудачка!

Ветер разнес тучи, и над черным садом уже сверкало, то сразу разгораясь, то так же сразу тускнея, звездное небо. Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из ведра — влажные ее зубы поблескивали в темноте — и сказала:

— Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.

— Ничего, пойдемте.

Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью, и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой, — гордость Василисы Ионовны.

1946

ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его «Незнакомке в бархатной шубке».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие

деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, ее дочь и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так не слышно, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда

она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, и Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит? — Но за забором никто не ответил. — Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохлась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть за-

была ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно, одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, — решила прочесть после работы. Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, — сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл ей сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь, — буркнул Тимофеев. — В шубе, и то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках

стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. — Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя, — попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор. — Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, начал греть руки и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев. — Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя. — Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно, — повторил он. — Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. — Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все — о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился. — Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе, — сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала. — Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправ-

лял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя, — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. — Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы не стоят медного гроша, что они наиграны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он. — Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу! Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева, или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда она только заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить и в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?

— Нет, — ответила Настя. — Это так... От одной знакомой...

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

— Поздно! Маму я уже не увижу, — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя. — Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего, — ответила Настя. — У меня мама...

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша. — Сразу надо было сказать. Подождите минуту.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

...Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала, — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах однаединственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша?—бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. — Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна не взяла ее, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти, — сказала Манюшка хрипло. — Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна. — Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила его в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо, — Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, — сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела на отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали

за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и смотрела не мигая перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница, наконец, решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

— Одинокая, должно быть, была это старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрена, — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались тем-

ными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в иссохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла уже давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

1946

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕТО

Заповедный лес на реке Усмани под Воронежем — последний на границе донских степей. Он слабо шумит, прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку — и в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветреная, как море.

Откроются ветряки, что машут крылами на курганах, коршуны и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга.

Но прежде всего откроется небо — высокое степное небо с громадами синеватых облаков. Их много, но они почти никогда не закрывают солнца. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца.

В степи, недалеко от старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла. Только в небольших бочагах налита чистая прогретая вода. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат — никак не могут отдышаться от сухой жары — сонные лягушки.

Липовый парк, изрытый блиндажами — разрушенными и заросшими дикой малиной, — слышен издалека. С рассвета до темноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип — таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова.

У подножья деревьев прячется в тени маленький белый дом. Он некогда принадлежал ныне почти забытому писателю Эртелю, современнику Чехова. Сейчас здесь небольшой дом отдыха.

С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто по ранним утрам я уходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей, будто выныривали из воды, опрометью неслись в глубину парка.

Должно быть, это было красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался идти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса.

Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки выныривали босые мальчишки.

Они подходили сзади широкой дугой, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной.

Мальчишки молчали, сопели и не отрываясь смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал одной ногой другую.

По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестает клевать. Это было необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на поплавок, как клев наглухо прекращался.

Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить.

Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали:

— Дяденька, дай крючкя!

Я понял, что совершил грубейшую ошибку.

Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры.

И вот, когда на следующий день мальчишки окружили меня, начали сопеть и рыба снова перестала клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь:

— А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в сто рублей?

— За что? — неуверенно спросил самый шустрый мальчик.

— А вот за это за самое, — ответил я.

Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь, они прошли шагов тридцать, потом сразу повернулись и бросились врассыпную в степь. Самый маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Шустрый мальчишка схватил его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли.

Я сам не меньше мальчишек был поражен тем, что случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто-то хихикнул.

Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха два белобрысых мальчика с длинными веревочными кнутами.

— А вы чего остались?

— Нам нельзя, — сказал мальчик постарше. — Мы пастухи. У нас стадо тут за бугром.

— А если бы не было стада?

Мальчишка, ухмыляясь, встал.

— Не! — сказал он. — Все одно мы бы не убегли. Мы большие. А те — махонькие. Что им ни посули — они всему верят. Теперь забоялись, долго не прибегут.

Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры.

— Вы кто? Писатель? — спросил меня сразу же Федя.

— Да, писатель.

— А вы давно заступили в писатели?

— Давно.

— Что-то не видно, — сказал Федя и подозрительно посмотрел на меня.

— Почему это не видно?

— Рыба клюет, а я гляжу, вы все зеваете.

— Что-то ты путаешь, — сказал я. — Рыба здесь ни при чем.

— Ну да, — обиженно заметил Федя. — Как это так ни при чем!

Тогда в разговор вмешался младший пастушок Витя.

— Запрошлое лето, — сказал он, торопясь и захлебываясь, — тут два писателя тоже рыбу ловили. Дядя Жора и дядя Саша. Так дядя Саша ка-ак закинет удочку, ка-ак у него возьмет, ка-ак он дерганет, ка-ак вытащит — вот такого окуня! В локоть! Раз за разом. А дядя Жора — так тот не мог. У дяди Жоры не получалось. Сидит-сидит весь день и вытащит плотичку. Худую, моренную.

— Тоже лезешь! — сердито сказал Федя. — Дурной совсем. Так ведь дядя Жора вовсе не был писателем. Понятно? А дядя Саша — так тот писатель. Он двадцать книг написал.

Тогда я наконец понял. В представлении Феди настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во всех областях жизни, был своего рода волшебным мастером «золотые руки». Он должен был все знать, все видеть, все понимать и все великолепно делать.

Мне не хотелось разрушать эту наивную веру маленького деревенского пастуха. Может быть потому, что за наивностью этой скрывалась настоящая правда о подлинном писательском мастерстве, — та правда, о какой мы не помним и к осуществлению которой не всегда стремимся.

Почему-то стало стыдно. И даже в малом деле — в рыбной ловле — я с тех пор поклялся себе не прозевать ни одной поклевки, особенно при Феде. Это уже как будто становилось делом чести. Сейчас, в Москве, это кажется мне немного смешным, — то, что я думал тогда, на Каменке, но я не мог допустить мысли, что Федя кому-нибудь скажет:

— Дядя Костя? Да какой же он писатель! Он подсекать не умеет. У него рыба все время срывается.

С тех пор при встречах с Федей я был настороже. Ему нужно было все знать. Он задавал мне множество вопросов. Но не на все его вопросы я мог ответить.

Как все пастухи, Федя хорошо знал всякие травы, цветы, растения и любил о них говорить. Я тоже коечто знал о растениях, но здесь, под Воронежем, было много таких трав и цветов, какие не встречались у нас, в более северной полосе России. Поэтому я был очень доволен, что захватил с собой из Москвы определитель растений.

Я приносил из степи, с берегов Усмани, из заповедного леса охапки разных цветов и трав и определял их. Так постепенно благодаря Феде я погрузился в заманчивый мир разнообразных листьев, венчиков, лепестков, тычинок, колосьев, в мир растительных запахов и чистых красок. Моя комната стала похожа на жилище деревенского знахаря. Связки сухой травы висели на стенах, и лекарственный дух степных растений так прочно поселился в ней, что его не мог вытеснить даже запах отцветающих за окнами лип.

И вот наконец наступил час моего торжества.

По берегу Каменки цвели хрупкие цветы топтуна. Они были похожи на маленькие белые звезды.

Однажды я пришел на Каменку на рассвете. Тотчас появился и Федя. Он подсел ко мне, достал из кармана хлеб, начал жевать его и расспрашивать меня о всяких обстоятельствах жизни.

Небо было закрыто мглой. В серой воде неподвижно стояли яркие поплавки. Рыба клевала плохо.

Я взглянул на цветы топтуна у своих ног и заметил, что все они закрыты.

— Будет дождь, — сказал я Феде.

— Откуда вы знаете?

— По цветам.

Я показал ему на закрытые цветы. Федя наморщил лоб и долго думал.

— А зачем они перед дождом затворяются?

— Чтобы дождь не сбивал пыльцу.

Я начал рассказывать ему о пыльце, об опылении, о том, что по цветам можно определять время дня. Пока я рассказывал, у меня клюнула плотва, но я прозевал. Федя даже не заметил этого. Он был взволнован моим рассказом.

— Откуда вы это все взяли? — спросил он. — Из школы?

— Из книг.

— Ну, если бы я так-то знал... — протянул Федя и замолчал.

— Что ж? Перестал бы пасти коров? Уехал бы в Воронеж?

— Не! — сказал Федя. — Я здешний. Мне тут привольно. Вырасту большой, сделаюсь председателем колхоза вместо Силантия Петровича, заведу у себя в деревне парники, цветы. Чего-чего только я тут не напридумаю! Медовую фабрику открою.

Одинокая капля дождя отвесно упала в воду. От нее пошли тонкие круги. Потом сразу вокруг нас зашевелилась, зашептала трава, вся вода покрылась маленькими кругами, и слабый, но внятный звон поплыл над омутом. Шел тихий теплый дождь.

Далеко в разрывы мягких туч светило широкими лучами солнце, и степь дымилась и блестела. Силь-

нее запахли травы, хлеба и земля. Из-за бугра потянуло парным молоком, — там паслось стадо.

— Гляньте, — сказал мне Федя, — так это же стеклянная трава!

Ворсистые стебли топтуна были сплошь покрыты каплями дождя. И все это маленькое растение так сверкало у наших ног, будто оно было действительно сделано из хрусталя.

Спрятаться от дождя было негде, и мы сидели, накинув на головы Федин ватник.

— Доброе лето! — серьезно сказал Федя.

Эти слова он, должно быть, слышал от кого-нибудь из деревенских стариков. Лето было действительно полно неуловимой доброты — и в легком шуме дождей, и в запахе зреющей пшеницы — предвестнике урожая.

1946

АННУШКА

Вторую неделю дул суховей. Косари жаловались, что трава в парке пожухла, загрубела, как проволока, и косить ее нет возможности — то и дело приходится отбивать косы.

Звон отбиваемых кос, душный ветер, столбы пыли по степным дорогам — тяжелое выдалось лето! Земля потрескалась, вода в пруду отошла и обнажила дно, рябое от телячьих копыт.

Косари подрядились скосить траву в парке при доме отдыха. Они старались, обкашивали каждый куст, но обошли маленький холмик под липой. Обошли потому, что холмик этот, заросший желтыми колосьями, был могилой девушки Анны.

Из сбивчивых и многословных рассказов ночного сторожа при доме отдыха, старика Семена, об этой могиле выяснилось, что сто лет назад обитал в здешних местах воронежский мещанин Иван Саввич Никитин. Он держал на Задонской дороге постоялый двор и, бывало, записывал на досуге в толстую конторскую книгу песни своего сочинения. По словам Семена, Иван Саввич собственноручно спилил ветку, на которой удавилась Анна, а спиленное место закрасил белой краской. Сколько лет прошло, а краска

не сошла! И сейчас еще на липе видно белое пятно на том месте, где росла эта ветка.

Анна была актеркой у помещика Шлихтинга. Помещик этот держал знаменитых коней — вороных и гладких, «как ласточки». Овес для этих коней поставлял ему Иван Саввич.

Однажды Иван Саввич приехал к Шлихтингу взыскивать долг за овес, попал на представление в помещичьем доме и увидел Анну. О чем он с ней говорил, никто не знает. Только известно одно: пришел он к Шлихтингу и просил, чтобы отпустил помещик Анну в Москву играть в столичном театре, потому что у нее был великий дар.

Просил и так и этак: и по человечеству, и по-божески, и долг за овес обещал скостить, — а долг был тяжкий, многолетний, — и сулил Шлихтингу народную благодарность. Но Шлихтинг был сухопарый немец, неуважительный, хоть и был он шутлив и бегал по своей усадьбе вприскочку.

Он усадил Ивана Саввича у себя в кабинете в мягкое кресло, сам сел напротив, крепко сжал Ивана Саввича за коленки, посмотрел ласково в глаза и сказал:

— Напрасно ты полагаешь, будто я так разорился, что польщусь из-за Анны на твои овсяные рубли. Получай эти рубли и езжай с богом. В овсе твоем я теперь не нуждаюсь.

Он открыл ящик стола, — а стол был с перламутром, — и выложил Ивану Саввичу пук ассигнаций. «Я, говорит, всех коней и усадьбу продал и Анну продам князю Орлову: он на таких падкий. А сам уеду в город Ригу, где и буду жительствовать. Так что, говорит, запоздал ты со своим предстательством. Да оно и ни к чему, потому что, ежели бы не крутые дела, я Анну нипочем бы не продал и никуда бы не отпустил. Что мое — то мое, а что твое — то твое. Ты в мои кошельки и дела не суйся!» Встал Иван Саввич и сказал: «Ну, видно, нет у вас ни чести, ни сердца, и есть вы рыжий немецкий пес!» И ушел, сдержался, чтобы не прикончить Шлихтинга на месте. А Анна в ту же ночь удавилась на молодой липе.

Парк при доме отдыха был обнесен валом. Косари отдыхали на валу — там всегда дул из степи ветер, сушил мокрые рубахи, потные лбы.

Сначала косари молчали, смотрели, прищурившись, как ветер кладет седые овсы, потом, отдышавшись, закуривали, и тогда Семен, работавший вместе с косарями, говорил:

— Мою тоже Анной зовут. Только век нынче не тот!

— Чего? — переспрашивал кто-нибудь из косарей.

Они несколько раз уже слышали рассказ Семена и об актерке Анне и о дочери Семена, тихой девушке Анне, но никогда его не останавливали — то ли от лени, то ли от деревенской своей любви к длинным и складным житейским историям.

— Век нынче, говорю, не тот! — повторял Семен. — Время прояснилось. Ты только гляди!

Семен начинал свой рассказ, и косари слушали, почесывая грудь и поддакивая. Что уж говорить, не было у Семена сынов, так не обидела судьба — дала милую дочь. Это уж верно! Тут ничего навстречу не скажешь!

Когда Семен замолкал, кто-нибудь из косарей обязательно спрашивал:

— Так, говоришь, навестить скоро приедет?

— А как же! — торопливо отвечал Семен и растерянно улыбался. — Отписала: «Приеду после Петрова дня». Мне бы только дождать!

— Доживешь, — лениво успокаивали его косари.

— Да надо бы, — неуверенно говорил Семен. — Вот только дыхания у меня маловато.

Он наклонялся и начинал перевязывать лапоть. Дышал он трудно, со свистом. Косари молча переглядывались, а потом кто-нибудь весело говорил:

— Покурили, как на войне перед атакой, да и пошли махать. Небось до Петрова дня управимся.

* * *

Во время войны дом отдыха был закрыт. Сразу стало пусто и тихо и в комнатах и в парке. Дорожки заросли. На них целыми толпами безнаказанно

грелись на солнце красные жуки с черными пятнами. Пылились книги на полках, портьеры, старая мебель. Пересохли букеты, забытые отдыхающими в кувшинах. В комнатах стоял гниловатый запах застоявшейся цветочной воды.

Семен все никак не мог привыкнуть к безлюдью. Как и до войны, он бродил каждую ночь по парку со старым ружьем, рассуждал сам с собой, удивлялся, что мальчишки перестали трясти в саду вишни-скороспелки; закинув голову, долго слушал, как проходили в вышине невидимые ночные самолеты, и гадал, чьи они: ихние или наши?

Семен жил с дочерью Аннушкой в селе Привалове, в трех километрах от дома отдыха, и приходил сторожить только к вечеру. А весь день дом отдыха и парк стояли забытые всеми и пустые.

Потом до парка начала достигать канонада. В доме появились новые хозяева — военные. В парк вползли горячие и пыльные танки, укрылись под сенью лип и кленов. Бойцы начали рыть блиндажи. Они рыли их в гуще зарослей. Непроницаемая зелень над головой и ветки дикой малины, закрывавшие вход в блиндажи, — все это было особенно мило бойцам и создавало у них спокойное настроение.

Аннушка перед самой войной окончила семилетку и поступила на работу в бобровый заповедник, что в лесу, за рекой Усманью. Когда подошли немцы, всех бобров выпустили из вольеров в реку. Но один старый бобер ни за что не хотел уходить. Он остался в вольере, и когда сотрудники заповедника эвакуировались, то Аннушке поручили его кормить. Она ходила из Привалова в заповедник, срезала для старого бобра осиновые ветки, рвала крапиву. Каждый раз бобер, завидев Аннушку, становился на задние лапы и начинал трясти проволочную решетку: радовался человеку.

Работы в колхозе было много — от зари до зари, но Аннушка не пропускала ни одного дня, чтобы не покормить бобра. Каждый день к вечеру она шла в заповедник через сырой, заглохший лес, через лавы на Усмани, и ей казалось, что она идет по нежилой

земле — так пустынно было в лесу. Только далеко, все на одном месте, где-то под самым Воронежем, гремели пушки. От сознания, что рядом война, идут тяжелые бои и враг стоит на самом пороге ее полей, ее избы, родная земля казалась Аннушке милее и ближе.

Аннушка по дороге кивала, как старым знакомым, то гнезду жаворонка — он по беспечности свил его в придорожной канаве, — то цветам цикория на пригорке, то семье молодых березок с теплой корой, то оброненной какой-нибудь школьницей старой, измятой ленточке из косы. Аннушка ее не подбирала.

К зиме в Привалове в помещении школы открыли госпиталь. Аннушка начала в нем работать. Она тревожилась за старого бобра, но Семен заготовил бобру запас осиновых чурок, и бобер, поворчав, залег на зиму — к нему уже не надо было ходить каждый день.

Однажды в госпиталь приехали артисты из Москвы. Они устроили концерт в школе, а потом, по просьбе раненых, Аннушка тоже спела несколько песен. Высокая седая артистка в полушубке расцеловала Аннушку и сказала, что у нее редкий по красоте голос. Аннушка не могла поднять глаза от смущения. Бойцы сильно хлопали и кричали «бис».

Высокая артистка пошла вместе с Аннушкой в избу к Семену и начала его уговаривать отпустить Аннушку с ней в Москву, в театральную школу. Семен растерялся, ничего толком не понял и все повторял:

— Вам, городским, виднее. А я Аннушку от хорошей жизни не прячу.

Когда артистка ушла, Семен долго сидел на лавке и дергал вату из разорванного треуха. Аннушка стояла у стены бледная, сердце у нее колотилось, и слезы все текли и текли, она никак не могла их унять. Она смотрела на седые волосы Семена, на худую его шею, обмотанную зеленым шарфом, и плакала от жалости и от того, что не могла решить, что же ей делать.

— Мать Марфа померла, — сказал наконец Семен, — слабая была женщина. А ты что же? Крепче

ее, что ли? Колосок ты, а не человек. Надорвешься. Там жизнь, в Москве, вся в суете.

— Как хотите, папаня, — шепотом ответила Аннушка.

— Мое хотение простое, — ответил Семен. — Как тебе лучше, так и мне. Езжай. А я уж тут доковыряюсь один. Вроде как твой бобер.

Он встал и пошел из избы. Аннушка бросилась за ним. Ночь была черная, ледяная. Из степи завивалась поземка. Семен остановился в открытых дверях, сказал:

— За мной не ходи.

Аннушка вернулась в избу, села на лавку и сидела, ждала. Семен пришел не скоро, весь в снегу, тихий, постаревший. Он неловко погладил Аннушку по волосам и опять сказал:

— Езжай! Только греха на себя не бери — не забывай...

Аннушка схватила голову Семена и припала губами к его мокрым от снега волосам.

Через день Аннушка уехала с артистами.

Военное время тянулось долго; казалось, не будет ему конца.

На третий год после отъезда Аннушки май стоял прохладный и ясный. И в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло великое известие, что мы победили и война окончена.

Шло время, а Аннушка все не ехала, только писала короткие письма. Снова открыли дом отдыха. Семен по-прежнему сторожил парк при доме и по-прежнему любил рассказывать отдыхающим про смерть девушки Анны и про стихотворца Ивана Саввича. Но про свою Аннушку он отдыхающим ничего не говорил — боялся, как бы не подумали, что вот, мол, пустой старик, брехливый. Кто их знает, этих отдыхающих! Разные попадаются люди. И своим, колхозникам, Семен тоже ничего не рассказывал — они и без него знали, что Аннушка в Москве и учится там при хорошем театре.

Однажды директор дома отдыха позвал Семена и велел ничего не рассказывать отдыхающим про смерть актерки Анны.

— Это чего же! — обиделся Семен. — Я небось не вру. Дело всем известное, стародавнее.

— Нечего тебе языком молоть, — сказал директор. — Народ теперь нервный. Днем ты им напоешь, а вечером они около этой липы проходить боятся. Спилить ее, что ли?

— Грех пилить, — сказал Семен. — Уж лучше я помолчу.

Кончался июнь, лето переломилось, а Аннушка не ехала. По ночам зарницы мигали над степью, над курганами — зарили хлеб.

Семен отпросился у директора, пошел в дальнее село на телеграф — надумал послать Аннушке телеграмму. Вышел он к сумеркам, когда спала жара: днем идти не было возможности. Но все равно идти было тяжко. Семен брел, часто присаживался на обочину, трудно дышал, мял в пальцах пыльную полынь, нюхал ее, — ему казалось, что от этого становилось легче. Он долго смотрел, как степь синела к вечеру, как на небе загорались закатным огнем облачные снеговые горы и тихо стояли над остывающей землей, ждали прохладной ночи.

Летали бражники. Серый ветряк на кургане покрылся темной позолотой.

— Эх, Аннушка, — сказал Семен и с трудом поднялся, — вот бы ты поглядела! Небось выросла здесь, избегала всю степь, босоногая, а теперь где?

Ветряк стоял невдалеке от дороги. На пороге сидел человек в солдатской гимнастерке, с костылем. «Мельник-то новый», — подумал Семен и пошел к ветряку. Ему хотелось покурить с новым человеком, поговорить о своей заботе. Да и какая это забота, когда дочь у него в Москве, учится, утешает отца, а что вот не приезжает и давно не писала — так мало ли что! Москва велика, и работа московская — не ихняя сельская работа. Там, надо быть, люди по суткам не спят, все некогда. Да и как иначе управишься

с таким государством — ведь тысячи и тысячи километров одних только хлебов!

Человек около мельницы курил махорку. Синий дымок струился прямо вверх, под крыло мельницы. «Все к добру!» — подумал Семен, поздоровался, сел, закурил, пригляделся к новому мельнику: человек, видно, хороший, молодой, недавно с войны.

— Вот иду, — сказал Семен, — дочке телеграмму давать.

— Чего ж это? — спросил мельник.

— Не миновать телеграммы. Ты слухай, какие, значит, дела.

Семен начал не торопясь рассказывать. Мельник курил, усмехался. А Семен все говорил. И говорил он уже не о том, что случилось с Аннушкой, а вспоминал ее. Вот была девчонка со светлой косой, тихая, как мотылек. И ходила легко. Бывало, шагу не услышишь. Люди говорили — красавица! Да не в этом суть. Суть в том, что ласковая была и работящая и отца вот как уважала. Всего двое их было на свете, а лучше бы жить и не надо. А вот какая теперь — неизвестно.

— Радоваться, отец, надо, — сказал мельник, — не обижаться.

— Что ты! — испугался Семен. — Да неужто я обижаюсь? Радость-то радостью, а забота свое берет. Добро бы их было у меня несколько, а то одна. Будь она неуважительная или ветрогонка какая, тогда уж ладно. Тогда и жалости нет. А то ведь сердце у нее как огонек. Ну, прощай. К утру мне, брат, надо назад поспеть, ко двору.

Семен попрощался, ушел. Темнело. Молодой месяц повис тонким рогом над дальней рощей. За рощей подымался сухой туман. Потом с юга затемнело, далеко проговорил что-то свое грозное гром, небо передернуло зловещим пламенем.

Семен пошел быстрее. От быстрой ходьбы он все чаще останавливался, с натугой кашлял. От кашля жар бросался в голову и в глаза. На глазах навертывались слезы.

А небо все чернело, будто чугунная стена росла из-под земли, и гром уже, как хозяин, грохотал и впереди, и справа, и слева. Белая пыль, освещенная месяцем, бежала по степи навстречу Семену. «Не дойти!» — думал Семен.

Зашумели хлеба, травы. Степь будто раскололась от небесного грома. Далеко в балке жалобно закричал стреноженный конь.

А потом пошло полыхать раз за разом. От тучи дохнуло ледяным ветром, и грозно зашумел, набегая, темный ливень.

Утром грузовая машина подобрала Семена в степи — промокшего, в лихорадке. Телеграмму он так и не успел послать.

Женщина-врач из дома отдыха выслушала Семена, покачала головой. Приходила она в избу к Семену по два раза в день, но он знал, что напрасно, что теперь ему уже не выжить. Приглядывали за ним соседи. Семен лежал в избе, но в ней было душно, и он перешел в сени. Старуха соседка настелила ему сена у порога, и он лежал около открытой двери под полушубком, смотрел на дорогу, все ждал и никак не хотел уходить из сеней в избу.

По ночам было легче, чем днем, потому что издали был виден свет редких машин. С каждой машиной могла приехать Аннушка.

Свет появлялся у далекого леса, как белая звезда, медленно полз навстречу, погасал за бугром, потом снова возникало дрожащее его свечение и было слышно ночное, спокойное журчание мотора. Семен шевелился, подымал голову. Свет бил ему в глаза, пробегал по сенцам и уходил, подрожав на стене, — все мимо, дальше, в степь.

Семен закрывал глаза, слушал. Много ночью в степи всяких голосов. Не поймешь.

Далеко чуть слышно кричал паровоз. «Может, пассажирский пришел, запоздал», — думал Семен и прикидывал: вот она вышла из вагона, вот рядится на грузовую машину, вот машина вошла в лес, прошла у кордона, через мост, по краю заповедника («А бобер-то небось тоже лежит, дожидается», — думал

Семен), вот дошла до околицы. Семен приподымался, слушал. Но в степи было тихо, так тихо, что казалось, звезды поплескивают в ведерке с водой. Ведерко это стояло рядом, и в нем плавал деревянный ковшик.

Семену чудилось, что у него за спиной сидит немец Шлихтинг, посмеивается, говорит: «Я в овсе твоем, Семен Евсеич, теперь не нуждаюсь». — «Время твое кануло, — шептал в ответ Семен. — Пальцы у тебя поотбили. Мы теперь своей волей живем, старый пес». Шлихтинг замолкал, исчезал неведомо как, а в сенцах появлялась девушка из отдыхающих, школьница Леля, и, наморщив лоб, давала Семену горькую воду и все журила, что он не хочет перебираться в избу. И Семен замечал с удивлением, что уже день и степь за бугром что-то сильно гудит. «Неужто комбайны? — думал он. — Неужто хлеб созрел, а ее все нету?»

— Обманул я Аннушку, — говорил он Леле. — Обещал дожить, да не осилю я даже малое время. Я дышу в одну десятую часть.

Семен все хотел попросить Лелю послать телеграмму Аннушке. Ночью он как-то составил в уме эту телеграмму: «Живи за отца чисто, по правде, а на могилу, смотри, приезжай, — и под землей ждать буду». Но только не примут такую телеграмму. Там, на телеграфе, народ торопливый, больше все числа передают. Им не до глупого деда. Жил-жил, а толком ничего объяснить не умеет.

Днем к Семену приходили разные люди — и докторша, и отдыхающие, и директор, и соседи, но Семен закрывал глаза, прикидывался, будто спит, — это ему было легко, он очень ослаб.

Жара убывала, дело шло к осени. Однажды ночью забормотал по листьям, по крыше дождь. Тьма лежала глухая, теплая. Из тьмы потянуло запахом прибитой дождем крапивы. Капли позвякивали по разбитому чугуну; он валялся во дворе, из него Семен кормил кур. Семен послушал, усмехнулся: чугун-то Марфа купила в городе, радовалась, а теперь никому он больше не нужен.

Дышать от дождя было легче. Семен задремал. Пролежал он так неведомо сколько, а очнулся от

белого света, бившего прямо в лицо. Около избы, стоя на месте, рокотала машина. Семен оперся на дрожащие руки, привстал, крикнул: «Аннушка, ты?» — и упал, затих, а Аннушка припала губами к его голове, гладила костлявые его плечи, шершавые щеки. И от рук ее шел дивный запах, должно быть, ночной травы.

— Ну вот, — говорила она, — ну вот, что ж ты? Что с тобой стряслось?

— Ничего, — бормотал Семен. — Это я так. Ослаб малость.

Кто-то засветил в избе огонь. Люди о чем-то говорили, спорили, потом внесли Семена в избу, уложили на широкую лавку, где Аннушка постелила чистую простыню.

Люди уехали. Аннушка напоила Семена крепким чаем, а потом просидела рядом до света, не отпускала его руку и все улыбалась, отгоняла слезы.

Семен смотрел на нее не отрываясь. Какая красавица! И платье на ней городское, легкое, такие надевать только в праздник. А все осталась прежняя его Аннушка, ласковая, и сердце у нее как огонек.

В сентябре Семена похоронили рядом с могилой девушки Анны. Новую могилу обложили дерном, а потом осень засыпала ее листом так густо, что совсем не стало видно рыжей глины. Похоронили Семена в парке, на любимом его месте, по просьбе Аннушки.

Каждое утро она приходила на могилу, и отдыхающие, заметив Аннушку, переставали шуметь и перекликаться и старались незаметно пройти мимо, чтобы ее не тревожить. А она сидела на скамейке около могилы, смотрела в степь, думала.

В ясности неба, в осеннем его холодке летели на юг птицы. Звенели в сухих головках плодов созревшие семена. Ветер косо нес прозрачные на свету желтые листья. По вечерам над степью залегала гряда холодных синеватых облаков.

Перед отъездом Аннушка пошла в заповедник проведать бобра. Она шла и, как прежде, шутливо ки-

вала старым своим знакомцам — сестрам-березам, лавам на Усмани, соснам.

Старый бобер сидел все в том же вольере. Аннушка окликнула его. Бобер тяжело засопел, стал на задние лапы и начал сильно трясти проволочную решетку: узнал Аннушку.

Вскоре Аннушка уехала. А на следующее лето косари опять косили траву в парке, но уже без Семена, и рассказывали отдыхающим две истории о двух Аннах. Одна история была стародавняя, пожалуй что и не так уж интересная, а вторая была у всех в памяти. В пересказе косарей выглядела она примерно так:

«Проводил он ее, Семен, с одной котомкой. Увезла она в Москву только голос. Голос был звонкий — откуда только берутся на свете такие голоса. А вернулась она — не узнать. Красавица! Повезло Семену на дочь. Ждал ее, ждал, не чаял дождаться: болезнь у него открылась трудная, безвыходная болезнь. А ее все нет. Не едет. Ну, конечно, бабы начали шуршать: вот, мол, она, дочерняя благодарность. Вот, мол, занесся старик, а его за гордость и стукнуло. Выходит, что он вроде как пустобрех. «Ей теперь, говорят, не до него. Ей теперь подавай крепдешин и какао». Ну, сами знаете, бабы, они бывают острые на язык. Пристыдишь их — смолкнут, а не пристыдишь — такой разгон возьмут, что пушкой не остановишь. Да-а, а она-то приехала. И привезла Семену полную избу гостинцев. И хоть недолго ему оставалось жить, а прибрала она его, выбелила избу, как игрушку. Бабы, конечно, притихли и ударились в другой край — не наглядятся, не нахвалятся Аннушкой. Как она выйдет на улицу, так по всем избам только и слышно, что бабье пение да умиление. Непоследовательный народ! Завидовать начали Семену. А чему завидовать! Человек вот-вот погаснет, как свеча. Ветер дунет — его и нет. Но, правда, умер в счастии. И вот подумайте, как это радость крепко действует — Семен-то даже начал помалу ходить. Хоть и трудно, а нет-нет да и выползет из избы, на Аннушку опирается. Отдыхающие, значит, дознались про все и стали просить Ан-

нушку, чтобы она сделала им уважение и спела бы у них в доме. Аннушка была обходительная, она, конечно, согласие дала. И вот был концерт. Мы на нем все были. Посетителями. Все село явилось. Ведь Аннушка не только Семенова — она наша, деревенская. За Семеном директор прислал лошадей. То, бывало, у него лошадей не допросишься, очень уж экономный мужик, а тут — пожалуйста! — сам за Семеном приехал. Пришли мы, а весь дом пылает — столько ламп, свету, а кругом одни букеты из листьев осенних. И все отдыхающие как в праздник: женщины в тонких платьях, все шуршат, духами удивительно пахнет. «Ваша Аннушка, говорят, наша гордость». Да-а! Вошла Аннушка в зал с Семеном, и встретили их! Уж неведомо, кого так встречают. Затруднительно даже сказать. Как принцессу. Конечно, принцесс теперь нету, но для нас она как своя принцесса. Пела она так, что слушаешь — весь дрожишь. А Семен, чудак, сидит, слез не вытирает. «Мне, говорит, за труд моей жизни теперь облегчение». Жалко, не удалось ему даже малость пожить — умер он через неделю. Уснул — не проснулся. Легкая смерть. Хоронили его, день был ясный, тихий и до того теплый — бабочки над пажитями так и вились, играли. А взглянешь на небо — паутина, как пряжа. Бабье лето! Реки, пруды стоят синие, и воздух над землей такой ясный, будто его и нет совершенно. И весь парк в сухости листа, в солнце. Легкая смерть! Да-а... Уехала Аннушка. И посулили мы ей светлой жизни, — иначе оно и быть не может».

Косарь, что рассказывал эту историю, замолчал. Молчали и все. Только высоко, на вековой липе, осторожно свистела иволга, будто соглашалась: «Так и будет! Так и будет!»

1946

РОЗА ВЕТРОВ

Второй день облака над морем раскидывались огромным веером, а там, на горизонте, откуда они тянулись к зениту, сверкал необыкновенный белый свет.

Настя долго смотрела с веранды дома отдыха на этот свет. Смотрела, сощурившись и придерживая худенькими пальцами волосы, — их все время путал ветер.

Настя не знала, что это был за свет, — отблеск ли моря, освещенного солнцем, или, может быть, так светилось самое небо. Она не решалась спросить об этом у отдыхающих. Она давно уже заметила, что они считают ее дурочкой.

Чем пристальнее Настя всматривалась в белый свет на горизонте, тем он казался загадочнее. Тянуло туда, в далекую даль, где над морем лежала, покачиваясь, синеватая мгла. День казался таким высоким, будто небо распахнулось до самой глубины и льется потоками света все туда же, в ту даль, откуда расходятся над морем облака.

А может быть, на горизонте был виден ослепительный берег еще неизвестной страны? Могут же быть на земле такие страны? Или нет? Те страны, где, как пишут в книгах, еще не ступала нога человека. Как

хорошо сойти утром с корабля на берег такой страны, на песок, перемытый прибоем, оглянуться и посмотреть на свои следы. В каждом из них еще прячется прохладная тень — остаток ночи.

А потом подняться выше и увидеть... Что увидеть? Леса на кручах каменных гор, откуда каскадами падает вода, пенится и перекатывает голыши. Увидеть большое солнце, закинуть голову и закричать — протяжно, во весь молодой голос. Закричать и прислушаться, как ответит эхо на первый человеческий крик.

Настя задумалась и не заметила, как на веранду вышел поэт Соколовский. Отдыхающие гордились перед другими домами тем, что у них живет Соколовский. Но Настя его долго боялась. Если бы она встретила его на улице, то никогда бы не догадалась, что это поэт. Ей казалось, что даже во внешности у каждого поэта есть что-то, отличающее его от других людей, — негритянские губы Пушкина, сумрачные глаза Лермонтова, громовой голос Маяковского.

Ничего такого у Соколовского не было. Это был коренастый человек неопределенного возраста с длинным лицом и большими руками. Каждый вечер он ходил в ресторанчик, окруженный почитателями, и все время острил. Настю он называл «дитя природы», но поглядывал на нее благосклонно.

Он дал ей прочесть книжку своих стихов. На голубой обложке были нарисованы растрепанные снопы. А потом шли стихи о войне, подружках, о городе, где поэт «слышит грохот столетья и несет в своем сердце войну».

Стихи Насте не понравились, но Соколовскому она ничего не сказала. Она поблагодарила его, возвращая книгу, а он взял Настины руки в свои и, глядя ей в лицо желтыми глазами, спросил:

— Афродита, дитя, почему вы прячетесь от всех?

Настя отняла руку, покраснела и ничего не ответила.

— Не сердитесь, — сказал примирительно Соколовский. — Общество здесь, конечно, муровое. Но вы мне нравитесь. Да и какое нам с вами дело до этого общества!

Этими снисходительными словами он как бы поставил Настю наравне с собой — признанным поэтом. Настя покраснела еще сильнее.

После этого разговора Соколовский переменился к Насте, — начал говорить с ней ласково, много шутил и часто придумывал какую-нибудь неожиданность, чтобы порадовать Настю. То он показывал ей на красивый голыш на берегу, и когда Настя его подымала, то под голышом оказывалась шоколадная конфета в серебряной обертке. То перед прибором у Насти появлялась в бокале лимонная кудрявая хризантема, тогда как у других женщин никаких хризантем не было, а стояли только перечницы с надписью «Память о Сочи».

Женщины ходили темные, как тучи, и как только Настя появлялась среди них, переглядывались и замолкали. Они собирались по укромным комнатам—все в пестрых пижамах, похожие на трескучих тропических птиц, — и возмущались дурным вкусом Соколовского. Как можно было променять культурных женщин на эту наивную девушку, не умеющую даже правильно говорить. Променять их на слушательницу педагогического техникума, не знающую даже, кто такой Хемингуэй! Непонятно, как она попала в этот дом отдыха! Если бы она была красавицей, тогда можно было бы понять Соколовского. Что он в ней нашел?

Но втайне женщины завидовали Насте — и ее косам, тяжелым, русым, с медным отливом, и большим глазам, и особенно длинным черным ресницам. Было просто невероятно, что это настоящие, а не приклеенные ресницы.

Настя все это замечала и приходила в отчаяние. «Чем же я виновата, — думала она, — что отец у меня был простой хлебороб, а мама до сих пор то и делает, что возится с курами и с огородом. Что им от меня надо, этим павам!»

Соколовский любил расспрашивать Настю об ее родной деревне, и Настя всегда отвечала охотно, вся раскрасневшись:

— У нас село широкое-широкое, над балкой. А весной, как зацветет акация, так кажется, будто по всем

садам кипит молоко. Мамина хата хоть и маленькая, а чистая, белая, и печка у нас расписана цветами — мальвами и бархатцами. Очень у нас хорошо. Вот приезжайте на то лето, — мама будет так рада! Она у меня добренькая, всегда смеется.

— Добрая? Вроде вас? — спрашивал Соколовский.

— Да, — доверчиво соглашалась Настя. — Я на нее похожа.

— Скажите мне правду, — говорил Соколовский, брал Настины руки и рассматривал ее длинные пальцы, — ваша мама, должно быть, согрешила с каким-нибудь заезжим красавцем? Почему вы такая?

— Ну что вы говорите! — испуганно восклицала Настя. — Как вам не совестно!

Часто по вечерам Соколовский ходил с Настей из дома отдыха в соседний маленький городок. Настя полюбила шоссе над морем, покрытое перистой тенью эвкалиптов, полюбила крутые горы и курчавые леса, просвеченные и прогретые до корней солнцем, опускавшимся в шумящее море, полюбила горький запах лавров и даже запах лилового слабого вина, которым однажды угощал ее Соколовский в дощатом ресторанчике.

Хозяин ресторанчика — черный человек с выпуклыми глазами — вытер столик мокрым от вина полотенцем и подмигнул Соколовскому. Потом хозяин поставил на стол бутыль вина.

Соколовский пил молча, стакан за стаканом, будто решил поскорее выпить всю бутыль. Настя выпила только один стакан и вдруг сказала:

— У вас совсем плохие стихи. Очень плохие. Прочтите мне что-нибудь хорошее.

Сказала и испугалась. Если бы не вино и не веселая светлость в голове, она бы этого, конечно, не сказала. Но Соколовский не обиделся. Он усмехнулся и, глядя на море, где плавали под берегом нырки, сказал:

— Я вас прощаю. За все. Что вам прочесть?

— Можно Пушкина? — спросила нерешительно Настя. — Только читайте медленно.

— Ну, ладно! — вздохнул Соколовский и тихо начал говорить как раз те пушкинские слова, которые Настя хотела услышать, а услышав, вздрогнула и замерла.

— «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой...»

Настя смотрела на Соколовского и не узнавала его. Он сидел, сгорбившись, и читал тихо и внятно, как будто только для себя.

«Значит, он хороший, — подумала Настя. — Конечно, хороший».

— «Но там — увы — где неба своды сияют в блеске голубом», — сказал Соколовский, и Настя почувствовала, как у нее сжалось горло. Она знала, что дальше, за этими торжественными словами стоит смерть, не пощадившая ни любви поэта, ни его тоски, ни светлой красоты любящей женщины. И вот они пришли, эти слова: — «Где под скалами дремлют воды, уснула ты последним сном...»

Слеза сползла по щеке у Насти и упала в стакан, где на дне еще оставалось немного вина. А когда Соколовский окончил читать и поднял голову, Настя уже плакала, не скрываясь. Соколовский, сморщившись, посмотрел на Настю, взял ее руку и поцеловал. Настя расплакалась еще сильнее, еще горше.

— Да, — тихо сказал Соколовский. — Великан! А у меня силенки не хватает.

Когда они возвращались после этого в дом отдыха, на маленьком мосту над шумным потоком у Насти закружилась голова. Звезды вдруг закачались и начали падать в море. Соколовский подхватил Настю и усадил на теплый придорожный камень.

— Глупость какая! — сказала тихо Настя. — Это же от вина. Я не пила его два года.

По шоссе неслась машина. Свет фар ударил в лицо Насте. В этом струящемся свете лицо ее с закрытыми глазами показалось Соколовскому таким прекрасным, что он схватил Настю за плечи и начал долго целовать в дрожащие губы. Настя рванулась, вскочила, но тотчас опять села на камень и сказала:

— Зачем? Это же страшно!

Настя вернулась к себе в смятении и не могла уснуть всю ночь. Несколько раз она крадучись выходила на веранду и долго смотрела на море, будто оно могло сказать те спокойные слова, которые оправдали бы этот первый поцелуй и близость и смыли бы с души горечь. Но в горечи этой все чаще мелькала то тут, то там, как лукавый зверек, непонятная радость.

Море лежало во мраке, и беспредельный его шум был как всегда равнодушен ко всему человеческому, будто волны повторяли одно и то же: усни, усни, усни...

Море не могло помочь Насте. Может быть, один только человек мог ей помочь: седой писатель с сухим лицом. Настя видела его однажды на пристани и знала, что он живет в белом воздушном санатории, окруженном кипарисами.

Что бы он сказал ей? «Дитя, — сказал бы он, наверное, — как ты ни боялась любви, но ты полюбила. Если это радость, то береги ее, как мать бережет ребенка. А если это крест, то ты будешь нести его долго, может быть всю жизнь. И ты никогда не подумаешь о том, достоин любимый твоей любви или нет. Как песчинка не может остановить морскую волну, так ты не остановишь свое простое и преданное сердце. А раз так — то люби!»

И Настя полюбила. Это было и радостно и очень страшно, потому что по нескольку раз за день Настя переходила от отчаяния к покою, а потом опять к отчаянию. Ей трудно было объяснить это себе, но почему-то все, что происходило с ней, казалось хотя и хорошим, но очень непрочным.

«Мое счастье в его руках, — думала Настя.— А что, если он вдруг разожмет руки, выронит его и оно разобьется».

И еще ей было совестно перед окружающими, будто она украла у них то, что принадлежало всем, а не только ей одной, — и они никогда не простят ей этого.

И вот сейчас, когда Соколовский вышел на веранду и остановился позади Насти, она думала о том, что любовь — это еще не все счастье. Для полного счастья

нужно еще очень много: и веселье, и вот это море, и эти розовеющие облака... Все, все нужно.

— Роза ветров, — неожиданно сказал Соколовский за спиной у Насти.

Настя обернулась.

— Что? — спросила она.

— Вот то, что происходит на небе, — спокойно объяснил Соколовский, — называется розой ветров. Облака расходятся во все стороны из одной точки. Там, где лежит эта светлая точка, зарождается ветер и равномерно дует во все стороны света.

— Роза ветров, — повторила Настя и улыбнулась. — Откуда вы все знаете?

Соколовский ничего не ответил.

— Чем больше знаешь, тем интереснее жить, — заметила Настя.

Свет на горизонте расплылся в широкое серебряное озеро. Оно сверкало и росло, приближаясь к берегу.

— Настя, — сказал, помолчав, Соколовский. — Я получил сегодня телеграмму. Из Москвы. Завтра я уезжаю.

Настя не оглянулась. Она только сжала пальцами сырые от недавнего дождя перила веранды.

— Ну и что же? — спросила она едва слышно.

— Давайте поговорим, — неуверенно предложил Соколовский. — Как будет в Москве?

Настя долго молчала.

— Никак! — ответила она наконец, повернулась к Соколовскому и улыбнулась ему, как взрослый улыбается ребенку. — Не бойтесь! В Москве я не буду ни видеть вас, ни писать вам, ни звонить — ничего! Бог с вами. Я все давно уже поняла. И ни капельки не сержусь. Живите, как вам хочется.

— Настя! — сказал Соколовский придушенным трагическим голосом.

— Ну что? Что Настя? Я же обо всем давно начала догадываться. Помните, вы говорили, что самое важное в жизни — покой и легкое счастье. Хоть на две недели. Я бы для вас жизнь охотно сломала, а вам этого делать нельзя. У вас и семья, и положение в обществе. Да еще и устали вы. Трудно вам переиначи-

вать жизнь. Я все помню, что вы мне говорили. Поезжайте спокойно. Из-за меня у вас не будет никаких неприятностей.

Соколовский схватил Настины руки, начал целовать их и торопливо бормотал:

— Но мы еще увидимся? Правда? Увидимся?

— Если захотите, то увидимся, — спокойно ответила Настя. Она осторожно отняла руки, подняла за подбородок голову Соколовского, посмотрела в его растерянные глаза, поцеловала в лоб и сказала совсем тихо:

— Слабый вы человек. Но милый. И скажу я вам, как говорила моя бабушка: бог вас простит.

— Вы что ж, презираете меня? — удивленно спросил Соколовский.

— Да, — сказала Настя. — И люблю. Больше мы не будем ни о чем таком разговаривать.

Настя сошла с веранды и медленно пошла к морю. Соколовский смотрел ей вслед. Настя ни разу не оглянулась.

«Я негодяй», — подумал Соколовский. От этой мысли у него сразу стало легко на сердце. Это слово как бы снимало с него все обязательства, сомнения, необходимость решений, снимало все, что было связано с Настей.

Соколовский вздохнул, достал папиросу, сел в плетеное кресло, закурил и, наслаждаясь крепким табаком, повторил про себя:

«Я негодяй. Пусть! Но это последний раз в жизни».

Ему было особенно легко оттого, что только один человек знает здесь, каким он оказался трусом, но никому об этом не расскажет. Ничто не изменится. Так же, как всегда, к нему будут тянуться, как птицы на маячный огонь, почитатели, с обычным восхищением будут выслушивать его остроты и гордиться знакомством с известным поэтом.

Настя медленно шла вдоль кромки прибоя. Волны то выбрасывали на берег, то смывали мандариновые корки и коричневые листья магнолий. Худенький мальчишка ловил на самолов рыбу. Это был известный на берегу «Толя-капитан». В карманах зеленых

штанов и за пазухой рваной фуфайки он таскал много интересных вещей: рогатку, крючки, орехи, банку с червями и высушенные клешни крабов.

Настя подошла к Толе и села на теплую гальку. Волна подбежала к самым ногам, но передумала и осторожно отхлынула, уволакивая за собой пену.

— Ну, как жизнь, Толя? — спросила Настя и болезненно улыбнулась.

Толя мельком взглянул на нее и отвернулся.

— Да как! — ответил он недовольно. — Пацаны сегодня с утра нахватали бычков! А я опоздал. Я сегодня пустой.

Он яростно дернул самолов и начал выбирать его из воды. На конце самолова, на огромном ржавом крючке болтался маленький, похожий на пиявку, бычок. Толя сплюнул.

— Зараза! — сказал он с досадой. — Тоже лезет!

Вдруг Толя бросил самолов и побежал вдоль берега, вытаскивая на бегу из кармана рогатку.

— Нырок! — отчаянно крикнул он Насте.

Нырок качался на волнах около берега. Он вертел головой и с беспокойством поглядывал на Толю. Толя, почти не целясь, ударил из рогатки. Камень врезался в воду рядом с нырком. Нырок тотчас исчез. Вынырнул он так далеко, что попасть в него из рогатки было уже невозможно. Толя с удивлением рассматривал рогатку, будто он не попал в нырка только потому, что в рогатке была какая-то неисправность. Потом он размашисто раскрутил над головой самолов, закинул его далеко в море и сказал Насте:

— Вот наловлю бычков, а вы до нас сегодня вечером приходите. Моя мама их так жарит, как никто.

— А кто твоя мама?

— Уборщица в вашем доме. Знаете Пашу? Так это она.

— Знаю, — ответила Настя и покраснела. Однажды, когда Настя сидела вечером с Соколовским на веранде и он поцеловал ее, вошла Паша. Паша смутилась и заметалась по веранде, притворяясь, будто что-то ищет. Соколовский смотрел на Пашу неподвижными злыми глазами.

— Хорошо, я приду, — согласилась Настя. — А где ты живешь?

— Вы сами ни за что не найдете. Я за вами прибегу. Перед ужином.

Настя встала, пошла к дому отдыха. Солнце уже опускалось в море, и облака колыхались золотыми дорогами на отлогих волнах. Поперек этих золотых дорог шел, растягивая за кормой полосу дыма, большой пароход.

Настя часто останавливалась, все думала о Соколовском. Слабый, несчастный человек! Может быть, и слабость, и желание казаться совсем не тем, чем он был, — все это оттого, что никто его по-настоящему не любил. Он был никому не нужен и ни у кого не болело сердце, когда он делал глупости, ошибался, лгал или страдал. «Не мне его судить, — думала Настя.— Он поэт. Может быть, поэтам и вправду все время нужно что-то новое — люди, неожиданные встречи, увлечения. Иначе они заскучают и перестанут писать».

Когда стемнело и в небе заблистала первая звезда — одинокая и ясная, та звезда, которую Настя почему-то всегда жалела, будто эта звезда была разлученной с нею подругой, Настя вышла в парк и пошла по темной аллее.

На скамейке около старого платана сидел Соколовский, а рядом с ним — полная женщина с круглыми настойчивыми глазами и папиросой в углу рта. В доме отдыха все ее звали Люсей. Она похлопывала Соколовского по руке пухлыми пальцами с ногтями кровавого цвета и говорила:

— Вы унижаете себя, Петя, этим увлечением. Наивный человек! Да неужели вы думаете, что никто ничего не замечает. За каждым вашим шагом следят. Да и что вы нашли в ней необыкновенного? Поэт — талантливый, образованный, а рядом какая-то дурочка. Вы не уважаете себя, Петя. Так нельзя, милый.

— Спасибо, Люсенька, — ответил ей Соколовский, и Настя вся сжалась, сообразив, что она подслушивает и что это — страшно и гадко. — Спасибо за откровенность. Я сам все это прекрасно знаю. Настя меня интересует только как литературный персонаж.

Не больше! И потом, вы же сами понимаете, что мне нужны потрясения. Без этого я не могу писать. Да, собственно говоря, все уже кончено. Я исчерпал эту тему до конца.

— Значит,—игриво сказала Люся, все так же похлопывая Соколовского пальчиками по руке, — мы скоро прочтем поэму и узнаем в ней нашу дурочку Настю?

Настя повернулась и быстро пошла к себе в комнату. Лицо ее горело. Она прижала ладони к щекам. Тотчас на глазах выступили слезы. В своей комнате Настя села в уголок дивана и сидела неподвижно, поджав ноги, боясь пошевелиться. Она знала, что стоит ей двинуться или разжать стиснутые руки — и она закричит, потому что все внутри у нее ныло от тупой боли. Настя тихонько качалась от этой боли, приоткрыв рот, глядя в одну точку удивленными глазами. Ей казалось, что кто-то чужой все спрашивает ее с той же назойливой равномерностью, с какой бьется у нее на виске маленькая жилка:

— Что же это? Что же это? Скажи!

Потом Настя вспомнила, что сейчас могут войти в комнату и позвать ужинать. Надо поскорее уйти. Настя вскочила, открыла дверь и тихонько вскрикнула, — в коридоре за дверью стоял Толя. Рваную кепку он держал в руке.

— А я уже давно жду,—сказал он таинственно,—пока вы выйдете. Мама бычков уже жарит. С черносливом.

— Пойдем! — порывисто сказала Настя и положила руку на Толино плечо, оно было худенькое, горячее, и из-под него выпирала ключица.

Толя провел Настю в большой мандариновый сад. Дощатый дом с терраской, где жила Паша, стоял в глубине сада. Через сад надо было идти по узкой дорожке, усыпанной крупным гравием, и пониже наклонять голову, — ветки мандаринов опускались до земли. Идти было трудно, потому что под ногами вертелась мохнатая черная собачонка и все время норовила лизнуть Настю в руку.

— Заходите! — крикнула Паша из зарослей, где трещал очаг, и от него пахло сладковатым дымом. Паша топила его кипарисовыми щепками.

Настя вошла в комнату, оглядела ее и вздохнула. Как хорошо!

— Откуда у вас все это? — спросила она Толю.

— А тут жил до нас старичок, морской капитан. Совсем один. Это от него осталось. Умер зимой, потому что все дожди и дожди, а он был уже слабенький. Вон его карточка, на комоде, — в полном капитанском мундире.

Настя не взглянула на карточку старика в полном капитанском мундире. Она смотрела на картину на стене и не расслышала последних слов Толи. Ей казалось, что она уже давно видела то, что было изображено на картине, но никак не могла вспомнить — где и когда. Должно быть, во сне.

Голубоватые сумерки простирались над морем, над равниной тусклой и тихой воды, а вдали, на берегу какой-то неизвестной страны, горели желтые портовые фонари. Их свет отражался в воде длинными столбами. И одна-единственная, страшно отдаленная звезда блестела в небе, похожем на туман,— печальная звезда, спутница кораблей. «Что там, на берегу?» — думала Настя. Должно быть, пристань, и на ней сидят девушки в таких же светлых платьях, как эта северная ночь,— счастливые девушки, верящие любимым. И тишина. Тишина на тысячи и тысячи миль. Только изредка у песчаного берега всплеснет спросонок волна и стихнет, испугавшись собственного плеска.

— Любуетесь? — спросила Паша. Она вошла в комнату со сковородкой жареной рыбы. — Это нам наследство осталось от Евгения Максимовича. И картины, и книги, и карты, и всякие эти морские инструменты.

— Тетя Паша, — сказала Настя, — мне осталось уже немного дожить в доме отдыха. Можно, я перееду к вам? Я не хочу там оставаться.

— Все можно, — ответила Паша, вытерла руки о фартук, подошла к Насте и пригладила ее волосы.— Все можно, голубка моя, красавица.

Настя подняла на Пашу глаза, полные слез.

— А вы мне ничего не рассказывайте, — сказала Паша. — Я и сама вижу. Садитесь, кушайте. Я сейчас

сбегаю, соберу ваши вещи, принесу сюда. Вы только директору записочку напишите.

Настя написала две записки: директору и Соколовскому.

«Не хочу быть и не буду, — писала она Соколовскому, — кроликом для ваших поэтических упражнений. Думаю, что и в этом вы солгали, так как я вас занимала совсем не как литературная героиня, а просто как женщина. Кто дал вам право играть такими вещами, как любовь? Талант? Да у вас его один только грамм, этого таланта. А если бы было и больше, то все равно, — талант создан, чтобы давать людям радость, а не люди созданы для того, чтобы этот талант разрастался, как ядовитый гриб. Настоящий человек должен быть настоящим во всем: и в стихах, и в жизни, и в каждой мелочи. А вы не настоящий. И стихи ваши — обман и ложь. Вы в них нарядились, как в красивый костюм, чтобы петушиться перед людьми. Вот все, что может сказать вам такая дурочка, как я. Прощайте».

Через час Паша принесла чемодан с вещами Насти и большой конверт от Соколовского. Настя вскрыла его, и на пол посыпались изорванные и измятые страницы той самой книжки стихов, которую Соколовский давал Насте читать. Вместе с порванными страницами выпала записка. Соколовский писал: «Вы правы. Стихи я порвал».

— Еще и паясничает! — сказала Настя, собрала все обрывки в конверт, вложила в него записку, вышла в сад и бросила конверт в очаг.

Тетя Паша ушла на ночь дежурить в дом отдыха. Толя спал на сундуке, свернувшись калачиком. Настя разделась и, сидя на кровати, задумалась. Она долго смотрела на картину с сумеречным морем и огнями, потом заметила около этой картины старую морскую карту. Настя надела туфли и подошла к карте. Какие-то синие реки впадали на ней в зеленый океан, маяки были очерчены тонкими кружками. В углу карты Настя увидела нарисованную тушью звезду и

над нею надпись «Роза ветров». Лучи у звезды были разной длины, и Настя, наморщив лоб, долго смотрела на рисунок звезды, стараясь в нем разобраться. Потом она догадалась по надписям «норд», «ост», «зюйд» и «вест», что каждый луч этой звезды говорит о силе и направлении ветров, дующих у тех берегов, что были нанесены на карту. Самый длинный луч звезды был направлен на юг, и это значило, что чаще всего на этом побережье дуют южные ветры. Настя вспомнила все, что рассказывал ей о розе ветров Соколовский, и только вздохнула. И тут он, ничего не зная, соврал, чтобы поразить ее и покрасоваться.

— Никогда не прощу, — сказала Настя. — Никогда! Даже перед смертью.

Она легла в постель, укрылась, поджала высокие колени, но они были холодные, как ледяшки. Настя никак не могла согреться и уснуть и тихонько проплакала всю ночь.

Утром, когда солнечный луч осветил висевшую на стене оранжевую хурму, Настя встала, оделась и пошла к морю. Оно шумело, несло к берегам теплый воздух безбрежных своих пространств.

Настя сбросила платье и вошла в воду. Она легла на спину, прищурила глаза, и на ресницах у нее, в крошечных капельках воды закружились такие волны света и блеска, что Настя даже улыбнулась!

— Море! — сказала она шепотом, лаская теплую воду, переливавшуюся между пальцами.

Она легко и сильно дышала и думала, что вот все кончено и теперь она, Настя, строже стала к жизни. А море шумит вокруг и совершенно не знает, что ему дана великая сила смывать с человеческой души грязь и горечь.

1917

ТОЛЯ-КАПИТАН

Всю ночь над побережьем шумел ливень. Медленные молнии освещали волны, бившие в берег, растрепанные платаны в саду и мою комнату, похожую на каюту. Каждый раз от вспышки молнии сверкал на столе осколок дымчатого стекла, подобранный на берегу после прибоя.

Иногда срывался шквал, хлестал по стеклам мелкой галькой и яростно тряс стены. Дом скрипел, сами собой открывались и захлопывались двери, на разные голоса пели печные трубы, и бродячие псы, ночевавшие на веранде, начинали скулить от страха.

А утром все так же ревело седое и мглистое море и вдали взлетали и окунались в воду доски, бревна и вырванные с корнем деревья, — их вынесла в море после ливня горная река Бзыбь.

Толпа мальчишек собралась на берегу. Ежась от дождя, они смотрели на море, неистово кричали и то отбегали от волны, то снова бросались к кромке прибоя.

Я вышел на берег и увидел на волнах неуклюжую маленькую лодку и в ней — мальчишку. Он изо всей силы греб деревянной лопатой к берегу и тащил на канате за лодкой несколько бревен. Бревна подымало высоким накатом воды. Они взлетали над лодкой и

каждую минуту могли обрушиться на нее и разбить ее в щепки, но мальчик — теперь его было уже ясно видно — ловко увертывался от бревен и все махал деревянной лопатой.

— Кто это? — спросил я мальчишек.

— Толя-капитан, — хором ответили они. — Самый храбрый мальчик на всем берегу. Он дрова в море собирает.

Так я познакомился с Толей-капитаном. Худенький, низенький, быстрый, в рваной красной фуфайке и зеленых широких штанах, он был настоящим хозяином побережья. Он таскал в карманах кучу занятных вещей, которым завидовали не только мальчишки, но и некоторые взрослые: рыболовные крючки, инжир, щербатый, но острый ножик, обкатанный прибоем сердолик и зажигательное стекло.

Стоило мне выйти на берег с самоловом, чтобы поудить бычков, как тотчас рядом появлялся Толя-капитан и брал команду в свои руки. Он насаживал мясо на мои крючки, распутывал узлы на самолове, снимал пойманных бычков и бесстрашно хватал за колючки морского ерша, щелкавшего пастью, как злая собака.

Толя-капитан дальше всех закидывал самолов. Он раскручивал его над головой с такой силой и свистом, что все, кто был поблизости, ложились плашмя на землю и закрывали головы руками, — глупо было бы погибнуть от удара сорвавшегося с самолова увесистого голыша. А голыш иногда срывался, ударял в парапет у нас за спиной и разлетался с треском и дымом на сотни осколков. После этого на берегу долго пахло порохом, как после хорошего взрыва.

Иногда на волне появлялся нырок. Он вертел головой и подозрительно поглядывал на Толю-капитана. Толя выхватывал из кармана рогатку и запускал в нырка голышом. Камень врезался в воду рядом с нырком, нырок исчезал и выныривал так далеко, что попасть в него было уже невозможно.

Однажды Толя-капитан отчаянно закричал:

— Акула! Черноморская! Вот она, кроет под берегом!

Я увидел в воде живое серое веретено. Оно стремительно и хищно неслось вдоль пляжа. Тотчас свистнул запущенный из рогатки камень и послышался тупой удар, — Толя попал. Разъяренная акула вылетела на воздух, тяжело шлепнулась в воду и, виляя хвостом, начала медленно уплывать в море. Десятки камней полетели, пересекаясь, вслед акуле. Акула ушла, но мальчишки клялись, что она подбита и ранил ее, конечно, Толя-капитан.

Осенью Толя начал появляться на пляже только к вечеру, — днем он ходил в школу. Он приходил к морю прямо из школы, с книгами, перевязанными ремешком. Среди этих книг всегда был один и тот же толстый растрепанный том в зеленом переплете — «История Черноморского флота», написанная давным-давно и неведомо кем, так как первая страница была вырвана. Толя очень берег эту книгу и с опаской следил за мной, когда я ее перелистывал.

— Откуда ты взял эту книгу? — спросил я его. — Она редкая.

— На маяке, — ответил Толя. — На мысу. Там мой дядя служит механиком. Только они меня на башню не пускают.

— Кто они?

— Маячные. А с башни море видно далеко, может быть, до самой Турции.

— Ты что ж? Будешь моряком? Капитаном?

— Очень хочу, — ответил Толя. — Отец согласен, а мама — нет. Сердится. Говорит, моряки редко дома бывают...

— А им весь свет — дом, — вдруг грустно сказал совсем еще маленький черный мальчик, тихо сидевший рядом с нами.

— Правильно, Арутюн Мартынович! — крикнул Толя и хлопнул черного мальчика по спине. — Им весь свет — родной дом. Они вольные люди. Нам учительница говорила, что чем больше человек знает землю, тем он умнее.

Толя сделал страшное лицо, яростно дернул самолов и начал быстро выбирать его из воды. На конце самолова, на большом ржавом крючке, болтался бычок.

— Смотреть не на что! — сказал с презрением Толя.

Он отцепил бычка и бросил его обратно в море.

Штормы и дожди вскоре сменились штилем. Он лежал над морем, как праздничный дым, и море временами совсем переставало шуметь. Я часто просыпался ночью от необычной тишины, прислушивался, но не мог расслышать даже легкого плеска воды.

В один из таких дней я пошел на маяк и взял с собой Толю. Нас пустили на башню. Она была железная, старинная. Чугунная лестница звенела под нашими ногами, когда мы поднимались к фонарю. В открытые иллюминаторы дул ветер. Внутри маяка пахло машинным маслом и смолой от пеньковых половиков.

Мы вышли на узкий висячий балкон. Огромное море в легкой пене открылось на десятки миль. Оно катило синие волны к желтым обрывистым берегам, к белым развалинам какого-то здания. Круглые линзы фонаря переливались хрустальной игрой. На стене висело расписание восходов и закатов солнца.

Толя стоял на балконе, уцепившись за жидкие железные перила, и, прищурившись, смотрел вдаль, откуда летел к нам теплый ветер, шла с мягким шумом волна и тянулись по небу, как оперенье розовых птиц, облака.

— Дядя Костя, — сказал мне Толя, — я вас очень прошу, поговорите с мамой. Пусть она отпустит меня учиться на капитана. Она вас послушает.

— Ладно, поговорю.

Порыв ветра ударил по башне маяка. Внутри фонаря что-то прозвенело, и маленькие радуги — отблески солнца от отполированных медных частей маячного механизма — задрожали на лице у Толи.

1948

БЕСПОКОЙСТВО

Изредка поздней осенью выдаются такие дни — сонные, хмурые, когда теплый туман как залег с утра над рекой, так и лежит, не редея, до самого вечера. Облака очень низко висят над серой водой, и потому с того берега все слышно так ясно, как в запертой комнате, — то женщины колотят вальками, стирают белье, то лениво тяпает топором бакенщик, то каркает ворона на старой раките.

Перевозчик Никифор кипятит в солдатском котелке чай на костре, отворачивается от дыма. Плотник Семен сидит на лавочке около шалаша, курит, сплевывает и смотрит на реку. Лодка только что ушла на тот берег, и видно, как на ней дружно гребут две девушки.

— Вот,— вздыхает Никифор,— отдыхает земля. Отсыпается.

— А тебе что? — сердито спрашивает Семен.— Пущай отдыхает. Она свое небось отработала. Не то что ты.

— Это верно, — соглашается Никифор. — Мне тут сидеть до морозов.

— Жизнь у тебя рентабельная, — все так же сердясь, говорит Семен. — Сиди да высиживай трудодни.

Сами в руки плывут. По-настоящему ежели судить, так ты, Никифор, есть лодырь.

Никифору не хочется спорить.

— Лодырей нынче нету,— говорит он примирительно.— Были, да вышли. Каждый действует по способностям. Тебе хорошо, ты, скажем, плотник. А я инвалид второй степени. Много с меня работы возьмешь! Вот и сижу перевозчиком.

— Много не много, а дело сполнять должен. Ты гляди,— Семен показывает мне на девушек на реке.— Сами гребут. А полагалось бы перевозчику с ними поехать, чтобы лодку пригнать обратно. Теперь дожидайся, покуда они там управятся и вернутся.

— Да они мигом,— говорит смущенно Никифор.— Делов-то у них всего ничего. За гармонистом поехали.

— Шурка, что ли, поехала?

— Ну да. Шурка и Лидка.

— Ох, эта Шурка! Не дай господи какая девица!

Никифор усмехается.

— Да уж известно. С характером девица.

— Чего тебе известно? — снова сердится Семен.— Смеешься? Я те посмеюсь. Обрадовались, дьяволы,— вот, мол, Шурка Семена пересилила, отступился перед ней Семен, а того нет у вас в голове, что я сам ей поддался.

— Да я ничего... Дело не мое.

— Надо знать, как дело было, тогда и смеяться. Самое это брехливое место твой перевоз.

— А ты не ярись!

— Да как же не яриться, милый! — Семен оборачивается ко мне.— Шуркой мне тычут в глаза с самого августа месяца. А почему? По дурости своей. Я на нее не в обиде.

— Откуда нам знать, в обиде ты ай нет?

— А вот оттуда! Я тебе говорю. Врать не буду,— схватился я спервоначалу с Шуркой насмерть. Да ты сам посуди. Жизнь наша всегда была тихая. Вроде как этот денек — беспокойства от него никакого. Каждый был при деле. Я, скажем, плотник. У меня что

рука, что топор — все равно как один инструмент. Я топором нитку в иголку вдену. С малых лет практика. Как-никак, а это не малость, ежели каждый в своей области мастер. Ну вот... Живу, плотничаю, колхоз меня уважает. Да на мою беду окончила Шурка семилетку, и назначили ее в колхоз помощником к председателю, к Петру Силантьевичу. Вот тут и пошло! Характер у нее, прямо сказать, адский. Чтобы дать человеку покалякать или перекурить — так нет. Немыслимо. Сама — как огонь, искры от нее во все стороны сыплются, только успевай, сторонись. Одним словом, комсомол — и все тут! Я, значит, поглядываю за ней, думаю: «Больно ты все знаешь и всех работе здорово учишь. Хорошо поешь, только где сядешь. У нас опыт, а у тебя напор. С ним одним жизнь не протянешь. Настанет время, еще придешь, накланяешься: «Научите, мол, старички, девчоночку уму-разуму». Думаю так, однако молчу. Все ее слухают, а у меня сердце прямо кипит — охота мне с ней схватиться. Чем я хуже? Жду случая. И сам, понимаешь, удивляюсь: девушка красивая, ничего не скажешь. И не то что другие, — не кричит, не ссорится, ни боже мой! Этого за ней не водится.

Да. Ждал я случая, да и дождался. На свою голову. Мост через Нередицу снесло половодьем, надо новый ставить. А кто будет ставить, как не я? Понятно, обращение ко мне. Приходит Шурка в мою избу договариваться. Все честь честью. Поговорили, потом она глядит на стенку, а там моя карточка висит. Снят я молодым — в ту пору служил я в Орле в пехотном полку. Она и говорит: «Ой, дядя Семен, какой вы были красивый!» — «Да будто я и сейчас не плох». Это я ей отвечаю. Она снимает со стены эту самую карточку, чтобы ближе разглядеть, а за карточкой на стене — тараканы. Десятка два! Как прыснут во все стороны. Она лоб наморщила, говорит: «Как же это вы, дядя Семен, такой знаменитый мастер, а так живете?» А мне, понимаешь, и совестно, и зло на нее, и обида опять же — кто бы другой мне замечание сделал, а то девчонка! Да еще такая с виду

приятная. А я еще перед ней и петушиться было начал: «Будто я и сейчас не плох». Вот дурак так дурак! «Ладно, говорю, мы в университетах не обучались и кофей по утрам не хлебали, а вышли в люди своим мужицким трудом да горбом. Сама знаешь, я бобыль». — «Ну, хорошо», — говорит. И ушла. Я взял веник, поснимал со стенок все календари-портреты и давай тараканов тем веником хлестать.

— Взяла, значит, и тебя за душу агитация, — замечает Никифор. Но Семен только пренебрежительно смотрит на него.

— Да... Начал я мост строить. А Шурка — вроде как обозреватель при мне. Все приглядывается. Больше молчит. Только торопит. А я говорю: «Мост строить — это тебе не мух ловить, красавица». Да... Шло так, шло, а однажды приходит она утром, посмотрела и говорит, что перила, мол, надо переделать и балясины строгать фасонные. «Как это, говорю, фасонные? Для чего?» — «Для красоты, говорит, чтобы мост наш был всем на удивление». Я ей говорю: «Дураку невдомек, а любой плотник тебе скажет, что мосту этому нет цены. Красоту, говорю, разводи у себя в горнице. А тут картина простая. Для коров, что ли, нужна твоя красота, когда их через тот мост будут гонять в луга? Ты мне не мешай!» Смолчала она, ушла, однако не успокоилась. Пришла на другой день, и настил ей, видишь ли, не понравился, не удовлетворяет ее — грубо очень доски кладутся, в в линию, а ей давай в елочку. Танцевать ей на том мосту, что ли? Чего выдумала! Переделывать настил! Да еще в два слоя. Тут уж я не стерпел, сорвался. «Больно ты, говорю, самомнительная девчонка и мала еще меня учить. Уйди из-под рук! Ты меня не тревожь. Я по-твоему все одно не сделаю, хоть ты перервись». — «Не сделаешь?» — спрашивает. «Нипочем!» — «А ежели сделаешь?» Я как ударю топором по настилу. «Что ж это ты! — кричу. — Насмешку надо мной строишь, над стариком?»

Плюнул, взял топор, пошел ко двору, а она на мосту осталась. Плотники, помощнички мои, понятно, растерялись. Зовут меня, а я не слухаю, иду.

— Ну и нрав у тебя! — говорит Никифор. — Всю жизнь бурлишь, всю жизнь лаешься. А толку на копейку.

— Тебя, видать, не спросил, — сердито отвечает Семен и долго смотрит, прищурившись, на другой берег: — Подались в избу к гармонисту. А изба хороша!

Семен вздыхает, натягивает картуз на глаза:

— Ушел. Сижу в избе день, сижу два, во двор не выглядаю. Думаю, беспременно прибежит Петр Силантьевич, заюлит, понятно, передо мной, — ведь мост-то стоит брошенный, без меня его никто не доделает. Однако никто не идет. Вот, думаю, гордые, да посмотрим, кто погордее. Соседи — и те притаились. Чего бы это так?

На четвертые сутки не выдержал. Встал до свету, заря чуть синеет, — и к мосту. Подошел — мать честная! Стоит мост, как невеста, весь настил — в чистую елочку, а перила все фасонные, только пять-шесть балясин еще не доделаны. Та-ак!.. И что, представь, выясняется! Собрала Шурка своих комсомолов, девчонок да двух-трех ребят, и доправила мост с помощниками моими. Я поглядел-поглядел и подался в луга. Домой идти не хочу — неровен час взойдет кто-нибудь. Что я ему скажу, как в глаза гляну? Пес я побитый, вот я кто! И совестно, и горько, и жар в голове от досады. Прямо скажу — заболел. Вернулся в избу затемно, прокрался задами, тяну дверь, вхожу. Тихо в избе, а под оконцем все-таки кто-то сидит. «Что, спрашиваю, за человек? Чего надо?» И, понимаешь, слышу — смеется кто-то, да так это тихо, будто ластится. Господи, неужто Шурка? Я — за порог. А она вскочила, схватила меня за рукав, втащила в избу и чего-то говорит, торопливо так-то, ласково, а я ничего не понимаю. Только потом разобрал. «Ты обиду, говорит, забудь, не для себя одного на свете живешь».— «Эх, говорю, осрамила ты меня, а волос у меня совсем уже седой. Никто на меня за всю жизнь пальцем не указывал. Никто!» — «И не будет никто указывать, говорит. Это ты на меня по-

ложись. Я давно тебя в избе жду. Как, говорит, мост? Ведь смотрел?» — «Смотрел». — «Не выдержал?» — «Нет, говорю, не стерпело сердце. А мост ничего, в соответствии. Кабы была ты мне дочь, я бы тобой, может, и загордился. Давай руку!»

Переломила она меня. Попрощалась, ушла. Тихая такая, светлая — не узнать. Посидел я на лавке, подумал и замечаю за собой — сижу один, а все улыбаюсь.

— Примирение, значит, между вами произошло,— говорит Никифор.

— Такой случай! — соглашается Семен.

С того берега долетают звуки гармоники. Семен встает.

— Едут, — говорит он. — Везут гармониста. Хорош будет нынче праздник.

На лодке опять дружно гребут две девушки, а гармонист сидит на корме и легонько наигрывает. Вид у него безразличный ко всему на свете, как это и подобает хорошему гармонисту. Лодка ударяет носом в песчаный берег. Семен подтягивает ее, помогает выйти девушкам. Одна из них — темноволосая, с застенчивыми серыми глазами — быстро взглядывает на меня, отворачивается, входит в воду и начинает полоскать ноги — должно быть, от смущения.

— Шура, — говорит ей ласково Семен, — Александра Петровна, вот человек прохожий. Желательно ему с тобой познакомиться.

— Сейчас. Вот только туфли надену.

Она надевает туфли, оборачивается и протягивает мне руку.

— Вроде дочка моя, — говорит Семен, явно гордясь Шуриной красотой. — Хороша!

— Ну, что ты, дядя Семен, все выдумываешь, — протяжно отвечает Шура. — Как не совестно!

— Красоты своей стыдиться нечего... Ну, прощайте. К вечеру ворочусь.

Семен отталкивает лодку и вскакивает в нее. Шура, все так же смущенно улыбаясь, поправляет

волосы, повязывает голову маленьким пестрым платком и говорит:

— День-то какой темный и теплый. С утра дождик собирается и все никак не соберется.

И будто в ответ на ее слова по реке и кустам тихонько начинает шуметь редкий и теплый дождь. Тотчас в деревне за рекой запевают на разные голоса петухи. А гармонист сидит на лавочке у шалаша и что-то тихо наигрывает, равнодушно глядя на воду.

1948

ВОИТЕЛЬ

В этих рязанских местах Музгой называли старое заглохшее русло Оки.

Вода в Музге стояла тихая, почти без течения и очень прозрачная. По цвету она походила на крепкий чайный навар: в Музгу впадала безыменная лесная речушка и наносила эту темную от соснового корья холодную воду.

Обрывистые берега Музги поросли ежевикой и лозой, а повыше лозы стояли старые ивы. В безветрие они казались черными от темной своей листвы, а в ветер становились серебряными от лиственной светлой изнанки.

За Музгой до самой Оки тянулись без конца и без края колхозные луга. Поэтому на Музге держали паром.

Заправлял им тихий с виду рыжеватый мужичок, дядя Вася. Жил он в шалаше около парома с ранней весны до самого льда. По случаю такого долгого проживания дядя Вася строил шалаш очень основательно, выкапывал рядом с ним погребок, сколачивал на вольном воздухе стол и скамейку.

Под очагом у дяди Васи весь день горел костер. Дым этого костра, подымаясь над непролазными

зарослями, служил как бы маяком: на него выходили и охотники, и рыболовы, и запутавшиеся в зарослях в поисках телят деревенские мальчишки.

Паром был далеко от деревни, километрах в пяти, но человек любопытный, желающий знать все новости, обязательно шел к дяде Васе. Там было досконально известно все, что случилось в окружности на сто километров.

Городской неопытный человек, конечно, удивлялся, не мог понять, как это в таком малопроезжем месте собирается столько новостей. Но местные жители знали, что каждый, кто переправляется через Музгу, обязательно посидит у шалаша дяди Васи, все обскажет, обо всем расспросит и, затаптывая махорочную цигарку, скажет напоследок:

— Да-а! Вот такие, значит, дела на свете, Василий Трефильевич!

А дядя Вася тут же ответит:

— Что говорить, милок! Живем — не скучаем.

Как-то поздней осенью я пошел на Музгу, заблудился в зарослях и вышел к парому на легкий дымок костра.

Осень стояла небывалая, — сухая, бурая, с такой ясностью холодноватого воздуха, что, казалось, можно было дотронуться рукой до Полковского леса, а до него было не меньше четырех километров. С Оки долетали гудки буксирных пароходов. Они будто раскалывали воздух. После каждого гудка он протяжно звенел. Стеклянный этот звон затихал медленно и неохотно.

Только один высокий осокорь на берегу Музги еще не облетел до конца. Он отражался в воде, стоял в ней вершиной книзу. Когда с осокоря падал большой пахучий лист, то было видно, как такой же лист отрывался от отражения осокоря, и оба эти листа спокойно летели навстречу друг другу — один вниз, а другой вверх — и соединялись на темной воде Музги. Тогда два листа тотчас превращались в один, и его относило слабым ветром на середину реки.

Когда я вышел к берегу, дядя Вася и старый мой знакомый дед Семен Елесин — косматый старик с ве-

селым глазом — дробно стучали топорами, чинили на пароме дощатый настил.

Я спустился на паром, поздоровался. Семен и дядя Вася отложили топоры, сели покурить.

— Характер у меня дюже плохой, — пожаловался дед Семен и сдунул в воду махорочный горячий пепел. Пепел зашипел, погас и начал быстро тонуть. К нему тотчас подлетела стая мальков, но, повертевшись около пепла, ушла, лениво помахивая хвостами. — Я совладеть с собой не в силе. Мне бы на печке пора сидеть да шамкать, я все ходю и ходю.

— Чего же ты все ходишь?

— А как же мне не ходить! — закричал Семен. — Вот сын Леонтий воротился из армии, поселился у меня, работает в колхозе бригадиром. «Теперь, говорит, ты, батя, свое отработал. Отдыхай. Теперь ты, говорит, на полном моем вожделении». Да-а. В Леонтии восемь осколков сидят, доктора под лучи его клали, искали те осколки.

Семен затянулся, сплюнул.

— «Отдохни», говорит. Мне отдыхать — не путь! Меня беспорядок тревожит. Зрить не могу беспорядка. Ни в избе, ни на поле, ни на колхозном дворе. Третьего дня пошел я лозу для кошелок резать. На самый край Музги. Там ветлы стоят старинные, многошумные. Гляжу: курится одна ветла густым дымом. А по-за ней — другая. Я к ним. И что же ты думаешь? Середка у них вся горит, тлеет: поджег их кто-то.

— Зачем? — спросил я.

— Известно, зачем. Середка выгорит, дерево рухнет, а он, вор, придет ночью, распилит его на дрова да к себе и перетащит на двор.

— Черное дело, — заметил дядя Вася.

— Известно, черное. Вот я и ходю туда третий день, караулю того злодея. Обязательно я его укараулю и подведу под народный суд, — в этом ты не сомневайся. Вербы я, конечно, потушил. Ты слухай, как. Воды поблизости нету, лопаты нету, так я прямо

руками землю скребу, как собака. И ею тот огонь засыпаю. И смех и горе!

— Это, надо быть, кто-нибудь из кузьминских ребят, — заметил дядя Вася. — У нас народ уважительный, с соображением.

— Вот пымаю, тогда разберем, чей он, ваш или кузьминский. Тоже много об себе понимаете. Ты вот здесь сидишь, как пень, а в прошлую среду в самую ночь рыбу у тебя тут глушили. Глушили ай нет?

— Я не отрекаюсь, глушили. За Птичьим яром. А что я один могу? Драться с ними, что ли, с глушителями?

— А ты моги! Это — твое упущение. За него ты, браток, ох, как ответишь! Ох, как ответишь!

— Надзиратель! — насмешливо сказал дядя Вася. — Всеобщий попечитель! У тебя, что ж, удостоверение-полномочие на такое занятие имеется?

— А на что мне твоя бумажка-квитанция? — снова закричал Семен. — На что? Чтобы правду искать, мне бумажки не требуется. А то все бумаги пишут-пишут, от того писания исчахли окончательно. Небось корову свою бумажкой не накормишь, удостоверением. Ей сена давай! А ты все бумага да бумага. Мне твоя бумага, браток, только на раскурку нужна. Боле ни на что.

— Лихой гражданин! — вздохнул дядя Вася. — Чем старее, тем голосистее.

— Это верно! — с удовольствием согласился Семен. — Я старости не опасаюсь. Встрел я намедни Кондрата. Сидит около избы на лавочке, охает. «Вот-вот, говорит, помру. Чего делать?» — «Как чего? — говорю. — Делов у тебя на том свете прорва. Поклоны от нас всех нашим передавать, и то уморишься». Кондрат как вскинулся на меня. «Охальник ты, говорит, Семен. И ругатель». — «Вот это ты, говорю, Кондрат, напрасно. Обождать бы надо, говорю, так со мной разговаривать». Я со своим понятием живу. И понятие у меня такое, что человек что хошь сделает — руки у него брильянтовые. Только соображать надо, что к чему. Вот и ты надо мной смеешься, Василий

Трефильевич: «надзиратель, попечитель». А мне той вербы многошумной жалко. Пойди ее вырасти. Бережение всему требуется — и лесу, и вербе, и реке, и полю, не только твоему карману. У меня в кармане, может, ветерок гуляет, а я хожу по своей земле, как мильонщик, как господин! Мне денег больших не требуется. Шут с ними совсем! Я со своим трудовым рублем при народном деле так проживу, что ты, браток, закачаешься!

— Это, конечно, так, — вздохнул дядя Вася. — Против этого я не спорю.

— А ты поспорь! — закричал Семен. — Тихий какой! Сидишь тут, кошелки плетешь — остатнее соображение на те кошелки прохлопал.

— Но-но! — предостерегающе сказал дядя Вася.— Ты полегче кричи. Нашелся начальник!

Семен обернулся ко мне, хлопнул себя руками по коленям и засмеялся:

— Ну вот, видишь? Чуть что, сейчас в обиду вламывается. Лучше бы дело свое справлял как положено.

— В мое дело ты не совайся!

— Эх ты! — с укором воскликнул Семен. — Недозрелый мужик. А еще от колхоза перевозчиком тут толчешься. Еще обижаешься. А кто тебе паром пособил починять? Я! Ну то-то! Завтра через этот паром машину на нашу колхозную электростанцию будут везти. Так я, понимаешь, прихожу, а у него настил весь играет. Ни одна доска путем не прибита. Это что ж такое! Утопит машину — и все тут. В ней сто сорок пудов весу. А может, и все пятьсот пудов. Она электричество вырабатывает самосильно. Ее, может, на тысяче станков точили в Москве.

— Против этого я не спорю, — покорно согласился дядя Вася. — Беспорядка ты, верно, не любишь. Но и беспокойства от тебя всему колхозу столько, что от самого председателя такого беспокойства нету.

— Эх ты, сморчок! — вздохнул Семен. — Не путь так говорить. У меня характер плохой, это точно. А у тебя характер — как из огурца штык. Не берет,

где надо. Никак! Дело у тебя тихое. Я бы в охотку тут за тебя посидел, на Музге. Как ни верти, а при этом деле тоже характер требуется.

Ушли мы с Семеном с парома уже в сумерки. В лугах было тихо, — птицы давно уже улетели в теплые края. Страшно высоко, в просвете туч, дотлевал последний свет вечерней зари. Со стороны Оки тянуло резким воздухом осени. На далеком заокском берегу вспыхнула и протянулась над рекой, как нитка сверкающих бус, полоса белых электрических огней.

— Красота! — сказал Семен. — У них там, за Окой, своя станция. Там, говорят, электричеством пашут. А мы ходим, сморкаемся. Это не путь! Вот откроем к празднику свою станцию, — ослепнешь! И книжки свои писать будешь при электричестве, а то больно много керосина потребляешь. По литру за вечер. Этак, брат, в трубу вылететь недолго, прожиться до дыр. Никаким своим писанием ты этот керосин не оправдаешь.

— Как-нибудь оправдаю, — ответил я, но все же не очень уверенно.

— Ты брось спорить, — рассердился Семен. — Мне продавец из сельпо жаловался: «Пьет он, говорит, что ли, тот керосин?» Всю ночь окошко у тебя на верхотуре светится. Глаза пропишешь, других тебе небось не дадут. Тоже соображать надо!

Мы долго шли крутым берегом длинного лугового озера. В воде качались, отражаясь, звезды.

— Вот, — сказал Семен, — говорят, что на звездах жизни совершенно нету. Так для чего же она горит-существует, звезда? Хоть это ты по крайности знать должен. А видать, не знаешь. Я так полагаю, что звезда существует для украшения жизни человеческой. Правильно я говорю? Ай нет?

— Правильно, — согласился я.

— Ну то-то! А на меня не серчай. Я, конечно, человек шумливый, беспокойный.

Мы закурили. Глубокая, не тронутая даже шелестом единственного сухого листа тишина простира-

лась в лугах. Казалось, она пришла на землю вместе с темнотой осеннего вечера, наполненного лекарственным запахом облетелых кустов.

Юпитер горел, все разгораясь, над дальним лесом. Свет его дрожал и дробился в воде у наших ног. На Оке стучали плицы парохода.

— Стар я, — сказал Семен. — К восьмому десятку подбираюсь. А век бы жил.

Темнота сгущалась. Дорогу уже нельзя было разобрать, но соломинки, валявшиеся на ней, чуть светились белым огнем, и их было еще хорошо видно. Так они и привели нас к мосту через мелкую реку и к освещенным окнам деревни.

1949

КОРДОН «273»

Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу, в пустых комнатах, стучат ходики. Далеко на Оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом.

На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в средней России.

На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.

Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!

Гарибальди живет здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого

«Бой при Фэршампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи.

На днях я уеду в Москву — последний обитатель большого пустующего дома, — а все вещи: и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая — все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь все неизменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее.

Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палыми, покоробленными листьями. А потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны.

Цветы иван-чая промерзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроют двери. Высохший чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло, — в них все целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросят в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой.

Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас. Иногда хочется жить столько же, сколько проживет этот портрет Гарибальди.

Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем.

Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминание сродни выдумке,

творчеству. Кто из нас, вспоминая, не придает пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого?

Воспоминания — это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир.

Весь этот разговор — только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в пятидесяти километрах от комнаты, где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание будет идти о реке Пре, вытекающей из Великих озер.

Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию узкоколейки. Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса.

Как всегда, начался спор: что это — Юпитер или какая-нибудь другая звезда? Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечниками — над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность и прохладу ночи.

В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнем лица пассажиров.

Рядом сидела девочка лет двенадцати в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза ее блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата — директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной — название ее она позабыла, — где «к карете привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тетенек в гости».

— А ты видела картину про композитора Глинку? — неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.

— Должно, видала. Только у меня в голове все переболталось, и я уже не помню.

— А чья музыка к этой картине? — строго спросил тот же голос. — Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина» с музыкой замечательной. Так ее написал композитор Мусоргский. Это молодежи следует знать.

— Где там знать! — ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком. — Всего не перезнаешь. Моготы не хватит.

— Пустые слова!

— Вот вы говорите, — лукаво сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшийся, — про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай...

— С кем это — с ним?

— Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в запрошлый год было огромное. Ока разлилась на семь километров. Ночи, конечно, черные. Такая темнота — никаким глазом ее не просверлишь! А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко: три недели тащили-тащили, стащить не смогли. Так он и обсох на лугах. Год простоял, до нового разлива. Только полой водой его и подняло.

— Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное, — сказал знаток композиторов. — Со сна ты, что ли, бормочешь?

— Верно говорит! — закричал из темноты молодой голос. — Был такой случай с пароходом «Композитор Мусоргский». Я сам видал. Стоит в лугах пароход, а вкруг него разные цветы цветут. Прямо смех!

— Кому смех, — пробормотал старик, — а рулевой заработал на этом деле судебный приговор.

— За дело! — сказала женщина с мешком лука. — Не губи пароход! Им, мужикам, когда напьются, все трын-трава. Пароход небось машина государственная. А он, пьяный вахлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных!

— Нынче пьяный в редкость, — примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая

цигарку. — Нынче пьяного у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче.

— За других не скажу, а я свои трудодни соблюдаю, — тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком; стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.

— Твой лук? С усадьбы?

— Ну да, мой. Личный.

— На ярмарку, что ли, везешь? В Клепики?

— На ярмарку.

— То-то я гляжу, — заметил знаток композиторов, — что полон вагон цыган. Тоже в Клепики на ярмарку тянут.

— Ой, красавец ты писаный! — пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить. — Весь наш табор — всего шесть человек. А тебе уже тесно...

Свет спички осветил синие волосы цыганки.

— Наша жизнь кочевая, — вздохнула цыганка. — Она как сон: сызнова никогда не приснится.

— Удивительный народ! — тихо сказал знаток композиторов и наклонился ко мне: — Еду я как-то в Сасово. Весь вагон — битком, и все с тяжеленными мешками. А рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка! Вещей у нее никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка эта самая развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку, — и та затихла, начала цветком играть.

— Любовь имеют к таким предметам, — заметил старик.

Цыгане вышли на площадку, поговорили о чем-то, и неожиданно низкий женский голос запел так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытую песню:

Как цветок голубой среди снежных полей,
Я увидел твою красоту...

Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал, белея, туман.

По тому, как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне — кто бы он ни был: пильщик ли, колхозный ли конюх, девочка в розовом платье, или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему, — нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с нею.

— Да, — сказал конюх, когда цыганка перестала петь, — была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка...

Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка.

Мы сошли поздней ночью на полустанке Летники. По краям дороги слабо шумел березовый перелесок. С болот наносило холод.

Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря. И на этой смутной заре еще пронзительнее, чем ночью, пылала звезда.

С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье.

Когда совсем рассвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды.

— Совершенно нестеровская Россия, — сказал вполголоса кто-то из нас.

Мы привыкли говорить «левитанские места» и «нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, может быть от-

того, что каждая встреча с этими местами — вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков.

С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь.

Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами.

Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала в глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых.

Медленно поднялось солнце, — размытое, цвета соломы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок. Заколдованный край просыпался.

Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне. Сладко пахло багульником. И все пел и пел, приближаясь к нам, пастуший рожок.

На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы бренчал на шее медный «болтун».

— Вот это дело! — воскликнул пастух, снял шапку и поклонился. — Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают.

— Это почему же?

— Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние. Дальше деревень нет на сто километров. Один лес.

— Какая это деревня?

— Называется она по-разному. По-новому — Гришино, а по-старому — Заводской Посад. Тут при государе Петре был железный завод.

Гришино оказалось обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть: в резных наличниках на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над частоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин — то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявой герани, расцветающей из банок тушенки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки.

В конце деревни, в уличке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая. Это была Пра.

Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце, — так всегда бывает, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи — неторопливо, обдуманно, в полную меру сил.

Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке.

— Пожалуйте в горницу, — приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. — Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут, видать, московские, веселые, образованные. Мы с Алешей прохожим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок.

В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу и ярко цвели; им было хорошо, должно быть, в этой теплой светлой избе.

— Сейчас Алеша взойдет, он умывается, — сказала женщина. — Двое их у меня, ребят. Алеша да Катя. Алеша — председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике под Клепиками. Небось проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти.

Мы вспомнили, что и вправду шли ночью по странной упругой дороге.

— Это вата и есть! — засмеялась женщина. — Вам невдомек.., А вот и он, мой Алеша.

В горницу вошел юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках навыпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми, медного отлива волосами, потом выпрямился, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные.

Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил, что Алеша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом. Он усмехнулся:

— Возможно. Мы ведь с ним земляки: оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали: «Алеша Есенин».

— А вы любите есенинские стихи?

— Не все. Иные вещи люблю. Например, про «серенький ситец наших северных скромных небес».

Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Софроновым. Потом заговорили о лесах, гришинском колхозе, обо всем этом крае.

— Колхоз у нас богатый, — сказала старуха. — Видали коров? Сытые, молочные. Ярославки. Тут пастбища густые, медоносные. У нас и артель работает. Алеша ее основал. Дуги делают, колеса, бочонки, ульи. Край обильный! Одних грибов сколько! Здесь их не то что собирать — косить можно. Верное слово!

— Да, — заметил Алеша, — край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя.

— А что?

— Да ничего... Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык.

— К такой прелести разве привыкнешь! — тотчас согласилась Алешина мать.

В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в паневе, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком.

— О господи! — запела она плачущим голосом. — Добрым людям гостей бог посылает, а я к тебе, Леша, со своей нудой да бедой.

— Что случилось, бабка Настасья?

— Взял бы ты ремень да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне, старухе, малого пороть, хоть он мне и внук.

— За что же его пороть? — спросил Алеша и усмехнулся.

— Как за что? Я, милый, законы хорошо-о знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать? Есть! Даже в песне поется: «Старики везде у нас в почете». Сама слыхала, ей-богу! А он чего делает, Санька! На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо принесть, и печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать, и то, и се. Верчение такое, спаси господь! И все я одна. А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока — только я его и видела, вихрастого. Зальется, враг его расшиби, на цельный день на выгон, кожаный шар ногами гонять. И кто его только выдумал, тот футбол проклятый! Бьют и бьют от зари до зари, подметки себе начисто поотбивали. Носятся как оглашенные, и все не то кричат, не то лают: гол да гол! А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! Нет того, чтобы бабке помочь, а все — гол да гол!

— Это верно, — согласился Алеша. — Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.

— А надысь, как попали шаром по избе, — ой, какой стра-ах! Вся изба затряслась, затрепетала, а

кочеток в сенцах как крикнет дурным голосом, как взовьется да головой трах об стреху! Упал, глаза закатил. Я его водой отливала; чуть было не помер в одночасье мой кочеток. Сам посуди: как не испугаться? Тут и человек сомлеет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?

— Не беспокойся.

— Ну, спасибо!

Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе:

— Санька! Подь сюда! Я те покажу, как футболом займаться, лодырь ты этакий!

Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами. Алеша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли на двести семьдесят третий лесной кордон: места там замечательные.

За Прой мы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над полянами.

Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее, сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода — старица Пры, заросшая последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересеченным теплыми полосами света.

Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясное курлыканье журавлей, стук дровосека-дятла.

Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным темным ольшаником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи.

Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти про-

зрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, — все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб боровик.

Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист осины лежал на этой воде, как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни.

Если бы можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу!

Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик *Алексей Желтов*».

Вокруг скамейки, сколько бы мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок — так безлюдна

была эта дорога. И тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, за неделю пройдут два-три человека. Дорога, судя по карте, терялась километрах в пяти, в чащах за озером Линёвым.

Кордон стоял на бугре над тихой заводью Пры. На крыше его был приколочен дощатый щит с черным номером по белому полю — «273». По этому номеру определялись самолеты, пролетавшие над лесами.

Лесник Алексей Желтов, обветренный старик в выгоревшей зеленой фуражке со значком объездчика на околыше — двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону.

Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим видом Алексей Желтов (он же «дядя Леша») хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку и что он, как человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся.

Разговор, начавшийся с дядей Лешей, был уже нам знаком — хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан.

Поговорили о засухе, о том, что где-то — надо думать, в стороне Криуши — горит лес, об урожае, новостях из газеты, ярмарке в Клепиках, но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив, — таков был нерушимый обычай в этих местах.

Поговорили, напились воды из родника под сосной, похвалили воду, покурили, и только тогда разговор перешел к главному: можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди Леши и согласится ли его старуха нам готовить?

— Сеновал большой, сена много, живите сколько хотите. Я всегда гостям рад. А вот насчет пропитания — это дело не мое. Надо спросить мою старуху, бабку Аришу. Уж и не знаю, согласится ай нет. Дело ее, хозяйское. Пожалуйте в избу, там и рассудим.

Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с черным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек! Совсем это немыслимое дело! А вдруг она не угодит, как в запрошлый год не угодила лесничему. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и посмеялся над ней, а она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар — дело пустое. А вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованные, а у нее кулеш хоть и густой, да простой.

На все наши уговоры бабка упрямо отвечала:

— Да уж и не знаю, как быть...

Потом она неожиданно всполошилась:

— А чего ж вы мешки ваши да ружья у порога кинули? Несите в избу. Ты что сидишь? К легкому табаку пристраиваешься? — прикрикнула она на старика. — Вещи подсоби внести. Люди притомились, всю ночь шли. Тебе только бы дорваться до разговору. Поживут у нас подольше — успеешь языком намолоть.

Она начала торопливо вытирать дощатый стол.

— Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите: утреннего или вечернего? Самовар раздую, язей зажарю — старик их нынче поймал. А там видно будет.

Обычай был соблюден, и с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас, как о родных детях. Глаза ее светились лаской и волнением, и она все повторяла:

— Господи, три года никто не гостил! Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются! Они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомани всю жизнь просидела. Дочки у меня славные, красивые! И сыны тоже. Сейчас они все в лесу, на обходе. Отцу помогают. У нас обход бесконечный: одному человеку никак не управиться.

Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал

бездонный вязкий ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины.

Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей.

Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа — только следы волков, лосей и птиц.

Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза.

Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.

Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку.

Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в осеннем небе спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда струится эта река, почти на двести километров только лес, лес и нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смоло-

куров и тянет по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.

Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко. Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы.

Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая туманка еще лежала в низинах.

А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен — золотых, синих, зеленых и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зеленого цвета.

Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.

Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба... Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах — озона и ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей.

Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, вернее всего можно назвать то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед не поддающейся никаким описаниям прелестью родной стороны.

Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека.

А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в труде, ясен

в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.

Недаром дядя Леша все беспокоился, вздыхал и ждал дождя: уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар.

Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Леша радовался и бормотал:

— Дождик-то! А! Хорош дождик! А то лес как трут: того и гляди, сам загорится!

По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя Леша сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в Клепики к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков.

К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Леши. Мы застали их, смущенных и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой.

Девушки неистово терли мелом и без того ослепительные зубы, а вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях, смуглые, золотоволосые. Даже опущенные ресницы не смогли скрыть блеска их глаз.

Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об «Угрюм-реке» Шишкова (он только что прочел эту книгу), о своей затаенной и уже осуществившейся мечте: он уезжал на днях во Владимир учиться в лесной техникум. А младший молчал, улыбался и тихонько наигрывал на гармонике:

Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист...

Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно за-

манчивого мира, куда они рано или поздно все равно попадут.

Дня через два выяснилось, что дядя Леша с семьей не единственные обитатели этой глухой стороны.

Мы ушли далеко вниз по Пре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они несмело подошли к нам, сказали: «Здравствуйте!» — и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу.

— Ну как? — шепотом просипел старший мальчик. — Клюет?

— Клюет понемногу.

Мальчики поглядели друг на друга, помолчали, потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга.

— Вы откуда взялись?

— С выселок.

— С каких выселок?

— С Жуковских. Это в лесу. За четыре километра от дяди Леши.

— Сколько же у вас дворов на выселках?

— Два двора и есть.

— А куда вы идете?

— Да к вам.

— Как так к нам?

Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого.

— Ты скажи, — прохрипел старший.

— Нет, ты. Ты старший. А я маленький.

— Как так к нам? — снова спросил я.

— Письмо тебе принесли.

Тайна явно сгущалась.

— От кого?

— От охотника. Тоже московский. Он у нас на выселках живет.

Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом:

«Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад и очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселки на кружку чаю». Подпись была незнакомая.

— Как вы нас здесь нашли?

— По следам. Тут недалеко. Мы километров десять всего к вам и бегли.

— Что ж вы сидели полчаса и молчали? И письма не отдавали?

— А мы заробели, — смело признался старший.

После этих слов мальчишки разом встали и побежали в лес. Младший все оглядывался на бегу и спотыкался.

Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь «летучую мышь».

Ночной туман уже лег на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путем. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю: корни деревьев, траву, темные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры.

Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков.

Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем в пустой черной избе, куда все время старался пролезть из сенцев теленок.

Охотник оказался работником Торфяного института. Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими в эти места за последние несколько лет. Как же было не зазвать нас к себе!

Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный ее свет проникал в чащи, где все трубил, печально звал кого-то лось.

На кордоне горел свет в оконце: нас ждали. Дядя Леша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1948 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и тихонько, покачиваясь, напевали:

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни.
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни...

Я проснулся на сеновале поздней ночью. Луна зашла. Сквозь щели в тесовой крыше светились звезды. Далеко, казалось на конце земли, подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в теплое сено, слушать звуки этой ночи, представлять себе это полесье, темные дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только дотлевают в тумане угли костра.

Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей.

1948

РАВНИНА ПОД СНЕГОМ

Снег начал идти с вечера и к ночи запорошил всю равнину.

Океан катил на песок длинные волны. Они шумели без устали — месяцы, годы, — и Аллан так привык к этому шуму, что перестал его замечать. Наоборот, Аллана поражала окрестная тишина. Ему казалось, что она выпала на землю вместе со снегом.

Холодный снег и черные оконные стекла с отражением свечи. Должно быть, эту свечу было видно с океана, где волны мотали тяжелую рыбачью барку. И рыбаки, глядя на слабый огонь, думали о кипящем котелке и сухой постели.

Аллан усмехнулся. Вечный самообман, вечная наивность человеческих надежд и мечтаний! Хороши бы они были, эти рыбаки, если бы им удалось пристать к берегу и они прошли бы через равнину к его дому! Что бы они увидели здесь? Пустую комнату, свечу, солдатскую койку и холодную золу в камине. И его, Аллана, закутанного в рваный шарф, озябшего и до того печального, что он даже не мог говорить. Потому что он был одинок, как никто. Даже мышь, что шуршала в золе, была счастливее его. Она была серой и веселой мышью, а он был великим и никому не

нужным поэтом Америки — огромной страны, где сейчас начиналась эта затяжная зима.

Люди любят рассуждать о счастье. Но никто не знает что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и умения радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трех.

Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.

Он мог, сидя на камне у перекрестка, рассказать маленькому негритенку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритенок тоже хохотал и хлопал себя по бокам черными руками.

Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви был близок — на первой же остановке, где она сойдет. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память, и она не даст покоя.

Аллан так ясно представлял себе эту встречу, как будто он должен был тотчас сесть к столу и написать о ней. Усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой водой, фырканье лошадей, скрип песка под колесами — и потом, после нескольких его слов, мир каким-то чудом зацветет вокруг.

Женщина подымет глаза, улыбнется, и он заметит смятение на ее лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы иногда думаем втихомолку, но не верим в ее существование? Или безумный?

Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и морская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далеких холмов доносится гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание? Неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит ее рука и губы

силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого».

Он знает, что она права, что он разрушил освященное годами течение жизни, что отныне ее комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и добропорядочные гости — все это покажется мертвым и скучным, как обыденный день, заполненный заботами свыше сил.

«Меня могут обвинить в пристрастии к женщинам и детям», — подумал Аллан.

Ну, хорошо. Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику больше ничего не оставалось, как умереть.

И он умер, конечно. Но ночью, за два часа до смерти, он открыл глаза и спросил Аллана:

— Сосед! А, сосед! Вы знаете, что такое леса?

— Знаю, — ответил Аллан, немного подумав. — Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в темной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь, в пяти ярдах, зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там — нет, не дублоны! — а подвенечное платье для вашей дочери. Ее, кажется, зовут Чармен?

— Да, — сказал лесоруб, — ее зовут Чармен.

— А вам случалось, — спросил Аллан, — встречаться с глазу на глаз с медведем?

— Еще бы! — ответил лесоруб. — Он долго смотрел на меня своими зелеными буркалами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен, — неожиданно добавил лесоруб, — всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.

Чем можно было его утешить? Только ложью.

— Вы знаете, — сказал Аллан, — стоит вам закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен — и все случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Ветер всегда затихает к вечеру, и солнце

освещает сосны над вашей лачугой. Смотрите на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако, такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звезды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, черт! Я позабыл ее слова.

— А-а, — догадался лесоруб, — это, должно быть, о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню?

— Да, да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою ее, но тихо, чтобы не услышали сиделки. Они думают, что все доставляющее нам радость служит во вред.

Он начал напевать:

Тут-тук! — стучится в дверь
Какой-то мокрый зверь —
Голодный медвежонок.
«Прошу меня простить, —
Нельзя ли одолжить
У Чармен мне деньжонок?»

Лесоруб уснул под эту песню и так и не проснулся. Жизнь затихла в нем, как отдаленный звон.

Лесоруба похоронили на кладбище недалеко от больницы. Между зеленых могил паслись стреноженные лошади.

Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал:

«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 63 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».

Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нравилось думать, что под этим еще не заросшим травою холмом лежит человек, который мог бы стать его другом.

Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни,

подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.

Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.

Аллан подошел к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.

— Никогда! — сказал Аллан и поежился от холода. — Ни-ко-гда! — повторил он.

Никогда не вернется прожитая жизнь. Ему было жаль ее. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то все же останется несколько десятков дней, ласковых и тихих, как падение этого снега.

Вирджиния умерла. Ее звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний легкий цветок.

Он виноват в ее смерти. Он был не способен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врача, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.

Что он мог еще? Только укрывать Вирджинию своим рваным пальто, когда она лежала в жару на соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слезы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал ее своей теплотой.

Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас, — ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зеленой воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолетными, как шорох песчинки.

— Неужели никогда? — спросил Аллан и повернулся лицом к темной комнате.

Как долго он живет с этими скудными вещами! Как безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно было разговаривать вполголоса, но все равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.

— Почему вы живете, а ее нет? — громко спросил Аллан.

Вещи молчали.

— Ну, ничего, — сказал Аллан, — не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.

Вещи не отвечали.

— Боже мой! — сказал Аллан. — Как пережить эту ночь!

Он сел к столу и начал писать. Это его немного успокоило, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое, а в лучшем случае почтительное недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.

Как смеет этот нищий поэт разрушать своим острым и сверкающим словом добропорядочность и твердые понятия и превращать трезвый мир в чучело для насмешек! Как он смеет выдавать свое воображение за нечто столь же действительно существующее, как существуют биржи, звездный флаг, церкви и конторы!

Что это дает, кроме короткой ложной радости и длительной сосущей под сердцем тоски? Зачем отравлять сердца и рассказывать прекрасные небылицы? Для лишних слез? Для разочарований? Для чего?

«Неправда! — говорил про себя Аллан. — Я — веселый легкий человек. Не хмурьтесь! Засмейтесь мне навстречу. Я хочу прибавить вам каплю счастья. А вы отшатываетесь от нее, как от яда. Глупцы!»

«Я глубоко убежден, — писал Аллан, — что человек может совершать чудеса. Если мне не удастся доказать это, то через пятьдесят или сто лет появится другой человек, который докажет это лучше меня. Я вовсе не хочу сказать — избави господи! — что именно я способен сделать что-нибудь чудесное. Но все же я заметил, что люди охотно верят в те

истории, которые я для них выдумываю, и тотчас рассказывают о них друг другу. Так у людей возникает твердое убеждение в существовании того, что выдумано мной и никогда не бывало. А разве это не чудо?

Мы знаем, что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна...»

Кто-то сильно постучал, должно быть кулаком, в стену. Аллан прикрыл исписанную страницу валявшимся на столе листком пожелтевшей бумаги с кривым рядом цифр, встал и вышел в прихожую. Дуло в разбитое окно, и было слышно, как за порогом нетерпеливо бьет ногой по мерзлой земле и фыркает верховой конь.

Аллан, не окликая ночного гостя, распахнул дверь.

— А-а! — сказал он. — Доктор Грегори! Как это вы решились приехать в такую ночь?

Грегори, нагнувшись, вошел в прихожую, снял шляпу и стряхнул с нее снег. Это был высокий сухой человек со щеками кирпичного цвета. Он прищурил и без того маленькие глаза, улыбнулся и протянул Аллану руку.

— Мой долг, — ответил он хрипловатым голосом.— Я был здесь неподалеку, у Фридера. Он подыхает от водянки. Вас уже две недели не видели в Вест-Пойнте. Я решил заехать по пути и проведать, в добром ли вы здоровье, Аллан.

Они вошли в комнату.

— К сожалению... — пробормотал Аллан и взглянул на черный холодный камин.

— Не стоит беспокоиться, — ответил Грегори, — раз в кармане всегда есть вот это... А стаканы найдутся.

Он вынул из кармана и поставил на стол бутылку виски.

Сначала они выпили молча и медленно. Океан ревел все яростнее, он совсем осатанел. Пламя свечи

трепетало на мраморном лице богини Паллады — ее бюст стоял на старом шкафу.

— Пыль у вас, — сказал, наконец, Грегори. — Пыль и холод!

Он обернулся к Палладе.

— Разбейте эту женскую голову, эту богиню победы!

— Зачем?

— Она вам не принесла ни победы, ни даже успеха.

— Как знать, — сдержанно ответил Аллан.

— Что там знать! — воскликнул Грегори. — Ваша участь ясна, как вот этот стакан. Считайте себя кем хотите. Посланником неба. Или ада. Мне все равно. Что вы еще можете выдумать, Аллан? Многое? Прекрасно! А что вы за это получите? Пыль и холод? И писк мышей вон там, в камине?

Аллан пристально посмотрел на Грегори. Доктор мало выпил, но был уже пьян и как всегда начинал придираться. Аллан усмехнулся

— Вы гордитесь своим воображением, — сердито сказал Грегори. — А между тем не можете выжать из него ни цента. Вы не знаете, что такое жизнь. Поездите по ночам, как я. Под этим снегом. На старой лошади. А чего ради? Ради благодарности нищих и бездельников? Из нее, так же как и из вашей поэзии, не выжмешь гроша.

— Я слушаю вас очень внимательно.

Доктор стукнул кулаком по столу.

— Черт меня побери, но я заслуживаю лучшего существования! Я просился лекарем в армию генерала Тейлора. Мне нравилась эта мексиканская война. Там здорово грели руки.

— Америка полна негодяями и искателями приключений, — мягко заметил Аллан.

— Искателями золота, — поправил Грегори. — Не стоит быть простачком в наше время, Аллан.

Грегори в упор посмотрел на Аллана.

— Я, кажется, чуточку выпил. Да! Так как же, Аллан? Можете вы из ваших мечтаний вытряхнуть хоть единый доллар? Сколько же после этого стоит ваша голова?

— Продолжайте!

— Хо! — крикнул доктор. — Я не дам за нее даже свой рваный зонтик.

— У меня нет охоты, — спокойно сказал Аллан, — слушать *любую* пьяную болтовню. Вы мне помешали.

— Все равно у вас нет выбора собеседников, — пробормотал Грегори. — Чему я помешал? Изобретению философского камня? Или эликсира молодости?

Глаза Аллана почернели от гнева.

— Хорошо! — воскликнул он. — Раз вы издеваетесь над воображением... видите этот рваный листок с цифрами?

— Счет от лавочника, — сказал Грегори и налил себе виски. — Вижу. Посмотрим, что вы еще выдумаете. В вашем теперешнем положении.

— Это не счет от лавочника. Вы недогадливый человек, Грегори. Особенно когда напьетесь и грубите. Я нашел этот листок в старом фолианте. В описании открытия Флориды адмиралом Понсэ де Леоном. Я купил эту книгу у негра в Вест-Пойнте. Она попахивает перцем и веками.

— Просто пахнет негром, — возразил Грегори.

— Этот листок был вклеен между двумя страницами. Судя по чернилам, бумаге и почерку, ему около двухсот лет. Это тайная запись. Вы могли бы ее разобрать?

— И не подумал бы!

— Для этого у вас просто не хватит гибкости ума, — вежливо объяснил, улыбнувшись, Аллан. — Нужно найти ключ. Я нашел его и восстановил эту запись. За несколько часов.

— А-а, — небрежно протянул Грегори. — Что же там было такого особенного?

— В школе вы учили историю завоевания Америки. Вы знаете, конечно, о каперах и пиратах. Одного из них звали Блейк. Он был англичанином, но работал на испанского короля.

— Спасибо за свежие новости! — пробормотал Грегори. — Блейк! Он был самым богатым подлецом на этой земле.

— Перед смертью Блейк зарыл свои богатства. Никто не знает где. Их искали сто лет и...

— Нашли? — спросил Грегори.

— Нет. Но сейчас их найти ничего не стоит.

Грегори безнадежно махнул рукой.

— Ох, это старые сказки, Аллан! Для парализованных бабушек около камина.

— Записывайте! — строго сказал Аллан. — Я буду расшифровывать эту ветхую запись и диктовать. Я читаю теперь эти цифры с такою же легкостью, как вы рецепты. Но до сих пор я не удосужился выразить эту математическую запись в словах.

— Забавно! — пробормотал Грегори, взял перо, резко отодвинул рукописи Аллана и приготовился писать.

— Пишите! «Я, божьей милостью известный всем Блейк, завещаю тому, кто сможет прочесть эту предсмертную запись, не обращать ее во зло людям, а применить для добра. Я беру с него клятву в этом перед престолом всевышнего. В случае если он найдет мои сокровища, накопленные в морских схватках, — да отпустит мне господь невинно пролитую кровь! — то пусть возьмет себе только сотую часть, а все остальное отдаст первой же девчонке, какую он встретит в окрестностях, при условии, что, кроме рваного платья, на ней ничего не будет надето.

Если этот мой приказ не будет исполнен, то в день воскресения мертвых я встану из могилы и сочтусь с тем обманщиком самым страшным судом, какой способен придумать человеческий разум.

Клад зарыт к югу от форта Брунсвик, на острове Джекиле, под третьим холмом, если идти от северной оконечности острова, от мыса Иглы. Найдя середину холма, надо отметить сто семнадцать шагов к юго-юго-западу, к тому месту, где среди наваленных в беспорядке камней лежит обломок черного лабрадора. От этого обломка отсчитать еще тридцать шагов на двести сорок один градус и тогда начинать работу.

Сокровища эти могут ослепить весь человеческий род. Даже всемилостивейший мой король не обладает и третьей частью таких богатств, хотя в его

владениях не заходит солнце и любой ураган затихает, не долетев до их середины».

— Переписали? — спросил Аллан, выждав, когда Грегори допишет последнее слово.

— Да. Занятная штука.

— Благодарю вас, — Аллан взял написанный Грегори листок из-под руки у доктора и небрежно засунул в старый фолиант. — Теперь вы убедились в силе воображения?

Грегори медленно взглянул на Аллана, подмигнул на фолиант, хлопнул себя по коленям набухшими, красными руками и захохотал.

— Вы здорово умеете морочить голову, — признался он добродушно. — Что же вы до сих пор не выкопали этот клад, Аллан? А? Нет времени? Или при вашем богатстве вы в нем не нуждаетесь?

Аллан не ответил.

— Ну ладно! — примирительно сказал Грегори. — Хватит. Оставим эти детские бредни. Меня сейчас занимает другое. Как вы?

— Бессонница, — ответил Аллан. — Это тяжелее всего. Мне хочется записать мысли, что проносятся всю ночь напролет в моей голове. Но тогда они остановятся.

— И слабость? — спросил Грегори.

— Да. И слабость.

— Нервы натянуты с силой струны, — заметил Грегори. — А прочности в них не больше, чем в паутине.

Он задумался.

— Что же мне делать с вами? Я вам скажу откровенно — надо лечь в больницу.

— Опять! — с тоской воскликнул Аллан. — Нет! Ни за что!

— О боже мой! — вздохнул Грегори. — Все не так! Я могу дать вам порошки от бессонницы. Но это вас не спасет.

— Меня ничто не спасет.

Грегори строго посмотрел на Аллана, достал из жилетного кармана несколько бумажных пакетов, порылся в них и протянул один Аллану.

— Примите сейчас. Тогда к утру уснете. Можно с виски. Это будет сильнее.

Аллан высыпал в стакан виски белый мохнатый порошок и выпил залпом.

— Ночь кончается, — сказал Грегори. — Я бы мог посидеть у вас до утра, чтобы проследить за вашим состоянием. Но кто же за мной закроет дверь, когда вы уснете?

— Я могу закрыть ее сейчас.

— Вы, как всегда, чрезвычайно любезны.

Грегори встал так резко, что порыв воздуха погасил свечу. Тотчас ночь побледнела, и Аллан увидел за окном в освещении, похожем на отблеск лунного холодного огня, пенистую даль океана и черное дерево под окном.

— Ну что же вы? — зло сказал Грегори. — Будете закрывать дверь или нет? Советую зажечь свечу.

Грегори пошел в прихожую и наткнулся в темноте на стул. Он вышел, отвязал коня, похлопал его по шее, потом крикнул:

— Спокойной ночи, Аллан!

Аллан не ответил. Он вышел в прихожую, когда за открытой дверью был уже слышен удаляющийся топот копыт. Лошадь шла галопом.

— Четкий топот копыт раздавался в долине! — проговорил Аллан, стараясь, чтобы ударения в словах совпадали с ударами лошадиных копыт. И повторил: — Четкий топот копыт раздавался в долине!

Он вернулся в комнату, зажег свечу, взял фолиант, опрокинул его над столом и потряс. Потом он перелистал весь фолиант по страницам. Записки, сделанной Грегори, не было. Аллан засмеялся:

— Я победил. Даже эту сухую подметку. Пусть теперь перероет весь остров Джекиль. Там столько песка, что хватит копать на тысячу лет.

Аллан взял листок с цифрами. Это была страница, вырванная из школьной тетради. В нее Аллану завернули в какой-то лавчонке сыр — на бумаге остались жирные пятна.

«Бедный мальчик! Он никак не мог решить уравнение с двумя неизвестными».

Далекий пушечный удар внезапно прокатился над океаном. Блеснул багровый свет.

Аллан погасил свечу и вгляделся в темноту. Что там происходит? Стремительная заря окрасила волны в мрачный цвет меди, и стал виден сорокапушечный корабль. Он шел под полными парусами и вел огонь. На его мачте вился черный флаг с изображением белой человеческой руки.

Блейк! Кого он преследует? Дым застилал волны. Да, конечно, это был Блейк, гость из прошлого века.

Но почему же он уже идет от берега к дому Аллана, увязая в песке, и ветер треплет кружевные обшлага его камзола? Толстоносый Блейк с обожженным лицом. Разбойник и шутник, придумавший изобразить человеческую руку на флаге.

«Мне будет легко сговориться с ним», — сказал Аллан, закрыл глаза и положил голову на стол.

Стало темно и душно, но Аллан все же видел, как в этой темноте равнина зацвела фиалками от края до края. Цветы испускали тонкий звук, будто в каждом была заложена маленькая струна.

«Да это же сон! — подумал с облегчением Аллан. — Какая сладкая отрава! Хочется жить, но нет сил ей сопротивляться. Вирджиния, уже зацвел твой троицын цвет. Дай руку! Вот так. Почему она ледяная и я не узнаю твой голос? Я знаю каждый твой палец, потому что всем им я когда-то рассказывал по очереди сказки. Что это за пропасть, куда меня тянет, как в Мальстрем?

Помоги мне! Открой мне глаза, Вирджиния!»

Утром к дому Аллана подошла робкая худенькая девушка — Чармен Бирн.

Ветер стих, но было пасмурно. Над океаном поблескивала синева.

Чармен постучала, но никто не ответил. Она заметила, что дверь не заперта, и тихонько вошла в дом.

Худой человек небольшого роста сидел у стола. Голова его лежала на раскрытом фолианте.

— Мистер Аллан! — позвала Чармен.

Человек не ответил.

Тогда Чармен с бьющимся сердцем подошла к Аллану и подняла его голову. Он был мертв.

Чармен с трудом уложила его на солдатскую койку.

На шее у Аллана висел на цепочке маленький медальон. Чармен открыла его. Там был портрет молодой женщины редкой красоты. Сбоку рукой Аллана было написано: «Моя мать».

Чармен наклонилась, осторожно взяла ладонями голову Аллана, нежно сжала ее и поцеловала в губы.

Лицо Аллана было прекрасно. Казалось, никогда он не был достоин большей любви, чем сейчас.

Аллан был похоронен на песчаной дюне вблизи океана. На могиле его положили каменную плиту с его именем и надписью, что он прожил на этом свете всего сорок лет.

Через год после его смерти, в бурную и холодную ночь, к могиле подъехал на старом верховом коне доктор Грегори. Он соскочил с коня, оглянулся, подошел к могиле, быстро вынул из-под плаща тяжелый молоток и со всего размаху ударил им по могильной плите. Плита раскололась на несколько частей.

Конь, испугавшись удара, отскочил и помчался галопом вдоль берега. Грегори молча побежал за ним, но замешкался, чтобы закинуть молоток в океан. Потом и конь и Грегори исчезли.

Весной из трещин могильной плиты потянулись ростки троицына цвета, и вскоре вся плита покрылась тесной толпой этих легких цветов.

1949

ЗАПИСКИ ИВАНА МАЛЯВИНА

Малявиных по деревне много. Все они родственники.

Есть Андрей Малявин, печник, человек нерешительный. Когда его зовут выложить печку, он никак не может назначить цену за работу.

— Ты пойми, — говорит он умоляющим голосом, — что мне цена! Ежели печка не получится, так я и рваного рубля не возьму. Мне главное — дать огню правильный ход. А цена, браток, сама определится. Об цене ты позабудь.

Есть Прохор Малявин, колхозный перевозчик на реке, человек рыжий и гневный.

Уже поздняя бурая осень, а он все еще ругается у себя в шалаше из-за того, что этой весной мальчишки угнали у него лодку и он искал ее по зарослям целую ночь. С тех пор он начисто отказался перевозить мальчишек в луга. Мальчишки даже боятся подходить к его шалашу и кричат издали:

— Дядя Прохор, перевязи! Тялушка заплуталась в лугах. Маманя велела пригнать.

— Я тебе покажу «перевязи»! — кричит в ответ Прохор. — Марш отседова! Вострый какой!

Есть Алексей Малявин, сельский портной, щупленький старичок в очках с железной оправой. В избе

у него всегда пусто и чисто — ни одного лоскутка; ни одной нитки на полу. На косых стенах висят вперемешку вырезанные из модных журналов рисунки красавцев в шубах с меховыми воротниками и портреты родственников Алексея Малявина, написанные маслом. Портреты эти писал в молодости сам Алексей Малявин, и писал всего тремя красками: коричневой, черной и белой.

Был недавно Кузьма Малявин, человек больной и добрый, но очень твердый во взглядах. Еще в царское время, когда Кузьма работал при типографии в соседнем губернском городе, он печатал прокламации. Потом заболел, вернулся после революции в деревню, но поселился поодаль, на лесном озере, и перетащил туда нескольких приятелей. Так возник на озере маленький колхоз. В нем Кузьма и умер два года назад.

Иван Малявин, о котором речь идет ниже, — сын Кузьмы, человек еще молодой, но таких же твердых взглядов, как и отец.

Некоторые из Малявиных помнят, что из их семьи вышел известный художник Малявин, писавший хороводы загорелых баб. Но большинство Малявиных об этом не знает.

Ивана Малявина, или попросту Ваню, я увидел впервые в 1932 году, когда он был еще мальчишкой.

И вот сейчас, через семнадцать лет, Ваня принес мне ученическую тетрадь в одну линейку с портретом Пушкина на обложке.

— Прочитайте, если будет охота, — попросил меня Ваня. — Может быть, пригодится для вашей писательской деятельности. А нет — так киньте эту тетрадку в печку.

Я был занят и несколько дней не брался за Ванину тетрадку. За это время в деревню заявилась зима. Пришла она с озорством, как девчонка, что долго прячется, а потом выскакивает из-за угла и кричит: «А вот и я!»

Мы сидели в теплой бревенчатой комнате за вечерним чаем. Гудела под потолком старая лампа «молния». Лампа гудела низко и важно, а самовар в ответ что-то жалобно попискивал, будто оправдывался.

Кто-то тяжело затопал сапогами в сенях и крикнул:

— Что же вы сидите? Зима на дворе.

Мы вышли. Медленный снег непрерывно опускался на землю. Она уже вся была в его белизне, в мягкой мохнатости и безмолвии. Будто все живое затихло, чтобы услышать тот слабый шорох, какой бывает, когда снег, падая, цепляется за ветки.

Все сырое и темное, к чему за эту длинную осень привык глаз: кривые заборы, черные кряжи деревьев, тесовые крыши, скворечни и крылечки — все было облеплено снегом. Должно быть, за пеленой облаков взошла луна. Зеленоватый свет распространялся окрест. Близкий сосновый лес поседел от снегопада и, казалось, курился дымом.

Зима всю ночь смотрела в окна. Пламя лампы потускнело и сделалось желтым.

Ночью я прочел Ванину тетрадку. Она была озаглавлена: «Мои записки». Перед текстом стоял эпиграф из Никитина:

И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! Здесь край моих отцов!»

«Родился я, — писал Ваня, — в ноябре 1923 года на озере Сгодине, в отцовской избе. Отца моего, Кузьмы Леонтьевича, не было в ту пору дома: он ушел за почтой в соседнее большое село Заборье и там заночевал из-за непогоды.

Мать мне потом рассказывала, что в ночь моего появления лил холодный дождь, бушевал ветер и озеро наше шумело, как море. Соседская бабка, что меня принимала, сказала матери: «Будет у твоего сынка жизнь бурливая, переменчивая: глянь, какая непогодь шумит на дворе». Но бабка, пожалуй, ошиблась: до сих пор у меня в жизни не было ничего бурного и замечательного. За будущее, конечно, поручиться я не могу.

Отец мой, Кузьма Леонтьевич, был человек очень скорый на возмущение всякой неправдой. Он считал, что главная сила заключается в знании: деньги и

украсть могут, да и потерять их недолго, а вот знание уворовать у тебя никто не в силе.

Жизнь у нас на озере первое время была трудноватая, живности никакой: одна корова да пегая кошка, а в огороде росла только картоха. Кругом пески. На этих песках хорошо идет сосна да вереск. Овощи такой почвы не любят.

Выручало, конечно, озеро: в нем водился крупный окунь, черный, будто вымазанный сажей. Отец ловил окуня с челна на блесну.

Но хоть жизнь была сперва и трудная, но отец так сообразил, чтобы дать всем детям образование.

Мать, бывало, просит: «Хоть дочку Оленьку не обучай, оставь при семье. Или младшенького, Володьку. Образованные-то дети враз из дому разлетятся, а мы с тобой на этом озере так и будем одни сидеть малосильными стариками».

Однако, отец ее не слушал и даже сердился. «Не для того, говорит, государство установило обязательное обучение, чтобы мои дети росли в темноте».

Вышло, конечно, по-отцовскому: старший брат, Миша, сделался ученым, биологом; средний, Вася,— учителем географии в селе Гришине, в сорока километрах от нашего озера; Оленька — садоводом, а младший, Володя, сейчас в армии, но собирается потом учиться на лесничего. Только вот из меня пока что ничего ученого не вышло. Учебе моей помешала война. Но жалеть не приходится — надо же кому-нибудь остаться и при земле, при колхозной работе, при сельском хозяйстве.

Школы у нас на озере не было. Я бегал в школу семилетку за девять километров в Заборье. Привык к этому быстро, только в ноябре было невесело. Случится такая погода, что даже названья ей не придумаешь. Сказать «слякоть» — этого мало. Сутками идет не то дождь, не то снег. Под ногами ледяная каша по косточку. Небо черное, тяжелое — вот-вот свалится на землю со своими непроглядными тучами.

Бежишь из школы, уже темно, лес в тумане, а ты только и думаешь, как бы поскорее добежать до того

леса. Потому что в лесу во всякую погоду тихо и как будто тепло.

Отец мне всегда наказывал: «Ты, Ваня, как услышишь волков, так, главное, не пугайся. Это все, говорит, бабьи сказки, что волк человека трогает».

Я, конечно, отцу верил. Он зря не станет говорить. Но первое время, как услышу волчий вой, все равно трясусь. Один раз даже залез на сосну и просидел на ней часа два.

Вой, правда, неприятный — с разводами, с дрожью, будто волк жалуется на злое свое существование.

Потом я привык, но, однако, всегда носил в кармане коробок спичек и подбирал на дороге сухую сосновую ветку, чтобы хвоя на ней была погуще. Как услышу вой, сейчас эту ветку зажгу и иду с ней, как с факелом. Волк огня не терпит, уходит от него, и это очень заметно: сначала вой прямо рядом, потом все подальше, а потом уже чуть его слышно, и не разберешь, волк ли это, или просто почудилось мне со страха.

А как дальше выпадет снег, как подморозит — сразу легче. Светло и сухо. И лес стоит такой, как описано в сказке: будто толпа лесорубов с белыми бородами стоит, молчит, чего-то слушает. Только где-где треснет у кого сучок под валенком. И опять тихо.

Но зато уж как прибежишь домой — не нарадуешься. Керосиновая лампа горит, тепло, на столе самовар, и отец сидит в очках, читает. Он все больше читал произведения исторические.

Сидишь в старенькой избе, как в крепости, решаешь задания на завтра, а в стенке кто-то постукивает: тук-тук, тук-тук! Спросишь отца: «Чего это, батюшка, постукивает?» А он обязательно что-нибудь выдумает. «Это, говорит, таракан свои ходики заводит». Или еще что-нибудь лучше придумает: «Это, говорит, мужичок с ноготок себе в середке бревна стамесочкой каморку долбит». А ночью проснешься на полу, на сеннике, послушаешь, как озеро гудит по берегам, и погладишь теплую стенку: спасибо тебе,

мол, стенка, что ты нас от непогоды спасаешь и сон бережешь.

Учился я хорошо. Только книг, чтобы почитать, находилось немного. А мне было охота почитать про все: и про травы, и про моря, и про солнце и звезды, и про великих людей, и про революцию — про все то, что люди хорошо знают, а я еще не знаю.

Как-то летом зашли к нам в избу незнакомые люди. Шли они из Заборья на Урженское озеро ловить рыбу, заплутались и попали к нам. Было их трое — и все московские.

Отец, конечно, обрадовался. Он любил всяких захожих людей. А тут еще люди, видно, образованные — значит, пища для разговоров будет большая.

Народ у нас любопытный, особенно женщины. Стороннему человеку в наших местах просто гибель: высовываются, глядят на него из всех окошек, гадают, кто да что, перекрикиваются из избы в избу. А уж дорвутся до расспросов, так всю родословную выпытают. Тогда только и успокоятся. Иной мальчишка подойдет к незнакомому человеку, уставится на него и глядит-глядит до того, что просто неловко становится. В таких случаях у нас полагается говорить: «Не гляди, глаза лопнут!» Тогда, конечно, он обидится, отойдет.

Отец мой, Кузьма Леонтьевич, не терпел такого любопытства. Он никогда не приставал к людям с пустыми расспросами и нам всем наказал этого не делать. Потому, хоть мы и сообразили, что эти прохожие люди по их разговору и веселости вроде как будто особенные, но ни о чем их не спрашивали: авось сами расскажут.

Один был низенький, веселый и до того деликатный, что мамаша моя, Матрена Петровна, даже пугалась. Второй был вроде как военный: в защитной гимнастерке, в кубанке на русой голове, с полевой сумкой через плечо. Был он высокий, должно быть очень сильный и тоже веселый, но по-иному, чем первый, — будто с хитрецой. Все щурил, бывало, глаза и посмеивался. Звали его Аркадием Петровичем.

А третий был сухощавый, невысокий и тоже веселый, но будто немного потише, чем два первых.

Отец отговорил их идти на Урженское озеро: от добра, мол, добра не ищут. По правде сказать, наше озеро куда лучше Урженского: веселое, глубокое, берега лесные, вода светлая, и рыба в нем сильная, крупная.

Прожили эти люди у нас три дня. Мы, мальчишки, уж так старались, так выламывались, чтобы им угодить, что даже передрались один раз из-за этого. Потому что Володька заскочил вперед, раньше меня накопал им червей, а мы так договорились, что копать буду я, а Володька будет при мне вроде как помощник, как подпасок при пастухе. Мне, конечно, было это обидно. Я Володьку за это здорово оттаскал за вихры, но тихо, молча, в амбаре. И Володька ни разу не пискнул, не крикнул: знает кошка, чье мясо съела.

Мамаша моя, Матрена Петровна, была женщина очень легковерная и по развитию своему, конечно, не в пример с отцом. Поэтому и вышел с ней конфуз.

Аркадий Петрович достал как-то вечером из рюкзака термос, попросил Матрену Петровну налить в него кипятку и снести на ледник. Мамаша решила, что хочет он заготовить себе на завтра холодной переваренной водицы, отнесла термос на ледник. А утром, когда все сели за чай, Аркадий Петрович попросил принести этот самый термос. Мамаша забеспокоилась: что ж это такое! Все люди пьют горячий чай, а он вздумал пить с утра ледяную воду. Так недолго и живот себе застудить. Но, однако, принесли термос. Аркадий Петрович откупорил его, и полился из него в кружку крутой кипяток.

Мамаша так и охнула, села на лавку, глядит на этот кипяток и крестится: «Свят, свят, свят, господь Саваоф!» А папаня смеется, даже слезы у него из глаз льются.

С тех пор мамаша звала Аркадия Петровича не иначе как «колдуном». Ушли они на третий день и наказали мне прибежать к ним в Заборье, принести брусники.

Я спрашиваю:

— А как же вас там найти, в Заборье?

— Спроси, — говорят, — где живут московские писатели. Тебе каждый покажет.

У меня даже дыхание стиснуло. Весь я покраснел, голову боюсь поднять.

«Какие же, думаю, это писатели? Как их звать? Может, я ихние книги даже читал?»

И тут я с отчаяния, что ли, или со страху совсем осмелел, забыл отцовский наказ не лезть к людям с расспросами и спросил, — правда, тихо, шепотом, так что они меня даже переспросили:

— А как же вас звать?

Сухощавый засмеялся и говорит:

— Вот этого высокого, в кубанке, зовут Аркадий Петрович Гайдар... А нас ты знать не можешь...

Я поднял на них глаза, а их и не вижу: туман у меня какой-то в голове. Аркадий Петрович взял меня за плечи, тряхнул и говорит:

— Ко всему будь готов, маслюк! Не пугайся. Все лапти, — говорит, — из одного лыка. Сегодня я, например, книги сочиняю, а завтра ты их будешь сочинять.

И вдруг запел во весь голос: «Сегодня я, а завтра — ты!» Под эту песню и ушли они по лесной дороге к себе в Заборье.

Я побежал к папане, рассказываю ему, кто у нас был, заикаюсь. Он подумал, посмотрел за окошко и сказал мне этак тихо, будто для одного себя:

— Это тебе удача, Ванюшка: «Школу» его ты читал?

— Читал.

— Вот то-то! И я читал. Ты к нему приглядывайся, к Аркадию Петровичу. Заимствуй у него мысли и поведение.

С тех пор я дневал и ночевал в Заборье, в доме, где жил Аркадий Петрович. Дом этот был старый, обширный, и столько в нем было выходов — и на улицу, и в сад, и во двор, и на поле, и в палисадник, и к соседям, — что просто заплутаешься.

Я прибегу, принесу брусники или грибов, а то и просто так прибегу, а меня обратно домой не пускают. Да мне и самому неохота уходить. Дадут мне всякие книжки и журналы — «Вокруг света» или «На суше и на море». Я сижу, читаю. Или что-нибудь строгаю с Аркадием Петровичем, чиню по дому, огород поливаю, а то наматываю жерлицы.

Вечером лампу зажигали яркую, керосиновую, пили вместе чай, и тут-то и начинались такие рассказы, что про всякий сон позабудешь. И про спектральный анализ, и про то, как Аркадий Петрович, когда командовал в гражданскую войну конным полком, забрал в музее для своих всадников седла времен Чингис-хана и как ему за это попало, и про морские маяки, как они устроены, и про осаду Зимнего дворца, и про московские театры, и про новые книги и стихи, и про движение планет в небесах — всего не перечтешь и не припомнишь. Одним словом, наслушался я за все это лето столько, сколько другой человек, может, за жизнь не наслушается.

Ничего в том доме, где жили Аркадий Петрович и его друзья, не делалось как обыкновенно, а все со смехом, с шутками, с подковыркой. Разыгрывали они друг друга все время. Только когда заходил разговор о халтурщиках — тогда я уже понимал, что означает это самое слово, — глаза у Аркадия Петровича делались синие-пресиние, сердитые и даже голос менялся: становился хриплый, гневный. Ой, думал я тогда, попался бы ему сейчас под такую руку какой-нибудь халтурщик — ничего бы от него не осталось, одна чешуя!

Главное, каждый день чего-нибудь ждешь интересного.

Лето было сухое, трава погорела, земля пошла трещинами. Ну и черви, конечно, ушли глубоко, никак их с той глубины не выковыряешь. Чего мы только не делали! И соленую воду лили на землю, и по ночам копали с фонарем — нету их и нету, будто кто их заколдовал.

А дни стояли теплые. Озера и старицы прямо застыли — не зарябят, не шелохнутся. И нельзя даже посидеть около них с удочкой — не с чем! Вот беда!

Аркадий Петрович тоже ходил хмурый. Видно, и ему было не по себе оттого, что пропадала рыбная ловля. Все утешал своих друзей, говорил:

— Что же это, мы так и сдадимся без боя перед червями? Быть этого не может. Это, — говорит, — позор для детской литературы. «Ребята, — говорит, — не Москва ль за нами?!»

Я хотел было бежать за червями в Ларино, там места сырые, мшистые, но Аркадий Петрович сказал мне, чтобы я повременил до утра. А утром услышали мы за воротами сильное шевеление, шум и перебранку. Открыли мы с Аркадием Петровичем калитку, а за ней — мальчишек человек двадцать. Все толкаются, теснятся, все с жестянками, полными червей, все продираются вперед к Аркадию Петровичу, все кричат:

— Дяденька, у меня самые навозные, самые верткие! Моих возьми!

Что за чудо такое! Взглянул я, а через ворота бумажный плакат протянут, и на нем написано:

«Скупка червей от населения».

Я так и прыснул. Это Аркадий Петрович плакат повесил еще с ночи.

С тех пор всегда мы были с червями.

Один раз пошли мы все на Музгу. Это широкий такой разлив. Вода в нем стоячая, но чистая, а по крутым берегам все шелестят осины. Ловили мы на Музге рыбу. И там и заночевали.

Ночь была тихая, теплая, коростели кричали в росе до самого рассвета. Аркадий Петрович сидел у костра, не спал, все будто слушал чего-то.

Мне тоже не спалось. Я принес сучьев, подкинул в огонь, сел и смотрю на костер, никак не могу от него глаз отвести. А Аркадий Петрович и говорит:

— Ты, маслюк, о чем думаешь?

Я отвечаю:

— Да я ничего... Об разном я думаю.

Аркадий Петрович отвечает:

— Разного много. Ты лучше о четырех правилах подумай. Тогда будешь ты рыцарем без страха и упрека.

— О каких?

Аркадий Петрович начал загибать на руке пальцы:

— О храбрости. Раз! О честности. Два! О том, чтобы никогда не скупиться. Это три! И о том, чтобы быть хорошим сыном своей страны. Четыре! Пока с тебя хватит.

— Хватит, — ответил я.

— Через десять лет я тебя отыщу, куда бы ты ни забился, вытащу за шиворот на солнышко и проверю, какой ты есть человек. Будет тебе спрос великий.

Да-а... Не удалось ему меня проверить. Погиб он в войну, как герой, без страха и упрека.

Узнал я об его смерти на Дальнем Востоке, на берегу озера Ханка, где служил в то время бойцом на пограничной заставе. Ушел я на сопку, лег в сухую траву и заплакал. И как назло, места кругом такие, как и у нас на озере Сгодине: березки уже желтеть начали, дрожат, блестят на солнце. А я бью кулаком по земле и думаю:

«Что ж это такое? Как же это так, что я его больше никогда не увижу? И кто ж это теперь надо мной так хорошо посмеется, как он, и за плечи меня потрясет? И книги за него кто напишет? Ведь он говорил, что в голове у него еще целая ненаписанная библиотека».

В тот же вечер подал я рапорт с просьбой отправить меня на фронт. Однако меня сразу не отпустили, и всю осень я еще пробыл в части на Дальнем Востоке.

Помню я эту осень отлично. Не видал я до той поры такой осени, да, должно быть, никогда и не увижу. Я все думал: вот бы Аркадий Петрович ее посмотрел! Он бы о ней так написал, что задрожало бы сердце у любого человека.

Был я потом на войне, в Сталинграде и в других знаменитых местах, был ранен и вернулся с победой к себе в деревню. Но всегда я помнил правила Аркадия Петровича.

Потому и выбрали меня, мальчишку, председателем сельсовета, тогда как в деревне у нас немало людей и постарше и поопытнее меня.

Когда выбрали меня, я, конечно, очень смутился, встал, чтобы поблагодарить, и сказал, что я считаю, что никаких у меня еще заслуг и качеств нету для такого народного доверия, а если и есть, то этим я обязан одному удивительному человеку, которого зовут Аркадий Петрович Гайдар.

Работы у меня много, но, бывает, случится свободное время. Тогда я обязательно схожу или на Музгу, или на наше озеро Сгодино, посижу там, а бывает — и рыбу половлю. Смотрю вокруг и примечаю: все осталось таким же, как и при нем. Пахнет кашкой, щуки бьют, перепела кричат в некошеной траве, и небо к вечеру вдруг все загорится такой позолотой, что больно глядеть.

Вспомню, что меня, тогда еще конопатого вихрастого мальчишку, учил он все это любить, и позову его в душе: «Аркадий Петрович, ну как? Проверку вашу я выдержал или нет?»

И хочется мне услышать его ответ, да что поделаешь — не будет этого ответа. Теперь уж мне самому приходится вытаскивать себя за шиворот на солнышко и устраивать самому себе великий спрос».

На этом кончалась Ванина запись, — может быть, потому, что кончалась тетрадка. Я решил обязательно уговорить Ваню писать дальше, запись его казалась мне оборванной совершенно случайно.

Ваня пришел ко мне через четыре дня. Зима к этому времени уже устоялась. Снег осел, на него слетели последние жухлые дубовые листья. А в полях еще торчала над снегом — но полосками, только по межам — сухая трава, будто кто расстелил желтые половики.

— Что ж ты, — сказал я Ване, — не написал, как ты старался выполнять в жизни четыре гайдаровских правила?

— Да как вам сказать... — ответил Ваня. — Я больше об Аркадии Петровиче хотел написать. Все, что помню. А писать насчет выполнения правил — это, выходит, писать про себя. Вроде как хвастаться. Со стороны видней.

Ваня был прав, конечно. О Ваниной честности ходили легенды по всей округе. То, что он хороший работник и тем самым хороший сын своей страны, могла доказать прежде всего Матрена Петровна. У нее был в то время один разговор.

— Да посодействуйте вы, — говорила она, — мне, старухе. Скажите Ване, нешто можно так, без продыху работать. Я его в избе вижу, бывает, раз в неделю. Все ему некогда! Все заботы! До сих пор вот еще и не женился из-за этого «некогда». Виданное ли это дело!

— Со стороны, — сказал я Ване, — конечно, все видно для меня и для каждого. Вот только не видно, как это ты справился с собой, чтобы не скупиться.

Ваня засмеялся:

— Да очень просто. Скупость бывает разная. И личная и, можно сказать, общественная. Иной председатель колхоза трясется над своим делом до того, что из рамок своего колхоза никак выйти не хочет. Соседей боится: как бы чего не попросили, как бы им помощи не пришлось оказать. И я тоже о своем колхозе, конечно, трясусь. Но заставляю себя, да и односельчан своих пересиливать эту узость. Вот намедни косилки мы отдали в Окоемово. А отказать было очень просто: у нас они после сенокоса почти все требовали ремонта. Причина для отказа законная. А мы эти косилки отремонтировали для окоемовских за одну ночь.

— А как односельчане? — спросил я.

— Ругались сначала. А теперь привыкли. Теперь даже гордятся тем, что наше село считается отзывчивым... — Ваня помолчал. — На днях подарил Лешке

из Ласкова свой спиннинг. Оснащенный. Сам катушку к нему вытачивал. Красота, а не спиннинг! Как мне его жалко было, сказать не могу!

Ваня невольно вздохнул, а я рассмеялся. Ваня взглянул на меня и тоже рассмеялся.

— Ничего! — сказал он. — Мы и без спиннинга с вами наловим. Приходите ко мне под воскресенье, пойдем с ночевкой на озеро.

Я согласился. Мы пошли с Ваней на озеро и ночевали там. Это была одна из многих ночевок на озере, но я давно заметил, что каждая такая ночевка все больше прибавляет прелести этим родным рязанским местам.

1950

АСТАПОВСКИЕ ПРУДЫ

Снег выпал только к Новому году, а до тех пор лежал над полями холодный туман. И, будто весной, с утра до самой темноты орали в старых вязах суетливые галки.

Вязы росли около колхозной чайной. Помещалась чайная в деревянном доме, на втором этаже. Дом стоял на выезде из поселка. Из окон чайной была видна железнодорожная станция: навалы каменного угля, огни на стрелках, зажженные днем из-за зимнего тумана, и клубы паровозного пара. Пар этот, казалось, ударялся о низкое пасмурное небо и расплывался вширь, сгущая морозный туман.

За станцией тянулась снежная равнина. И только далеко, на самом ее краю, были видны метлы облетевших тополей.

Бывалые люди, когда приезжают зимой в незнакомые места, прямо со станции идут в колхозную чайную. Прежде всего чтобы обогреться, а затем уже чтобы очутиться, наслушавшись разговоров, в гуще местных событий и дел.

Время было раннее. В чайной, кроме меня, пили за столиком чай две женщины — пожилая и молоденькая в красном клетчатом платке. Да в сторонке, у окна, сидел смуглый парень в синем ватнике, с гар-

моникой на коленях. Он изредка растягивал гармонику, тихо проигрывал вступление к вальсу и опять надолго замолкал.

Потом в чайную шумно вошел косматый старик и втащил с собою целую тучу тумана.

— Почтение, граждане! — сказал старик, стащил шапку и вытер рукой бороду. — Нахмурилось небо. Как бы снежок не посыпал. А то уж и вправду мы его заждались.

— Здорово, дед! — ответила из-за стойки подавальщица Саня, коренастая девушка в белом фартуке.

— У меня старость молодая, — ответил старик. — Дед-то я дед, а силу свою держу при себе. Не отпускаю.

Старик подошел к женщинам:

— Разрешите присесть. Время не позднее, и есть, значит, у нас возможность развернуть разговор про колхозную жизнь. И про все остальное. Верно, красавица?

— Красавицы все в Москве, — ответила девушка. — Туда за ними и поезжай! Ежели они тебе так уж больно нужны.

— А то как же! — убежденно воскликнул старик. — Красота жизнь озаряет. Сама ты красивая, а прикидываешься дурнушкой. Это, милая, грех!

— Что ты! — ответила девушка и покраснела. — С чего это ты взял?

— Будет девчонке паморки забивать! — сердито вмешалась пожилая женщина. — Нашел бы лучше иной разговор.

— Всякий разговор имеет свой смысл, — неожиданно сказал негромким голосом гармонист, — ежели к нему подходить со всей серьезностью.

— Вот-вот! — обрадовался старик. — Слыхали? А вы уж и рады на старика навалиться!

Девушка искоса взглянула на гармониста и покраснела еще сильнее. В чайную вошел матрос с деревянным сундучком, чисто выбритый и строгий. Он поставил сундучок у стены и подсел к столику, где сидел гармонист.

— Отгулял, браток? — спросил гармонист. — Опять на море?

— Отгулял, — коротко согласился матрос.

Гармонист тронул гармонику, тихо заиграл и так же тихо запел:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали,
Товарищ, поедем далеко,
Подальше от нашей земли...

— Да-а, — сказал старик, дослушав песню. — Уезжает, значит, матрос в свои морские края. И никто по нем не плачет, никто его не провожает. Чем это, например, объяснить?

— Мать у меня старуха, — ответил матрос. — Ей не под силу.

— Это я хорошо понимаю. Только не об этом разговор. Неужто во всем колхозе не нашлось красавицы, чтобы с тобой попрощаться? Или там, на море, девушки лучше наших?

— Опять ты встрял со своими красавицами! — прикрикнула на старика пожилая женщина. — Другого рассуждения у тебя нету, старый бес!

— Эх, Прасковья, жизнь твоя вдовья! — вздохнул старик. — Я с тобой спорить совсем не желаю. Моя ли правда, иль нет — пускай общество нас рассудит.

— Уж оно рассудит! — с угрозой сказала пожилая женщина. — Ты на общество не больно надейся.

— Вот я и говорю, — сказал старик, как бы не слыша этих слов женщины, — что красота жизнь озаряет. Но к этому выводу нужно, мои милые, правильный сделать подход. Придется издалека заводить разговор, потому что, как я вижу, сидит здесь человек не нашего района, — старик кивнул в мою сторону. — Ему мои слова могут показаться в диковинку.

— А ты не наводи тень на ясный день, — заметила Саня. — Это человек московский. Он тебя отлично поймет.

— Вы, гражданин, — повернулся ко мне старик, — про наш район небось не слыхали? Так я вам должен об нем обсказать. Местность наша от самой седой

древности была безлесная и безводная. Ближняя от нас река протекает далече, в ста километрах. И лесу у нас не было. Так, кой-где торчали рощицы. Все леса ушли к северу, на ту сторону Оки. Что говорить, там край хвойный, многошумный. А у нас кустику махонькому — и то не нарадуешься. Опахиваешь его со всем старанием, чтобы не задеть, не повредить.

— Ты про красавиц обещался рассказать, — напомнил старику гармонист, — а тянешь не в ту сторону.

— Я к этому весь разговор подвожу. Потерпи, все в свой час узнаешь. Да-а! Советская наша власть терпеть такое положение, конечно, не может. Вышло постановление — городить плотинами овраги, прудить колхозные пруды и вдоль полей сажать повсеместно кудрявый лес.

— Да ну? — насмешливо спросила Саня. — Твои новости, дед, малость зачерствели.

— Будет и поновей разговор, — невозмутимо пообещал старик. — Ты вперед меня не заскакивай. Да-а! Леса, конечно, посадили. Это всем известно, поскольку мы сами их сажали, те леса. Третьего дня ехал я мимо Землянских посадок. Снежок выпал, а над снежком стоят сосенки, низенькие такие, свеженькие, и зеленеют далеко-далеко — насколько можно взором объять. Я лошадь остановил, слез с телеги, присел около сосенок этих, варежку снял и сижу, то одну, то другую сосенку трогаю. Гляжу — живут! Тянутся! «Эх, говорю, внучки вы мои милые! Хоть бы поглядеть, как вы до моего росту дотянетесь, да как под вами гриб маслюк из-под мха вылезет весь в соку, как в липучем своем молоке».

— Ах, хорошо! — вздохнула Саня. — Мы только с чужих слов и знаем, как грибы обирать.

— Ты погодь! Да-а. С лесом это, конечно, все правильно! Теперь иной разговор — на предмет прудов. Астаповские пруды небось все видели?

— Чего зря спрашивать! — сказала пожилая женщина. — Знай, не вчера родились.

— Новенькие пруды, а вода в них стоит под самую кромку. Под самый берег. И, скажи ты мне на

милость, всего только год тем прудам, а мальков в них шнырит черт-те сколько! Миллионы! Глянешь в воду — прямо засмеешься. Ей-богу! Чистота, глубина, прохлада! Земля воду из тех прудов пьет — не напьется. Да не одна земля. Коня приведешь напоить, так он, понимаешь, воды насосется, а уходить не уходит. Неохота ему от воды уходить. Животная тоже по воде истомилась. Стоит, нюхает, фыркает — большое ему, видать, удовольствие от обильной воды.

— Слушай, дед, — сказал гармонист. — Ты это нам не рассказывай. Это мы и без тебя знаем. Ты обещанное расскажи.

— Обещанного три года ждут, — заметил матрос.

— Ага! — с торжеством сказал дед. — Не терпится вам услыхать про красавиц? Ну что ж! Будет вам и эта тема обсказана. Я к ней уже, можно сказать, совсем подобрался. Вы меня только не сбивайте, не торопите. Да-а! Для Астаповских прудов народ плотину возводил сообща. Ну, значит, копали-копали — не гуляли! Набрасывали землю да трамбовали, а перед самым, можно сказать, концом все дело прижухло. Заладили дожди. Льют и льют, будто небо издырявилось на манер старого ведра. Хлещет из него вода бесперечь сутки за сутками. Как тут работать! А плотину требуется догнать до мерки. Это уж обязательно. Это — закон! Народ, прямо сказать, приуныл. Земля к лопатам липнет, будто смола, — не вытянешь из земли лопату. Чистая беда! А сроки подходят. Он, срок, вещь такая, что ежели его упустишь, то никак не вернешь. Время-то руками не схватишь, не остановишь.

— Это уж как всегда! — вздохнула пожилая женщина.

— И вот слушайте, что тут случается. Да-а. Случается простое обстоятельство. Приходят на плотину для подмоги девушки из садоводческого техникума, из Радищевки. Целой бригадой. Силы у них, конечно. маловато. Они привыкли с деревцами и кустиками дело иметь, а не с глиной. А глина, она, брат, как жидкий чугун. И находилась среди тех девушек одна, — имени ее я не упомнил. Она у них была

вроде как бригадирша. Облик у той девушки, врать не буду, очень заметный. Косы длинные, будто золоченые, а глаза серые. Останавливающие глаза. Говорят, наши бабки из серебряных кувшинов умывались талой водой. Оттого и румянец у них пылал во всю щеку. И блеск был в глазах. Может, все это и басни — не знаю. Скорей всего басни! Откуда у наших бабок могли объявиться серебряные кувшины! Несообразность, понятно. Я это к тому говорю, что у той девушки-бригадирши румянец был такой, будто она и по правде умывалась студеной водой из серебряного кувшина. Начала она работать. И понимаешь ты, какое дело, — дождь не стихает, все сыплет и сыплет с небес, а людям уже мнится, что солнышко тучи вот-вот пронижет и польется на землю таким светом, такой теплынью, что загорятся, запестреют, жаворонками запоют все наши поля. Иной человек выбьется из сил, да глянет на ту девушку, на легкость ее, на красоту, улыбнется она тому человеку, будто одарит его ни за что ни про что полным счастьем, — и тот человек начинает работать, прямо тебе скажу, как герой, — глина у него так и летит из-под лопаты.

— Ну, и как? — спросил матрос. — Догнали плотину до мерки?

— Догнали! В свой срок. И что ты скажешь, — как кинули последнюю лопату земли, тут солнце и засияло. И пошло пылать над полями, сушить травы. И перекинулся тот пар от полей ввысь, в небеса. И поплыл над ними облаком. Так-то, милые! Кто бы мне теперь ни сказал, что красота живет в мире без пользы, я ему нипочем не поверю. Потому что я утверждение в обратном получил. Вот вам и весь сказ. Складно я говорить не учен. Так что вы не обессудьте, ежели что не так.

— Каждый человек чувствует совершенство, — заметил матрос. — Иначе он не человек, а сачок.

— А наша красота, — жалобно сказала пожилая женщина, — нынче увяла.

— Небось обидно? — спросил старик.

— Да нет! Чего ж там обидно! Ежели бы знать, что от нее была в свое время людям радость, так

чего ж обижаться. Обижаться грех. Только вот знать этого я не могу.

— Может, и была, — сказала Саня. — Ты так думай. Тогда тебе легко будет жить, Прасковья.

— Спасибо и на том, — тихо ответила Прасковья, завязывая в узелок пряники.

Один гармонист молчал. Но как бы в ответ на рассказ старика, он снова тихо заиграл и запел:

Слышен звон бубенцов издалека, —
Это тройки знакомый разбег...

— Ну, мне пора на станцию! — сказал матрос и встал. — Счастливо вам оставаться.

— Прощай, сынок! — ответил ему старик. — Так-то тебя никто и не проводит! Вот незадача! Мне, что ли, пойти?

— Сиди, дед! — отозвалась молоденькая женщина, и в голосе ее что-то тихонько зазвенело. — Я его провожу. Вот с ним, с гармонистом.

— Важно! — ответил гармонист и встал. — Проводим мы его с песней. Пожалуйте, товарищ флотский, вперед!

Но матрос пропустил сперва молоденькую женщину и вышел следом за ней. А позади пошел гармонист.

— Ну вот, — сказал старик. — Я не зря про снег поминал. Глядите, как сыплет!

Все взглянули в окно. Крупный отвесный снег валил с неба. Все побелело вокруг. Снег как будто осторожно зажал рот всему живому, — тишина стояла над поселком. Стихли галки, не было слышно паровозных гудков, и только издалека долетал сквозь пелену снега звук гармоники.

1950

ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ

Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы.

Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас еще туманную мысль писателя входить в берега точного замысла и затем уже плавно несут ее к конечному выводу, к завершению книги, подобно тому как река несет свою воду к широкому устью.

Совершенно ясно, что не все законы литературы уже разнесены по параграфам. Существует много способов и приемов живописного выражения мысли, еще не получивших названия.

Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде. Показывали ее работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдет из кинотеатра в полном недоумении.

В картине был показан дождь во всем его разнообразии. Дождь в городе на черном асфальте, дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной, моросящий дождик, «слепой» дождь под солнцем, дождь на реке и на море,

воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков...

Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождем пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха.

Что может быть лучше для писателя, — а он по существу всегда должен быть и поэтом, — чем открытие новых областей поэзии вблизи себя и тем самым обогащение человеческого восприятия, сознания, памяти?

Все это я пишу, конечно, для того, чтобы оправдать некоторые отступления от твердых требований сюжета, допущенных в этом рассказе.

Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое. Обширные луга были политы ночным дождем, а это значило, что не только в каждом венчике блестела капля воды, но все великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах.

Я шел лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления.

Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дегтем (со слабым зеленоватым отливом). В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной «с поднос от самовара». Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал.

Ощущение таинственности возникает от ожидания неизвестного и не совсем обыкновенного. А густота

и высота зарослей вокруг озерца заставляли думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор не виданное: или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с полым сочным стволом толщиной в человеческую руку.

И все это действительно там было, в том числе и огромные желтые ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки.

В лугах было совсем пусто. До покоса еще оставалось недели две. Издали я заметил маленького мальчика в выцветшей и явно большой на него артиллерийской фуражке. Он держал под уздцы гнедого коня и что-то кричал. Конь дергал головой и отмахивался от мальчика, как от слепня, жестким хвостом.

— Дяденькя-я-я! — кричал мальчик. — А, дяденькя-я-я! Подь сюда!

Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.

— Дяденькя, — сказал он, смело глядя на меня умоляющими глазами. — Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.

— А ты чей? — спросил я.

— Аптекарский я, — ответил мальчик.

Я знал, что у нашего сельского аптекаря Дмитрия Сергеевича детей нет, и подивился на необыкновенную фамилию этого мальчика.

Я поднял его на руки, но мерин тотчас, дико косясь, начал мелко перебирать ногами и отходить, стараясь держаться от меня на расстоянии вытянутой руки.

— Ох и вредный! — сказал мальчик с укором. — Прямо псих! Дайте я его за повод схвачу, тогда вы меня и подсадите. А так он не даст.

Мальчик поймал мерина за повод. Мерин тотчас успокоился, даже как будто уснул. Я подсадил мальчика ему на спину, но мерин продолжал стоять все так же понуро и, казалось, собирался стоять так весь

день. Он даже легонько всхрапнул. Тогда мальчик высоко подпрыгнул у мерина на хребте и с размаху ударил его босыми пятками по вздутым пыльным бокам. Мерин удивленно икнул и поскакал лениво и размашисто к песчаным буграм за Бобровой протокой.

Мальчик все время подпрыгивал, взмахивал локтями и колотил мерина пятками по бокам. Тогда я сообразил, что, очевидно, только при такой довольно тяжелой работе можно от этого мерина добиться чего-нибудь путного.

На озерце, глубоко запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень, и в этой тени серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты.

На ветке ракиты сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке и издавала дробный и приятный треск, не раскрывая при этом клюва. Я подивился, конечно, на эту птаху и на ее веселое занятие и начал прорываться к воде.

Дело в том, что к нам приехала после экзаменов в московской школе городская девочка Маша, любительница растений, и я решил набрать ей в подарок букет из всяких хороших цветов. Но так как плохих цветов вообще нет, то мне выпала довольно трудная задача — что выбрать. В конце концов я решил взять по одному цветку и одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные росистые пахучие валы.

Я осмотрелся. По берегам уже зацвела желтоватыми непрочными кистями таволга. Цветы ее пахли мимозой. Донести их до дому, особенно в ветреную погоду, было почти невозможно. Но я все же срезал ветку таволги и спрятал ее под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.

Потом я срезал широкие, как сабли, листья аира. От них исходил сильный и пряный запах. Я вспомнил, что на Украине хозяйки по большим праздникам устилают полы аиром, и стойкий запах его держится в хатах почти до зимы.

Стрелолист уже дал первые плоды — зеленые шишки, покрытые со всех сторон мягкими иглами. Я сорвал и его.

С трудом я зацепил сухой веткой и осторожно вытащил из воды белые пловучие цветы водокраса с красноватой сердцевиной. Лепестки его были не толще папиросной бумаги и тотчас обвяли. Пришлось его выбросить. Тогда я той же веткой подтащил к берегу цветущую водяную гречиху. Розовые ее метелки стояли над водой круглыми маленькими рощами.

До белых лилий я никак не мог дотянуться. Раздеваться же и лезть в озерцо мне не хотелось, — илистое его дно засасывало выше колен. Вместо лилий я сорвал береговой цветок с грубым названием сусак. Его цветы были похожи на вывернутые ветром маленькие зонтики.

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябинка с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «мрел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А еще дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплелись, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем, цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи

гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. И серебряный рейсовый самолет, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно летящая звезда, потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце.

Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нем было вырисовано печатными буквами:

Много пыли на дороге,
Много грязи на пути, —
Вытирай почище ноги,
Если хочешь в дом войти.

— Ага! — сказал я. — Ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях?

— Ой, какие цветы! — закричала Маша. — Прямо прелесть! Да, я была в аптеке. И еще я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин.

— Кто ж он такой?

— Мальчишка. Прямо необыкновенный.

Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти «всепроницаемы», вернее, «всепроницающи», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесущи».

В какую бы лесную, озерную или болотную глухомань я ни попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям.

Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал

их, трясущихся от холода в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в двадцати километрах от жилья.

Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется «шмыганье носом», выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шепот:

— Дяденька, дай червячка!

Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, «редко ступала нога человека», мальчишек приводило неистовое воображение и любопытство.

Мне кажется, что если бы я попал на Северный полюс или, скажем, на полюс Магнитный, то и там обязательно бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на Магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита.

Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши:

— Чем же он такой прямо необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?

— Ему восемь лет, — ответила Маша, — а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы. Например, валериану.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого мерина. Но все сомнения рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым мерином и что этот самый мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошел в аптеку и передал аптекарю мешок с собранной за Бобровой протокой травой валерианой.

Оставалось неясным только одно — как это Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валериану, не слезая с мерина. Но когда я узнал, что Иван Степанович привел мерина на поводу, то догадался, что

на мерине он доехал только до зарослей валерианы, а оттуда вернулся пешком.

В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чем я и хотел рассказать, — к аптекарю Дмитрию Сергеевичу, и, пожалуй, не столько к нему, сколько к давно занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу.

Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространенное мнение о том, что существуют неинтересные профессии, — предрассудок, вызванный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке все, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с черной надписью «венена» — яд!

По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку.

Многое, конечно, было уже открыто с давних времен, — например, действие настойки ландыша или наперстянки на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были еще не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире.

В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зеленый жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но все же должны были согласиться, что действует он превосходно.

Однажды Дмитрий Сергеевич принес мне почитать толстую книгу — фармакопею. Я не запомнил точного ее названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый мастерски написанный роман. В ней были описаны все, подчас совершенно удивительные и неожиданные качества многих растений, — не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников

и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как приготовлять из этих растений лекарства.

Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений — какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей».

В некоторых избах я видел вырезанные из газеты и прибитые гвоздиками к стене эти статьи Дмитрия Сергеевича и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы.

В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию Хвощи, или даже за отдаленную речку со странным названием Казенная, где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озерами и заросших высоким конятником.

За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесемочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые «летучие пузыри». Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на веревочке вокруг пальца, издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга по голове, наслаждаясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие.

Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только летом во время школьных каникул, да и то не каждый же день. Большей частью они помогали взрослым: пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было,

конечно, то, что маленькие едва умели ходить, и их приходилось всюду таскать с собой на закорках.

Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек: Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу «Утиль».

«Утиль» появлялся в деревне не часто — раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошаденкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку веревочный кнут и заунывно кричал:

— Тряпье, старые калоши, рога, копыта принимаем!

На передке телеги у «Утиля» стоял волшебный ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках пестрые игрушки — свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки, переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания.

Как только «Утиль» въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестренок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь.

«Утиль» обменивал тряпье и рога на новенькие, еще липкие от краски игрушки и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками.

Взрослые никогда ничего не выносили «Утилю». Это было исключительное право детей.

Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. «Утиль» был человек по внешности суровый, даже, как говорится, «страховидный» — косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него был зычный и грубый. Но, несмотря на эти угрожающие признаки, «Утиль» никогда не отказывал детям. Один только раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшие голенища от отцовских сапог.

Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги «Утиля» к своей избе. Дети, окружавшие «Утиля», вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом.

«Утиль» свертывал из махорки толстую «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни пораженных его жестоким поступком детей.

Он не спеша заклеил «козью ножку», закурил, потом сплюнул. Дети молчали.

— Вы что? — сердито спросил «Утиль». — Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?

Дети молчали. «Утиль» затянулся и, не глядя на детей, сказал:

— Сбегайте-ка за ней. Мигом! Сбычились на меня, будто я душегуб!

Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки в красном сарафане.

Ее приволокли, румяную и смущенную, с невысохшими еще слезинками на глазах, и «Утиль» важно и строго осмотрел ее голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пеструю куклу с круглыми пунцовыми щечками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами.

Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. «Утиль» дернул за вожжи, лошаденка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше.

«Утиль» шел рядом с ней, не оглядываясь, все такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя двадцать изб, он прокашлялся и протяжно закричал:

— Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем!

Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником, а между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы.

Любопытно, что «Утиль» работал даже, я бы сказал, с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на поездки по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек (по воле хозяйственников, очевидно не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор») у «Утиля» был разнообразный и увлекательный.

Величайшим событием в деревне был тот случай, когда «Утиль», по заказу Дмитрия Сергеевича, привез из города бронзированные рыболовные крючки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчиками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам десять крючков.

Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью и тщательностью начали закалывать крючки в подкладку кепок — самое верное хранилище всех мальчишеских ценностей.

Все мы привыкли к тому, что у нас в России человек, с виду непримечательный и скромный, может оказаться на поверку очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому, что досконально знал и любил Россию, изъездил ее вдоль и поперек и был наперсником и закадычным другом сотен простых наших людей.

Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нем не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своем деле, требовательный к себе и окружающим гуманист.

Под грубой внешностью «Утиля» билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображения, которое он применил к своему как будто мизерному делу.

Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной.

Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в большом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на нее не так-то просто. Сначала нужно ехать сорок километров по узкоколейке, потом километров тридцать идти пешком.

На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали.

Возвращались мы на следующий день. В лесные тихие сумерки мы вышли к разъезду на узкоколейке. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на березах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца.

Подошел маленький поезд, весь из пустых товарных вагонов. Мы влезли в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях вагона и курили.

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали.

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю его ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щелканья и перелива в кустах по сторонам полотна.

Тогда самая молодая женщина запела, глядя на закат, и глаза ее казались золочеными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать.

Когда женщины замолкли, оборванный охотник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику:

— Споем и мы, Ваня? Как думаешь?

— Ну что ж, споем! — согласился спутник.

Оборванцы запели. У одного был густой мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сидели, пораженные этим необыкновенным голосом.

Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления, потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто даже не обернулся в ее сторону, потому что это были слезы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения.

Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость.

Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал себя колхозным счетоводом из-за Оки. Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров Консерватории послушал его голос. «Преступно, — говорили мы, — сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю». Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался.

— Да что вы! — говорил он. — Какая же опера с моим любительским голосом! Да и возраст у меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали — ехать в Москву! Я в Москве был три года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как бы мне поскорее удрать к себе на Оку.

Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции.

— Вот что! — решительно сказал мой приятель охотнику. — Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей. Я вас сведу с нужными людьми.

Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нем свой адрес. Поезд уже подошел к станции, остановился и тяжело отдувался, готовясь тронуться дальше.

Охотник при слабом свете заката прочел записку моего приятеля и сказал:

— Вы писатель?

— Да.

— Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте и мне в свою очередь представиться, — солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого, не обижайтесь на меня за этот небольшой «розыгрыш». Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша: счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу.

Он засмеялся.

— Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо!

Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались, озадаченные, на дощатой платформе. Тогда только мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалеку от нас.

Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца.

Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы еще поговорим.

1950

ЛЕДОСТАВ

По большой реке с тяжелым шорохом шло «сало», а в затоне, в заливе, куда пришли на зимовку пароходы, баржи и землечерпалки, вода только чуть подмерзла у берегов.

Дни ледостава из года в год почти одинаковы: все то же небо, темное от низких туч, та же бурая трава по берегам и ледяной ветерок, обжигающий щеки. И как всегда, на опустошенных осенью огородах кое-где валяются зеленые листья капусты, и по ним щелкает ледяная крупа.

В затон пришел и стал на зимовку большой железный землесос, похожий на старинный монитор. На палубе землесоса над машинным отделением была пристроена деревянная каюта. Над ней всегда струился дымок.

В каюте этой обитал начальник землесоса, известный по всей реке человек, Иван Трофимович Гришин.

Иван Трофимович был высок, сутуловат. Седые свои усы он прокурил до рыжего цвета. Мятая речная фуражка и синий ватник сидели на Иване Трофимовиче с не свойственной его возрасту щеголеватой небрежностью.

Иван Трофимович был внешне суров, на самом же деле, как говорится, добродушен «до безобразия». Он

пользовался славой знатока не только судовых механизмов и фарватера на реке, но и человеческих сердец, — население затона считало его лучшим советчиком по всяким затруднениям личного свойства.

На землесосе, кроме Ивана Трофимовича, зимовали еще механик Женя Чиж, очень насмешливый и вполне независимый молодой человек, и две девушки — палубные матросы Поля и Оля. Хотя они и не приходились друг другу сестрами, но были очень схожи между собой — обе румяные, русые, сероглазые.

В свободное время я любил ходить из города в затон к Ивану Трофимовичу.

Я спускался с обрыва около старых крепостных валов, сдержавших некогда нашествие Батыя, и шел через луга по узкой твердой тропинке.

Потом шли перекопанные огороды. Около них в сухой лебеде лежал заржавленный кожух от пароходного колеса с полустертой надписью «Рекорд», стояло несколько облетевших ракит, а дальше открывалась свинцовая и тихая вода затона.

Иван Трофимович встречал меня так, как будто мы сегодня уже виделись, но все же внимательно посматривал на карманы моего пальто: не прячу ли я там какую-нибудь книгу. У Ивана Трофимовича была страсть к научно-популярным сочинениям, и я обычно приносил ему все, что мог достать в городе.

И разговоры Иван Трофимович любил научные, главным образом об открытиях и изобретениях — о вирусах, радиолокации и телевизорах.

Но однажды вместо научного разговора у нас с Иваном Трофимовичем вышел за чаем разговор иного порядка, даже отчасти психологический.

— Вот люди часто говорят: «зависть», «зависть», — сказал мне Иван Трофимович, — а я, признаться, никому не завидовал в жизни. И в глубине души очень этим гордился. Я всегда считал, что зависть — чувство недоброе, не свойственное хорошему человеку. Чему завидовать? Благополучию? Успеху? Форменная чепуха! Но жизнь, как это часто бывает, поднесла мне на днях хорошенькую пилюлю. И только сейчас, под

старость, я понял, наконец, что зависть бывает иногда необходимой и даже полезной для человека.

— Интересно, какая же это пилюля? — спросил я.

— Пилюля горькая и даже без всякого намека на позолоту, — торжественно сказал Иван Трофимович.— Пришли мы в затон, стали наглухо на причал, и я, как водится, приступил к зимовке. Зимовки я люблю — единственное время, когда много читаешь. Провода с берега протянуты, электричество на землесосе горит всю ночь, печурка у меня замечательная. Что еще нужно человеку! Да! Начали мы зимовать и вдруг узнаем, что землесос сто двенадцатый, тот, что зимует пониже нас на реке, отправляют на Волгу, под Куйбышев.

В каюту постучали.

— Войдите! — крикнул Иван Трофимович.

— Здравствуйте! — сказал Женя Чиж еще за дверью, а затем появился и сам в тесном своем бушлате и, как всегда, без фуражки. — Категорически вас приветствую! Не помешал?

— Как раз кстати, — ответил Иван Трофимович. — Из города?

— Из города.

— Что там слышно по нашему делу?

— Да как сказать! — ответил Женя и с интересом посмотрел на чайник на чугунной печурке. Он кипел и нетерпеливо подпрыгивал. — Он у вас заварен?

— Заварен. Бери, пожалуйста, наливай.

Женя налил себе в большую белую кружку с алыми розанами около пол-литра крепчайшего чаю и только тогда ответил:

— Говорят, сто двенадцатый с буксиром уже пошел. На Волгу. Надеются до ледостава проскочить. Но может произойти такая оказия, что затрет их льдом у самого устья.

— Если уж людям выпало счастье, — сказал, вздохнув, Иван Трофимович, — так их и льдом не затрет. И в огне они не сгорят, и в воде не потонут, и молния в них не ударит.

— Мужественных слов не слышу, — сказал Женя Чиж, открыл рот и долго выдыхал из себя кипятко-

вый жар. — Ну и чай у вас, Иван Трофимович! В нем двести градусов!

— А ты остуди, — посоветовал Иван Трофимович. — Значит, так? А про нас, грешных, «ни слова, о друг мой, ни звука»?

— Точно! — ответил Женя Чиж.

— Кстати, — сказал я, — вы, должно быть, уже догадались, что я ничего не понял из ваших разговоров.

— Сейчас будем держать с вами военный совет, — ответил мне Иван Трофимович. — Тогда вы, надеюсь, поймете. Я на днях вычислил, — он достал из стола листок бумаги, исписанный цифрами, и помахал им в воздухе. — Оказывается, что землесос сто двенадцатый по своей мощности уступает нашему.

— У него только видимость могучая, — заметил Женя Чиж.

— Вот именно. Видимость. Тогда спрашивается, почему на Волгу послали его, а не нас?

— Добросовестная ошибка, — сказал Женя.

— Конечно, — сказал я, — углублять фарватер на Волге, может быть, и почетнее, чем на нашей реке...

— Да не в фарватере дело, — неожиданно рассердился Иван Трофимович. — Стали бы мы ершиться из-за фарватера! Землесос сто двенадцатый идет на постройку плотины через Волгу. Вот в чем дело, дорогой мой товарищ! Вы посмотрите!

Иван Трофимович начал чертить синим карандашом на листе бумаги.

— Это Волга. Так? А это — место строительства плотины. Вот здесь ставится цепь землесосов. Целая эскадра. От землесосов — примерно так — к этому берегу, где будет начало плотины, протягивают трубы. Понятно?

— Пока что и понимать нечего.

— По этим трубам землесосы будут качать со дна Волги жидкий грунт и откладывать его вот тут. Видите? Вода из грунта сойдет очень быстро. Останется сухая земля. Так и будет наращиваться плотина.

— Ну что ж, — сказал я, — способ известный.

— Да вы что! — вдруг накинулся на меня Иван Трофимович. — Не понимаете, что ли, что эта плотина

через Волгу, а не через какую-нибудь Кузявку. Вы можете представить себе грандиозность?

— Могу.

— Вот и обидно, — сказал Иван Трофимович и, отвернувшись, посмотрел за окно.

Женя только вздохнул, но, по-моему, нарочито громко и даже демонстративно.

— Вот и обидно. И, пожалуй, завидно, дорогой товарищ. Величайшее в мире строительство, а мы ни при чем. Мы на отлете. И не можем показать высокую марку. За нас ее покажет Василий Гончаренко, лихой капитан землесоса сто двенадцатого.

— Показать-то он, может быть, и покажет, — осторожно сказал Женя. — Только марка будет определенно не та! Не дотянет он до нашего потолка, Иван Трофимович.

— Между прочим, — сказал Иван Трофимович, не слушая Женю, — я все обдумал. Если кое-что сделать, то мы заставим наш броненосец работать скорее и давать более мощный поток жидкого грунта, чем сейчас. Запас мощности у него есть. Об этом я и доложил местным инженерам. Да вот от них — ни слуху ни духу.

— Не всем же работать на Волге, — заметил я, чтобы успокоить Ивана Трофимовича и Женю, — надо кому-нибудь остаться и здесь...

Сказав это, я спохватился и понял, что совершил величайший промах. Иван Трофимович ничего мне не ответил, но забарабанил пальцами по столу и пробормотал: «Чего говорить, когда нечего говорить». Это было у него признаком полнейшего презрения к собеседнику. А Женя налил себе новую кружку чая и сказал в пространство:

— Мы с вами, Иван Трофимович, должно быть, только лапти подвязывать и умеем.

— Выходит так, — тихо согласился Иван Трофимович, но внезапно покраснел, ударил по столу кулаком и закричал: — Я плаваю двадцать пять лет! Так вот оно — признание и благодарность! Я против Гончаренко ничего не имею. Ну, подвезло человеку! Ну,

послали на Волгу! Могу только поздравить. Так ведь Гончаренко об этом никогда и не мечтал.

— А вы, что ли, мечтали? — спросил я. — Бросьте, Иван Трофимович! Постановление правительства о постройке Куйбышевской гидростанции и плотины обнародовано только недавно. Как же вы могли мечтать об этом, когда вы три месяца назад еще ничего и не подозревали?

— Эх вы! — с горечью сказал Иван Трофимович. — А еще чего-то там пишете, учите людей. Я с детства об этом мечтаю. О такой работе, чтобы потом целые поколения вспоминали об ее исполнителях. Чтобы благодарность за нее, как говорится, не затихала в веках. Мало ли о чем я мечтаю. Я вам не обязан об этом рассказывать.

Я понял, что лучше промолчать. Женя тоже молчал и тщательно разминал папиросу.

— В Москву бы следовало написать, — сказал он наконец. — От души. Честно и не гордясь.

— Чего написать? — спросил Иван Трофимович, как бы проснувшись.

— Да просто написать, что вот, мол, проработал я двадцать пять лет на русских реках, состарился на речной воде и потому прошу дать мне возможность показать сейчас, на что я способен, применить свой опыт для блага народа.

— Ну, что ж, — нерешительно сказал Иван Трофимович, — пожалуй, я и напишу.

Женя встал. Встал и я. Надо было оставить Ивана Трофимовича одного. Мы вместе с Женей вышли на палубу.

— Почернел наш старик, — сказал, прощаясь со мной, Женя. — Как узнал, что сто двенадцатый землесос пошел на Волгу, так с тех пор ходит как туча. Благородная зависть.

Через неделю я снова пришел в затон к Ивану Трофимовичу. Ответа из Москвы еще не было, и на землесосе господствовало то устойчивое и унылое настроение, преодолеть которое почти невозможно.

Выждав неделю, я снова пошел в затон. Я решил на этот раз не заходить сразу к Ивану Трофимовичу,

а пройти в общежитие на берегу, где жили Поля и Оля, и узнать у них, что нового. Если ответа нет, то лучше и не заходить на землесос.

Поли и Оли в общежитии я не застал, и мне все равно пришлось идти на землесос. Обеих девушек я увидел на палубе. Увидев меня, они обе сразу выпрямились и сразу же улыбнулись мне, и эта двойная улыбка расцвела среди хмурого и темного утра, как внезапный луч солнца, упавший на покрытые изморозью луга. «Невозможно жить человеку на свете без молодежи», — подумал я.

— А наших вызвали в город, — крикнула мне Поля, когда я был еще на сходнях. — Ответ, говорят, пришел.

— А какой ответ? — спросил я. — Неизвестно?

— Сами дожидаемся, — ответила Оля. — Боимся даже подумать.

— Ну, а как вы?

— Что мы! — ответила Поля. — Мне где ни работать, все хорошо!

— Врет она, — сказала Оля. — Вы ей не верьте. Она тоже надеется на Волгу попасть.

— А ты нет? — спросила Поля. — Ишь какая цыганка! Перед человеком ломаешься, изображаешь не то, что есть.

— Не ссорьтесь, девушки, — сказал я. — Давайте ждать.

Ждать пришлось долго. Небо все ниже и ниже опускалось к земле, и вокруг становилось все темнее, пока не пошел снег. Сначала он шел редко, легко, потом повалил густо и бесшумно. Тотчас побелели палубы, дороги, крыши домов, и только вода в затоне оставалась по-прежнему свинцовой и тихой. Лед нарастал от берегов и еще не дошел до середины затона.

Потом, наконец, за старым кожухом от пароходного колеса с надписью «Рекорд» показался Иван Трофимович. Он шел очень быстро, — так быстро, что Женя не поспевал за ним. Они о чем-то взволнованно пререкались. Девушки, нахмурившись, смотрели на Ивана Трофимовича — старались догадаться, с какой вестью он возвращается на землесос.

Но Иван Трофимович еще с крутого берега закричал:

— Буксирные тросы приготовить! И проверить стрелу!

Девушки ахнули и бросились на бак землесоса. Иван Трофимович и Женя остановились на сходнях и начали медленно и основательно осматривать землесос, будто они впервые увидели это железное плавучее сооружение.

— Нечего сказать — хорош! — промолвил, наконец, Иван Трофимович. — Даже покраситься не успели. Придется на Волге.

— Ну, что? — крикнул я Ивану Трофимовичу и сам удивился своему голосу: он сорвался и прозвучал даже как-то испуганно.

— Приказ! — крикнул мне в ответ Иван Трофимович. — Идем на Волгу. Вместо сто двенадцатого.

— Поздравляю! — крикнул я уже более уверенным голосом. — Как на реке?

— Сало прошло, а льда еще нет, — ответил Иван Трофимович. — Потеплело. Разве не чувствуете? Проскочим! Буксир подадут через два часа.

«Где там потеплело!» — подумал я, но тут же заметил, что от недавнего снега ничего не осталось, кроме мокрых палуб, крыш и дорог.

Иван Трофимович и Женя поднялись на палубу.

— Вот камуфлет! — сказал Иван Трофимович. — Прямо совестно теперь людям в глаза смотреть.

— А что такое?

— Да с Гончаренко целая история. Письмо в Москву я, правда, послал. Но этот приказ — вовсе не ответ на мое письмо. Оказывается, Гончаренко раньше меня прислал в министерство письмо. О том, что мой землесос шестьдесят пятый мощнее почти вдвое, чем его сто двенадцатый. И потому он считает более целесообразным послать на Волгу шестьдесят пятый и просит назначить его, если можно, на шестьдесят пятый моим помощником.

— Объективный товарищ, — заметил Женя Чиж. — Не каждый бы на его месте...

— Без преувеличений! — остановил его Иван Трофимович. — Теперь у меня одна задача — добиться во что бы то ни стало, чтобы Гончаренко перевели ко мне. Ну, так этого я добьюсь, будьте уверены!

Я не знаю, что творилось на землесосе после этого, потому что мне пришлось срочно, как говорится, «сбегать» в город за книгами и папиросами для Ивана Трофимовича.

Когда я вернулся в затон, буксир «Республиканец» уже заводил на землесос стальные тросы и тяжело и густо швырял дым из трубы то на один, то на другой берег затона.

А через час железная громада землесоса ушла в речные туманы, и только огонек на стреле еще долго мигал, как бы приветливо прощаясь со мной. А на том месте, где стоял землесос, качался и позванивал тонкий битый лед и на берегу стоял неизвестно как уцелевший от заморозков высокий желтый цветок дикой рябинки. И над ним и над затоном снова летел редкий и осторожный снег.

1950

МАША

С годами каждая новая зима казалась Тихону Петровичу длиннее прошлогодней. По календарю выходило все правильно. Весна возвращалась в свой законный срок, в свою пору, но ждать этой поры становилось чем дальше, тем труднее.

— Это от возраста, — говорил самому себе Тихон Петрович. — Старый человек вёсны уже считает, прикидывает, сколько ему перепадет весенней теплоты. Вот и нервничает. То ли дело — молодость!

Но у Тихона Петровича были, конечно, более веские причины, чтобы нетерпеливо дожидаться весны. Весеннего тепла он ждал не столько для себя, сколько для своих растений, или, как он выражался, для своего «древесного семейства». Потому что никакого другого семейства у Тихона Петровича никогда не существовало, — был он закоренелый холостяк. Это было видно даже по его наружности, — по худобе, по строгости всего его облика и привычке разговаривать с самим собой, а бывало, даже всерьез с собой ругаться.

Тихон Петрович работал в плодовом питомнике в небольшом районном городе Разговорово. Был у Тихона Петровича и свой участок с садом и парниками, где он выращивал опытные, или, выражаясь высоким

стилем, «экспериментальные» растения. Участок был тесный, но из-за обилия зелени и ее пышного роста он казался большим.

Тихон Петрович уже давно славился на всю округу как опытный и смелый садовод. «Это — наш Мичурин, — с гордостью говорили о нем жители городка. — Преданный своему делу человек, всеобщий советник и помощник. Да одна только беда, — за делом как-то позабыл обзавестись семьей и живет бобылем».

Питомник, где работал Тихон Петрович, хотя и находился в маленьком городке, но был известен далеко за пределами области. К Тихону Петровичу постоянно приезжали садоводы из разных местностей России, бывало, даже из Москвы, и он охотно делился с ними своими познаниями. Поэтому в небольшом своем доме Тихон Петрович поселился в мезонине, а две комнаты внизу были отведены для приезжих. Тихон Петрович называл их то «гостевыми», то «практикантскими», потому что каждое лето у Тихона Петровича жили практиканты — студенты областного сельскохозяйственного техникума.

Давно уже замечено, что человек, лишенный на время возможности заниматься любимым делом, постоянно к нему готовится. Так, известно, что охотники всю зиму чистят ружья и набивают патроны. Рыболовы, например, плетут лески и красят поплавки, моряки рисуют карты. А Тихон Петрович зимой, сидя у себя на тесном верхотурье, в мезонине, писал в свободное время «Руководство к выращиванию плодовых деревьев, кустарников, овощей и цветов».

Работа Тихона Петровича по своей обстоятельности вполне оправдывала название «руководство». Действительно, Тихон Петрович как бы крепко брал неопытного человека за руку, водил его по грядкам и не торопясь рассказывал, как надо делать землю питательной и жирной, чтобы на ней разрослись нежные и пахучие существа — цветы, которым мы давно уже перестали удивляться.

— И зря перестали, — говорил Тихон Петрович. — Человек никогда не должен терять способность удивляться. Ежели он настоящий человек, а не портфель, набитый казенными отчетами.

Все это было, конечно, верно. Но с годами не только каждая зима казалась Тихону Петровичу все длиннее, но и сам он все более представлял себя мало кому необходимым.

На поверку выходило, что холостая жизнь, хотя она и независима и отведена хорошему, нужному труду, все же плоха без семейной радости. Даже заботиться о себе с каждым годом становилось скучнее.

«Хоть бы подарить кому-нибудь самое свое любимое, — думал Тихон Петрович. — Сделать родному человеку удовольствие. Так и дарить некому. У других — жены, дети, а у меня вся семья — в моем единственном числе».

Но тут же Тихон Петрович успокаивал себя тем, что при его занятии дети — это беда. Все вытопчут. Хуже кур. Какие там дети, если Тихон Петрович стонал и морщился, когда видел не то что сломанную ветку или цветок, а даже помятую траву.

* * *

Весна пришла, как всегда, ранним утром. Появилась она на бревенчатой стене мезонина квадратом оранжевого и теплого на ощупь солнечного света. И не замеченная во время долгой зимы капля смолы в щели бревна заискрилась в это утро, как топаз. В ней были даже видны маленькие серебряные плоскости и нити, делившие эту ничтожную каплю на несколько сказочных частей.

— Пора! — сказал Тихон Петрович, поглядев на каплю, спрятал до зимы в стол незаконченную рукопись «Руководства» и начал разбирать семена, чтобы высадить их в плошки и расставить по всем подоконникам в теплом доме и на застекленном крыльце.

А потом навалились густые, тяжелые туманы, зимние дороги проржавели насквозь, порыжели, из леса дохнуло сыростью, от тесовых крыш повалил пар. В одну из апрельских ночей вздохнул лед на реке, а утром начался быстрый, как всегда, ледоход, и река разлилась на семь километров.

От весенней воды тянуло свежестью нефти и снега. По всем веткам береговой лозы уселись рядами пушистые седые шмели — молодые почки.

Пришел из областного города первый пароход. Тихон Петрович поехал на нем в город по делам питомника, а кстати и за кое-какой рассадой. До города было езды всего пять часов.

Обратно из города пароход отвалил в сумерки и пошел прямо по разливу. Бакены еще не горели.

Тихон Петрович сидел на палубе, хотя на воде было холодно. В ногах у него стояла кошелка с рассадой. В нижнем помещении, в общей каюте, было тепло, даже жарко, но Тихон Петрович туда не спускался, — берег рассаду. Она, как известно, от жары быстро вянет.

Пассажиров на палубе было немного. Ехали пильщики, закутанные женщины и совсем еще молоденькая девушка, лет двадцати, с девочкой. Девочке, худенькой, бледной и любопытной, — она никак не хотела уходить с палубы, — было лет шесть.

Пильщики крепко курили, так, что даже ветер с разлива не мог пересилить запах махорки, и слушали пожилого своего товарища в зипуне.

— Это что! — говорил он неторопливым хриплым голосом. — Дуракам все смех, а умному все в соображение. Вы над председателем нашим, над Батенковым, погодили бы без разбору смеяться.

— А мы с разбором, — ответил молодой пильщик.

— Вот я те сейчас докажу про твой разбор! — сердито пообещал пожилой пильщик. — Над чем надсмехаетесь! Что он, Батенков, пятерых зайцев снял со льдины во время ледохода? Так, что ли?

— Да мы не над тем смеемся, Захарыч, — несмело возразил молодой пильщик.

— Понимаю! — с угрозой в голосе проговорил пожилой. — Очень я вас хорошо понимаю, молодые люди. Вам удивительно, что он тех зайцев не зажарил с лучком да не съел под водочку, а выпустил в соседнюю рощу. Бессмысленное, выходит по-вашему, деяние?

— Жалостлив от больно, Батенков, — сказал из темноты чей-то голос.

— Не-ет, брат! Тут никакая не жалость. Тут простой вывод. Пусть он плодится, заяц, чем ему ни за что пропадать. Видал птичье гнездо? Из песчинок да из пушинок слеплено. Вот так, браток, и богатство слагается. Всенародное. Кладется на дом по кирпичикам. А потом глядишь, как в Москве, воздвигается здание во все двадцать восемь этажей!

— Ух ты! — сказал молодой пильщик.

— Вот те и ух! — ответил пожилой. — Это надо соображать. Есть в наших местах такая побаска. Упала в реку пчела, замочила крылышки. И приходит ей, той пчеле, полный конец. Крышка! Кругом красноперки шныряют. Вот пчела и взмолилась. «Спасите, говорит. Я вам за то отплачу». — «А на что ты нам сдалась! — отвечают краснoперки. — Мы меду отродясь не едим». Вздохнула только пчела. «И то правда! — говорит. — Ничего не поделаешь». Видит, плывет через реку лягушка. «Спаси, молит. Я в долгу не останусь». — «А я, — говорит лягушка, — даже запаху медового слышать не могу». Тут пчела совсем загрустила. Однако видит, летит над рекой черный скворец. Она и его просит. «Ну что ж, — отвечает скворец. — Я тебя, пожалуй, вытащу. Потому ты медом человека питаешь, а он, человек, мне скворечни делает».

— И вытащил? — спросил молодой.

— Обязательно. Полезному зверю всегда надо вспоможение делать.

— Настюша, — тихо сказала маленькая девочка своей спутнице, — а я бы ее и так вытащила. Не за мед.

— Правильно, девочка, — тихо заметил Тихон Петрович. Слабенькая эта и большеглазая девочка почему-то вызывала у него не жалость, а какое-то необъяснимое щемящее чувство. — Вот маму спроси, она тебе то же самое скажет.

— А она мне не мама, — ответила девочка. — Она мне сестра.

Тихон Петрович извинился перед девушкой.

— Что вы, пожалуйста, — ответила она.

— Что ж это вы, сестрицы, — спросил Тихон Петрович, — вдвоем по белому свету странствуете?

— Мы в Разговорово, — ответила девушка неуверенным голосом.

В темноте Тихон Петрович не видел ее лица, но вместе с тем как бы и видел ее застенчивые глаза и то, как она теребила бахрому теплого платка, накинутого на голову.

— К родным едете?

— Да нет, — ответила девушка. — Я учительницей назначена в Разговорово. Вот еду... с сестрой, с Машей. Мы с ней теперь вдвоем. Отец служит на Дальнем Востоке, а мама в сорок втором году в Ленинграде...

— Все ясно, — сказал Тихон Петрович, не дожидаясь, пока девушка закончит свой рассказ, и замолчал. Девушка тоже молчала.

Тихон Петрович вытащил из-под ног кошелку, зачем-то потрогал рассаду. Листочки были вялые, теплые, как ладони, но живые. «Выживут», — подумал он, помолчал, потом обернулся к девушке и сказал:

— В Дом крестьянина вам идти незачем. Зря устанете. Помещение найти у нас в Разговорове не так бывает легко. А у меня домишко пока пустует. Одна комната будет вам, а другая — для практикантов. Летом ко мне студенты приезжают, я их садоводству учу.

— Нет, что вы! — слабо возразила девушка.

— Это вы бросьте, — сердито сказал Тихон Петрович, — разводить антимонии. У меня устроитесь. И живите хоть сто лет.

Пароход загудел. На берегу замахали фонарем — показывали место, где причалить. Пильщики поднялись, побросали махорочные цигарки в черную воду. «Стоп!» — сказал над головой на капитанском мостике густой голос. Тотчас наступила тишина, и в ней остался только один слабый звук — журчание речной воды около колес парохода.

* * *

Неожиданным своим жиличкам Насте и Машеньке Тихон Петрович отвел одну из нижних комнат. Обе комнаты были заставлены старой, еще отцовской, мебелью. Комнат было всего две, но всяких коридорчи-

ков, переходов, чуланов, сеней, пристроек и дверей было столько, что Маша первое время затеривалась в них, как в лесу, и с отчаянием кричала:

— Настя, где ты? Я не знаю, как выйти. Настя-я!

Тихон Петрович, встречаясь с Настей, смущался. Ему было совестно при мысли, что Настя и Машенька считают его хозяином дома. Хозяином! И слово какое-то неприятное.

В конце концов он не выдержал и сказал Насте:

— Вы, Анастасия Михайловна, живите непосредственно, как у себя. Будто меня тут и нету. А то я боюсь, что вы совсем застеснялись. Вот в сад ко мне не хо́дите и Машу как будто не пускаете.

— Нет, что вы, — поспешно ответила Настя и виновато улыбнулась.

Но на следующее же утро Маша появилась в саду. Значит, правда, Настя ее туда не пускала.

По утрам, до ухода в питомник, Тихон Петрович всегда работал у себя в саду. В это утро он поливал высаженную рассаду.

Было еще очень рано, так рано, что солнце еще не успело подняться над зарослями жимолости и в саду было прохладно. Но сквозь щели в заборе уже тянулись длинные узкие лучи, и все, что они освещали, становилось удивительным.

Если свет падал на кусты сирени, то было видно, как в засиявших, как бы зардевшихся от смущения слабым, чуть пунцовым румянцем чашечках сирени дрожат капельки росы. Лишайники на старых деревянных скамейках напоминали вскипевшую и тут же застывшую бронзу. На листьях лип просвечивала такая тончайшая сетка, что было трудно поверить, будто по этим паутинным жилкам сочатся древесные соки.

Дед Архип, помощник Тихона Петровича, копал в углу грядки. От перекопанной земли подымался парок, таял в воздухе. Воробьи сидели в кустах над головой у Архипа и поглядывали то одним, то другим глазом на землю. Но червей пока что не было. Рано было еще выползать червям.

— Вы, милые, — говорил дед Архип воробьям, — слетали бы лучше на колхозную конюшню, чем тут зря сидеть. Не первый год небось живете на свете, а ничего еще толком не знаете. Да и что с вас спрашивать — мозги у вас с ноготок.

Но воробьи не слушались деда. Они все сидели на кустах и даже как будто бы начали переругиваться с Архипом.

Архип был старик неспокойный. Для него не было худшей беды, чем остаться без собеседника. Поэтому он покряхтел, подумал, потом сказал Тихону Петровичу:

— Солнца у тебя в саду мало.

Тихон Петрович промолчал.

— Вовсе мало, я тебе говорю, — повторил Архип. — Не то, что в питомнике.

Но Тихон Петрович и на этот вызов ничего не ответил.

«Обижается, — подумал Архип, сам в свою очередь немного обидевшись. — Что-то за последние два дня чудной стал Тихон Петрович, никак его не поймешь».

На землю около Архипа упал слабый розовый свет — отблеск солнца.

— Да-а, — пробормотал Архип. — Это я, пожалуй, зря про солнце сболтнул. Зря! Не успел я слово сказать, а оно уже тут, солнце.

Архип поднял голову и замер с лопатой в руках: за его спиной стояла девочка лет шести в розовом платье, с лентами в косах и так крепко умытая холодной водой, что щеки ее горели нестерпимо — еще сильнее, чем серые ее глаза.

Архип воткнул лопату в землю, приложил ладонь ко лбу и смотрел на девочку, как смотрят на солнце. Тихон Петрович тоже выпрямился и смотрел на Машу.

— Так, что ж, Архип, — спросил Тихон Петрович, и вокруг глаз у него собрались мелкие морщинки, — нету, значит, солнца у меня в саду?

— Что зря говорить! — ответил Архип, и у него, как и у Тихона Петровича, собрались около глаз коричневые морщинки. — Бога-атое солнце у тебя, Тихон Петрович. И где это только ты раздобыл такую рассаду? Ведь вырастет — не налюбуешься.

Маша, конечно, не понимала, о чем говорят Тихон Петрович и Архип. Она улыбнулась и смущенно спросила:

— А как называется этот сад?

— Машин сад, — ответил Тихон Петрович.

Маша посмотрела на него, не понимая, наморщив брови. А дед Архип глубоко за́гнал лопату в землю, перевернул землю вместе с прошлогодним дерном, начал медленно ее разрыхлять и сказал:

— Вот уж истинно не знаешь, где человек найдет, а где потеряет. Везет тебе, Тихон Петрович. Гляди, как оно поворачивается, существование наше.

Воробьи увидели у ног Архипа единственного червяка, и все сразу со страшным писком бросились на него и тут же передрались. А Маша смотрела на них, всплескивала руками и смеялась.

1950

СОБРАНИЕ ЧУДЕС

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвешься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семен. — Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоем. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек, — Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идет. На сколько он, по-вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Ленька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему прицениватся. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Ленька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь!

Схватка была короткая, но решительная, Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел, обиженный, обратно в деревню.

Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они

облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полково высокий народ, а недогадливы,— избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое назначение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин.— Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в

России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил, — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело, — полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за тыщу верст! Походом! А через тыщу верст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности, и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них все прописано. И ты подумай, — еще бы две версты им прошагать и вышли бы к реке, там бы и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, — точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, говорят, полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато». Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, говорят, не попрешь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге,

и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились березами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце.

— Черный дуб, — сказал Лялин. — Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжелое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упретесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были еще видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тяну-

лись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, — остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды — та, что повернута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился. Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.

1946

БЕГ ВРЕМЕНИ

Московскому художнику Лаврову предложили написать несколько пейзажей Волги. Лавров с радостью согласился. Но по медлительности своей прособирался все лето и выехал из Москвы на Волгу только в начале сентября.

Широкотрубный пароход сверкал протертыми до кристальной игры стеклами. В машинном отделении глухо гудели моторы. Пароход плавно нес свои огни и палубу, заполненную нарядными пассажирами, мимо подмосковных дачных рощ и разливов, где догорал холодноватый закат. Леса на берегах уже ржавели, золотели. Сигнальные фонари канала неярко светили в осенней мгле.

Лавров, несмотря на пожилой возраст, был застенчив и потому туго сходился с попутчиками. Людей он оценивал прежде всего с точки зрения их характерности и живописности.

Больше всего на пароходе его занимали два человека — загорелая девушка-штурман Саша и один из пассажиров, бритый старик с припухшими веками, известный историк.

Рыбинское море проходили на рассвете. Лавров вышел на палубу. Там было пусто и сыро от росы.

С запада навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, невысокие волны.

Историк тоже вышел на палубу. Он стоял у борта, подняв воротник пальто и придерживая черную стариковскую шляпу.

С мостика сбежала по крутому трапу Саша. Она была в темной шинели, кожаных перчатках и берете. Под берет она подобрала свои каштановые косы. Саша сменилась с ночной вахты. Лицо ее горело от холода, губы обветрились.

— Здравствуйте! — приветливо сказала она Лаврову и улыбнулась. — Любуетесь морем?

— Еще бы! — ответил Лавров.—Почти невозможно поверить, что все это сделано человеческими руками.

— Я сама из этих мест, из Мологи, — ответила Саша. — Я здесь, на дне этого моря, — она показала на волны, отливавшие розовым светом зари, — девчонкой грибы собирала. Совсем недавно. Это море моложе меня.

— Движение событий приобрело такую стремительность, что история не успевает угнаться за ними,— сказал историк и натянул шляпу почти до ушей. — События проносятся, пересекаясь и опережая нашу кропотливую историческую мысль. Нужна целая армия историков, чтобы утвердить в научных исследованиях этот полет времени.

Около Кинешмы пароход обогнал вереницу плотов.

Порывистый ветер нес легкие рваные облака. Тени от них пролетали по реке и лесистым берегам, уходившим в воду осыпями песка. Вслед за тенью всегда прорывалось солнце, и тогда все вокруг начинало сверкать множеством красок и отблесков. То вылетит из тени, вспыхнув снежной белизной, и снова умчится в тень стая речных чаек, то запылает красный флаг над отдаленной избой на берегу, должно быть, над сельсоветом, то сосновый бор весь затрепещет и заблестит, будто его полили косым светлым дождем, то тот же бор покроется зеленой сумрачной пеленой, и до парохода долетит его протяжный величавый шум.

Волны от парохода заплескивали на плоты. На толстых сосновых кряжах, стянутых стальными тросами,

стояли девушки с баграми и что-то кричали, но ветер уносил их крики к другому берегу, и ничего нельзя было разобрать. Были видны только крепкие зубы девушек на загорелых смеющихся лицах, разноцветные платки и взлетающие от ветра ситцевые подолы над смуглыми ногами.

Саша стояла на мостике. Она приложила ко рту медный рупор и крикнула:

— Как живем, девушки?

— Хорошо, Саша! — дружно закричали в ответ девушки и замахали платками.

— Далеко сплавляете?

— До самого Сталинграда! Проща-ай! Не забывай про нас, про волжских девчонок!

Глядя на девушек, Лавров понял, что Саша для них — свой человек, что эта женщина-штурман, должно быть, известна и любима на Волге. Да иначе и быть не могло: не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы.

Вечером Лавров пожаловался Саше, что вот, мол, замечательный был сюжет для картины — девушки-плотогоны в ветреный, переменчивый по краскам день, — но ему не удалось даже сделать наброска: слишком быстро все пронеслось мимо.

— Вы бы хоть придержали пароход на одну минуту, — шутливо сказал Саше Лавров.

— Я и сама понимаю, — ответила Саша. — Но только, Владимир Петрович, этого никак нельзя.

— Эх, вы! — вздохнул Лавров.— Машинные люди! Недооцениваете вы значения красоты в нашей жизни!

— Что вы! — горячо возразила Саша. — Мы очень любим и ценим красивое. Только и вы нас поймите.

— Чего же вас особенно понимать?

— А вы представьте себе всю сложность и стройность движения по всей стране, — ответила Саша. — Движения всех поездов, пароходов и самолетов, сеть точек пересечения их путей, где все они должны быть точно по расписанию. Это нужно для того, чтобы жизнь шла ровно и без перебоев. Разве это не красота?

— Пожалуй, — согласился Лавров. — Я об этом как-то не подумал.

Шли Волгой. Тянулись золоченые холмы крутого правого берега. Стальные мачты электропередач стояли по колена в осенней листве. Там, в вышине, по туго натянутым проводам непрерывно лился электрический ток: Лаврову почему-то казалось, что этот ток отблескивает синевой. Может быть потому, что ток, обнаруживая себя, давал голубые вспышки.

Левый берег уходил в туман. Туман этот был разнообразно окрашен. В нем были то розовые, то золотые, то синие и сиреневые, то пурпурные и бронзовые широкие и размытые пятна. Лавров знал, что это просвечивают сквозь туман то леса, то облака, освещенные вечерним солнцем, то обрывы берегов, то, может быть, далекие белые здания невидимых в тумане городов.

Однажды Лавров сидел на скамейке на верхней палубе около капитанского мостика, где не было пассажиров. Он поставил на табурет перед собою подрамник и быстро, широкими мазками набрасывал на холсте весь этот затихший к вечеру мир воздуха, тумана, разноцветных вод, отражений и золотеющих далей.

Саша стояла на вахте на капитанском мостике. Она несколько раз вопросительно взглядывала на Лаврова, потом смотрела на небо. Ей было досадно, что так быстро надвигается вечер, что очень скоро весь этот блеск погаснет и сумерки окрасят все в однообразный серый цвет. «Не успеет! — подумала Саша. — Писал бы поскорей, право!»

Саша потянула за трос от гудка. Пароход протяжно и предостерегающе закричал — наперерез пароходу шла лодка.

Пароход быстро подходил к ней, и Лавров вдруг увидел: в лодке стояла молодая женщина в расстегнутом жакете. Она прижимала к себе охапку осенних веток и смотрела на пароход. На веслах сидел черный от загара парень. Он перестал грести и тоже смотрел на пароход. Отражение осенних веток качалось в воде у борта лодки.

Весь этот вечер, и женщина, и сиявшее над рекой облако, похожее на гроздь винограда, показались Лав-

рову таким ясным воплощением мира и отдыха всей этой родной и необыкновенной страны, что он только вздохнул и сердито посмотрел на Сашу.

Одно мгновение он ждал, подняв кисть, что Саша хотя бы на минуту остановит пароход, но лицо у Саши было каменное и даже как будто злое.

Лодка с женщиной быстро уходила, покачиваясь, в сумерки. Последний свет заката падал на охапку осенних веток. Темнота никак не могла погасить золотое свечение листьев.

Лавров с сердцем захлопнул ящик с красками и пошел к себе в каюту. Проходя мимо капитанского мостика, он искоса взглянул на Сашу — она покраснела и отвернулась.

«Ну, ладно! — подумал Лавров. — Поговорим как-нибудь».

У себя в каюте он долго обдумывал все, что скажет Саше. Получалась целая обвинительная речь. Но в тот вечер Лавров Сашу не видел: она, очевидно, спала после вахты, а за ночь обвинительная речь както выцвела и показалась ему даже глупой.

Лавров задумался. Чего он добивается? Чтобы жизнь остановилась перед ним? Но она никогда не остановится. Она всегда будет нестись широким и многоцветным потоком в даль, которую мы зовем нашим будущим. Отстанешь — и поток уйдет, тускнея, с глаз, и потом его уже никак не догонишь.

«Девочка, пожалуй, права, — решил, наконец, Лавров. — Зря я на нее рассердился...»

Встретив через день Сашу на палубе, Лавров только посмотрел в ее серые застенчиво-веселые глаза и сказал:

— Обязательно вас напишу. Только не сейчас, а зимой, в Москве. Согласны?

— Ну что ж, — ответила Саша. — Спасибо, Владимир Петрович.

И она легко и доверчиво положила свою руку на рукав Лаврова.

Лавров взглянул на реку. Линии огней сияли, переливаясь, в осенней темноте. Свежо и влажно, черным, исполинским, как бы стеклянным валом Волга

уходила во всю свою ширину в бездну ночи и уносила, растягивая в световые полосы и разрывая, отражение этих огней. Пароход подходил к строящейся Куйбышевской плотине.

* * *

В декабре Саша пошла в Третьяковскую галерею на ежегодную выставку картин.

Был вечер. Падал ленивый снег, и, глядя с улицы на освещенные окна домов, казалось, что там, в этих домах, горят тысячи свечей и идет какой-то тихий зимний праздник.

На выставке было мало народу. Саша быстро прошла по залам, разыскивая картину Лаврова. Она заметила ее издали, остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать...

Как, какой непонятной силой этот молчаливый и даже неловкий на вид человек остановил навеки тот удивительный вечер на реке и увидел в нем гораздо больше прелести и красок, чем увидела в то же самое время она? В чем его сила? В таланте? Или в соединении таланта с любовью к своей удивительной стране?

«Как он смог по памяти написать и этот вечер, и лодку, и женщину с охапкой осенних веток? — подумала Саша. — Я ведь не задержала пароход, хотя отлично поняла, что он ждал этого».

Чем дольше Саша смотрела на картину, тем все сильнее ей хотелось поблагодарить Лаврова и, может быть, даже с нежностью и удивлением прикоснуться к его худой испачканной красками руке.

Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось у нее неожиданной бурной радостью. «Как все хорошо! — подумала она. — Даже вот этот мохнатый, ленивый щекочущий лицо вечерний снег за окнами. Все, все!..»

1951

ШИПОВНИК

Ночью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше: за туманом не было видно ни бакенов, ни перевальных огней.

Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Только равномерно поскрипывали сходни, переброшенные на берег. По этим сходням матросы завели чалку и закрепили ее вокруг старой ракиты.

Маша Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг, что было слышно, как в дальней каюте всхрапывал пассажир.

Маша села на койке. В открытое окно лился свежий воздух, сладковатый запах ивовых листьев.

Кусты, неясные от тумана, нависали над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчанье воды и догадалась, что пароход остановился у берега.

В кустах что-то щелкнуло и затихло. Потом щелкнуло опять. И опять затихло. Будто кто-то, щелкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре щелканье перешло в длинный перелив и оборвалось коротким свистом. Тотчас на свист откликнулись десятки птичьих голосов, и внезапный соловьиный раскат пронесся по зарослям.

— Слышь, Егоров? — спросил кто-то наверху, должно быть на капитанском мостике.

— Такого соловьиного боя даже на Шексне не было, — ответил снизу хрипловатый голос.

Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи — только ногти белели на пальцах.

— Отчего это мне грустно, не понимаю? — спросила вполголоса Маша. — Жду чего-то? А чего, и сама не знаю.

Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть, и сказала:

— Глупости! Какая там девичья грусть! Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно.

Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу — сажать колхозные леса.

Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок и начальник, — обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, — посмотрит на нее, на серые ее глаза («Совсем как оловянные плошки», — думала о своих глазах Маша), на косы и подумает: «Прелестно! Не хватало нам еще этих девочек с косичками! Небось все будет теперь твердить про свои учебники. А у нас тут не до них! Как хватит суховей «астраханец», так твои учебники, милая, тебе здесь не очень помогут».

За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила.

Маша не знала, что это вовсе не грусть, а то чувство, какому нет еще, пожалуй, точного названия, — замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел.

Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе — перила, проволочная решетка вдоль борта и плетеные кресла.

На баке слышался приглушенный разговор.

— Я ему говорю, — рассказывал молодой матрос. — «Дед, а дед, оставь мне покурить». Он дал мне окурок. Я затянулся, спрашиваю: «Чего ты тут, дед, делаешь ночью, в лугах?» — «Зарю, говорит, стерегу». А сам смеется. «Может, это последняя заря в моем существовании. Тебе, говорит, этого не понять. Ты парень молодой».

Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи.

Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно заголосили петухи, — там, за туманом, была, очевидно, деревня.

«Какие же это петухи? Первые или вторые?..»

Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах, а не знает.

Посоветовала Маше поехать пароходом бабушка, вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей Неве, потом пересек Ладогу. Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую Свирь, шлюзы на Мариинском канале, берега, заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших уклеек кривыми удочками.

Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, в Белозерске, у матери — худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, а летчик говорил ей с палубы:

— Ты не забудь, мама: я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе, за лесенкой. Ты одного окуня дай Ваське.

— Не забуду, Паша, никак не забуду, — кивала старушка, вытирая глаза свернутым в комочек платком.

Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку не отрываясь. Щека у него дрожала.

Потом на пароход сели актеры. Они много шумели, острили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихало отсыревшее от речных туманов пианино.

Один пожилой актер, остролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни — до тех пор она ни одной такой песни не знала. Особенно часто актер пел польскую песенку о влюбленном воре. Ему не удалось украсть для любимой девушки звезду с ночного неба, и девушка его за это прогнала.

Каждый раз, когда актер оканчивал эту песню, он громко захлопывал крышку пианино и говорил:

— Мораль сей песенки ясна. Будьте снисходительны к любящим. Не возражайте! Разговор окончен.

Он поправлял черный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу.

В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Они возвращались в Москву из Кирилло-Белозерского монастыря. В монастырь они ездили на практику — делать обмеры и зарисовки старинных построек.

Всю дорогу студенты спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублеве и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество.

Когда на пароходе появились студенты, пожилой актер как-то притих, перестал петь песенку о воре и все время сидел на палубе, читал Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актерские тирады — застарелая привычка и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться.

Сейчас все пассажиры спали — и летчик, и актер, и студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать.

Далекий гул возник в небе и медленно затих. Должно быть, выше тумана прошел ночной самолет. Ударила под берегом рыба, а потом где-то в отдале-

нии запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки.

Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичечного пламени образовался радужный пар.

— Соловьи спать не дают, — сказал летчик, и Маша, не видя, догадалась, что он улыбается в темноте. — Прямо как в песне: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, — пусть солдаты немного поспят...»

— Я никогда еще не слыхала таких соловьев, — сказала Маша.

— Поездите по Советскому Союзу — не то еще узнаете, — ответил летчик. — Такая страна и во сне не всегда приснится.

— Это потому, что вы летаете, — заметила Маша, — и земля все время меняется у вас под крылом.

— Не думаю, — ответил летчик и надолго замолчал. — Светает, — сказал он наконец. — Засинело уже на востоке... Вы куда едете?

— В Камышин.

— Есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры...

— А вы куда?

— Я дальше.

Летчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Пастуший рожок пел уже ближе. Подул ветер. Туман зашевелился. Его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты и среди них сплетенный из ивы шалаш. Около шалаша курился очаг.

Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.

«С сегодняшнего дня, — подумала Маша, — буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует. А теперь буду все замечать, запоминать и беречь у себя на сердце».

Летчик оглянулся на Машу.

— Задумалась девушка, — пробормотал он, отвернулся, но тотчас опять посмотрел на нее.

Он вспомнил слова из давно прочитанного романа, что нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам, — в них еще темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет.

«Пожалуй, это не так уж и глупо сказано», — подумал летичк.

С мостика сбежал обветренный помощник капитана в брезентовом плаще.

— Не спите? — весело окликнул он Машу. — Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала Маша летчику. — Нарву, кстати, цветов.

— Ну что ж, — согласился летчик, — пойдемте.

Они сошли по шаткой сходне на берег. Из шалаша вылез старик, должно быть тот самый, что сторожил ночью зарю. Тотчас над туманами взошло солнце.

Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие, глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи.

— Чем ты тут занимаешься, дед? — спросил старика летчик.

— Корзинщик я, — ответил старик и виновато улыбнулся.— Плету помаленьку. Вентеря, корзины под колхозную картошку, кошелки... А вы что же? Лугами интересуетесь?

— Да вот хотим поглядеть.

— Во какие быстрые! — засмеялся старик. — Я тут семьдесят годов обитаю, в этом лугу, да и то всего не поспел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до осокоря. Дале не ходите. Дале трава выше головы — росой вас зальет, за весь день не обсушитесь. Там росу можно в горлачи собирать и пить.

— А ты ее пил? — спросил летчик.

— Как не пил! Целебная вещь.

Маша с летчиком медленно пошли по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высохший осокорь, и остановилась.

По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел таким алым и влажным огнем, что даже ранний солнечный свет, падавший на листву, рядом с цветами шиповника казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. В зарослях шиповника озабоченно гудели шмели, черные с золотыми полосками на спине.

— Георгиевские кавалеры, — заметил летчик.

Действительно, шмели были похожи на коротенькие ленты от георгиевских медалей. И вели они себя бесстрашно, как старые бойцы, не обращая внимания на людей и даже сердясь на них.

Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвел стройными свечами синий, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье: красная и белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали.

Перепела с треском вырывались из-под ног. Укрывшись в сыром коряжнике, скрипел, насмехаясь над всеми, дергач. Жаворонки, трепеща, подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они вились в небе, — он, казалось, доносился с реки. Там, прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно.

— Что же это такое? — говорила растерянно Маша, глядя на цветы. — Что же это такое?..

Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Пароход прогудел второй раз, уже требовательно и сердито.

— Ну что же это такое! — с досадой сказала Маша, повернулась к тому месту, где над зарослями струился дым из пароходной трубы, и крикнула: — Сейчас! Идем!

Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упали. Летчик шел

сзади. На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника.

Матросы, дожидавшиеся их, чтобы снять сходни, мельком взглянули на охапки цветов, сказали:

— Вот это да! Все луга оборвали. Ну, давай, Семен, разом!

Помощник капитана сказал с мостика:

— В салон несите цветы. Для всех пассажиров!.. — И крикнул в рупор: — Вперед самый малый!

Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником.

Маше стало жаль расставаться с этим берегом, с лугами, с шалашом и дедом-корзинщиком. Все как-то сразу стало ей здесь родным, будто она тут выросла, а этот дед был ее пестуном и наставником.

«Удивительно, — подумала Маша, подымаясь по трапу в салон, — я ведь не знаю даже, где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас».

В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховое пианино.

Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Летчик принес с нижней палубы в ведре свежей воды.

— У моей матушки в Белозерске, — сказал летчик, помогая Маше расставлять цветы, — маленький сад. Но цветов груды. Особенно бархатцев.

— Вы хорошо отдохнули в Белозерске? — спросила Маша.

— Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего, в Белозерске.

— Как это «в порядок»? — удивилась Маша.

— Все записал, что видел, делал и думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался, и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время.

— Ну и как?

— Позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше.

— Вот я и не знала, что так бывает, — промолвила Маша и внимательно посмотрела на летчика.

— А вы попробуйте, — посоветовал, улыбнувшись, летчик. — Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь.

— Браво! — сказал за спиной у Маши знакомый голос.

Маша обернулась.

В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах.

— Браво! — повторил он. — Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки.

— Бросьте вы! — недовольно сказал летчик.

— Да, все это глупости! — согласился актер. — Не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частность. Одну неопровержимую истину. Я добрался до нее в самом, можно сказать, конце своей жизни.

— Какая же это великая истина? — спросил летчик.

— «Я не люблю иронии твоей», — сказал актер нарочитым жирным голосом плохого чтеца и рассмеялся. — Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее. А подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете главным образом это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно! И удивительно! Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. Не возражайте. Разговор окончен.

Актер ушел, посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что действительно все окружающее ее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас, в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования.

На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная

синева. Маше казалось, что ветер проносит перед ней, играя, все эти летние дни, один за другим.

По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы во тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды.

Маше было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной.

В Камышине Маша сошла. Ветер нес над Волгой желтую мглу.

Летчик и актер вышли на пристань проводить Машу.

Маша растерянно попрощалась с летчиком. Летчик, не зная что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актер прощается с Машей.

Актер снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел Маше в лицо прищуренными, смеющимися глазами.

— Вы будете счастливы, — сказал он. — Но мое счастье больше вашего. Потому что я старый человек.

— О чем вы говорите? — спросила Маша.

— Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым! — напыщенно сказал актер. — Счастья видеть слезы на глазах Дездемоны, любящей другого.

Он отпустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням. Пароход дал третий гудок и отвалил.

Ветер с реки, пахнущий нефтью, бил в лицо. Низенький седоусый старик топтался около Маши и вполголоса говорил: «Поднести вещицы, гражданочка?» Но Маша не слышала его и не отвечала. Тогда низенький старик сел в сторонке на деревянную скамью и закурил — стал дожидаться, когда Маша, наконец, успокоится.

Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике — его называли «казенкой» — поселились работники колхозной лесной посадки.

Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а, наоборот, очень подвижным и шутли-

вым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было неспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок, — взойдут ли? Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока, — там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса — эти мертвые лишаи среди степей, эта желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли.

Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она резко делится на три части — жизнь в Ленинграде, поездку на пароходе и работу в приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание и своя, как говорил старый актер, поэзия.

В Ленинграде была комната, откуда был виден закат над Лахтой, были подруги, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы.

И где-то в самой глубине сердца не умирала память о летчике, о том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на соловьев, как он смотрел на нее в Камышине с палубы парохода и щека у него вздрагивала, как и тогда, в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жаль.

Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки. Молодой, нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологе ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне...

Лесные посадки зеленоватой мелкой рекой переливались через взгорья и уходили в сухие степи, где курилась над широкими шляхами красноватая пыль.

Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию. Маша де-

лала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам.

Маша загорела. Косы ее выцвели от солнца. Она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу.

Сторожили вагончик Нарзан и мальчик семи лет, Степа, сын начальника участка.

Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто литая из бронзы.

К концу лета на посадки напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из Сталинграда вызвали самолет «огородник», чтобы разбросать на посадки отравленный овес.

Однажды вечером, когда Степа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво погромыхивая мотором, маленький самолет.

Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился.

Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику. Летчик был еще молодой, но виски у него были седые. На куртке летчика Степа увидел две полоски орденских ленточек.

Нарзан, вместо того чтобы облаять летчика, залез под вагончик и начал там незаметно рычать.

— Здравствуй, мальчик! — сказал летчик, сел рядом со Степой на ступеньки и закурил. — Это пятнадцатый участок?

— Да, — робко ответил Степа. — Вы к нам?

— К вам. Тушканчиков буду травить...

— Вот сколько у вас орденов, — сказал, подумав, Степа, — а вы тушканчиков травите. Мы думали, что к нам пришлют летного ученика.

— Я сам напросился к вам, мальчик, — ответил летчик и помолчал. — Маша Климова здесь работает?

— Здесь, — ответил Степа и прищурился. — А что?

— А где она?

— Там, в лесу, — Степа махнул рукой в сторону посадок.

— Действительно, лес! — засмеялся летчик, встал и пошел, не оглядываясь, к посадкам,

Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело, и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла, она остановилась и закрыла лицо руками.

Было уже совсем темно. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

«Зачем Маша закрыла лицо руками?» — подумал Степа и повторил шутливые слова, какие часто говорил о Маше его отец:

— Она у нас чудачка!

А Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолет, мирно дремавший на сухой, теплой земле.

1951

ПОСЕЛОК СРЕДИ СКАЛ

Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Никто против этого не спорил, кроме учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли соглашался, что жизнь в этом поселке, затерянном на берегу океана среди серых скал, лишена всяких событий. Но вместе с тем он утверждал, что где бы человек ни жил, он всегда жалуется на однообразие окружающей обстановки. «Иначе не может и быть, — говорил Кингли. — Человек — существо непоседливое».

Кингли был молод и краснощек. Он начитался хороших книг, а это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть «святым».

Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Но Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно.

В энциклопедическом словаре об этом поселке было сказано следующее:

«Иверсайд — рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная, каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры. Скудная, преимущественно травянистая растительность. Население (2000 человек) занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирает морские ракушки. Гавани нет. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта. Телеграф. Церковь. Начальная школа. В километре к северу от Иверсайда, на мысе Дуг, — маяк с проблесковым огнем (зеленый и белый свет; чередование вспышек — 30 секунд)».

С этого маяка Дуг, собственно говоря, и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фрэд Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в том событии, о котором будет речь впереди.

Но до начала рассказа нам следует, хотя бы бегло, познакомиться с жителями поселка. Это поможет нам разобраться в том, я бы сказал, бурлящем котле страстей, которые владели населением Иверсайда в течение суток, когда с маяка Дуг в шесть часов утра был замечен в тумане на западе... Но об этом речь, как я только что упоминал, будет впереди.

Итак, о жителях. Пожалуй, самыми заметными жителями поселка были мальчишки. В Иверсайде их было около ста. Если не считать самых маленьких, никак не влиявших, в силу своего нежного возраста, на общественную жизнь поселка, то число мальчишек сократится до пятидесяти.

Но и пятьдесят мальчишек, которые ходят в помочах, склонны к преувеличениям и дракам, непременно желают знать все на свете и недоверчиво относятся к советам взрослых, — грозная величина. Ее никак не сбросишь со счетов.

Как во всех рыбачьих поселках, в Иверсайде было много вдов. Что говорить, когда-то это были быстроногие девушки-хохотушки с влажными губами. Но океан и войны отобрали у них мужей. Женщинам

остались в удел только терпение и печаль. Если нет радости, то печаль, говорят, тоже помогает людям кое-как протянуть остаток жизни. Печаль питается воспоминаниями. Если человеку нечем украсить свое существование, он предается воспоминаниям. Одно только плохо: мало находится самоотверженных людей, способных слушать чужие воспоминания,—у каждого с избытком хватает своих.

По утрам, во время отлива, когда океан, курясь холодным туманом, уходил от берегов, десятки женщин спускались со скал с большими корзинами за спиной и собирали ракушки для свиней.

Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались: оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго и Бельфасте.

Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было живых цветов. Комнаты убирали бумажными розами. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами в волосах. В серые дни эти ленты безусловно украшали угрюмый пейзаж Иверсайда.

Цветов в поселке не было, но было много омелы. Она росла на ветках старых вязов около школы.

Омелу в троицын день развешивали по стенам. Ее дарили друг другу на семейные праздники. Издавна это растение считалось у жителей поселка символом дружбы и мира.

Нам остается сказать еще несколько слов о жителях поселка, прежде чем перейти к цели повествования — к тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион.

В Иверсайде, конечно, был, как это принято в каждом приличном поселке, свой чудак, по прозвищу Джон Старое Ведро. Он был лудильщиком. Но, правду сказать, это ремесло занимало небольшое

место в его жизни. В действительности Джон был болтуном, разносчиком всяческих историй и певцом на свадьбах. Пел он глухим голосом, напоминавшим гул заржавленного ведра.

Полной противоположностью Джону был доктор Конрад — угрюмый, тяжеловесный человек в черном поношенном костюме и стоптанных ботинках. Говорил он только в случае крайней необходимости. Чадящую свою трубку он вынимал изо рта не дольше чем на две-три минуты, когда исследовал больного. Он не употреблял стетоскопа и предпочитал выслушивать пациента холодным ухом. Трудно сказать, сколько детских слез вызывало это всегда мокрое от дождей и туманов докторское ухо.

Существовал в Иверсайде еще полицейский Фэрти — долговязый и медлительный ирландец, страдавший ревматизмом. Это обстоятельство часто мешало ему при исполнении служебных обязанностей.

Я не говорю о пожилых мужчинах-рыбаках. Они были удручены заботами и потому немногословны. Да их нельзя и считать постоянными жителями Иверсайда. Две трети своего времени они проводили на море, а последняя треть как-то незаметно растворялась у них между домашним очагом и пивной «Старая палуба», где погромыхивал механический оркестрион.

Мы ничего не сказали о времени, к которому относится действие нашего рассказа. Время было зимнее, декабрьское. Иногда даже выпадал снег, но его тотчас съедали сырые ветры.

Кроме того, время было смутное и тревожное, потому что с Дальнего Запада, откуда обрушивались на берега Иверсайда бешеные волны, накатывался вместе с ними черный призрак войны.

Женщины, когда кормили грудью детей, гладили их руки и плакали: они не могли поверить, что когда-нибудь эти крошечные пальцы будут держать рукоятки лающих пулеметов или передвигать рычаги на «летающих крепостях» и сбрасывать гремящие бомбы на головы таких же беспомощных и доверчивых малышей, какими они сами были еще недавно.

* * *

Да, так вот... В один из последних дней декабря над Иверсайдом бушевал шторм. Воздух был до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникал в окна. Повсюду горели лампы.

В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фрэда Диксона, шестнадцатилетняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае.

Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан, вскрикнула, уронила ключ и побежала назад к маяку.

— Отец! — крикнула она, и ветер, ворвавшись вместе с Джейн в комнату, сбросил со стола пустую бутылку. Она покатилась по полу и зазвенела. — Отец! Пароход около скал Рокхилл!

Фрэд спал после тяжелой ночной вахты. Он зевнул и потянулся, но глаз не открыл. Затрещала деревянная койка.

— Эй, старик! Пароход у самого берега! — снова крикнула Джейн и швырнула в отца тяжелым клубком шерсти. Она хорошо знала, что подходить к Фрэду, пока он совсем не проснется, было опасно: защищая свой сон, Фрэд бил наотмашь рукой или больно лягался.

Клубок ударил Фрэда по щеке. Фрэд медленно открыл глаза.

— Надоело! — хрипло сказал он. — Шторм и шторм! Одиннадцать балов. Маяк гудит, как пустая бутылка. Вот и сейчас встану и натру тебе полотенцем уши, чтобы ты не смела...

Затрещал радиопередатчик. Позывные сигналы запели в нем пискливыми голосами.

— Ага! — крикнула Джейн. — Дождался!

Фрэд вскочил. Он подошел к окну и протер запотевшее стекло рукавом.

Океан совершенно осатанел. Горы тумана неслись, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взле-

тала над скалами Рокхилл, будто там непрерывно рвались тяжелые мины. Хмурое небо перемешалось с водой. Сквозь дикую разноголосицу бури долетали частые тяжелые удары: это океан врывался в подводные пещеры и с ликующим грохотом выбивал оттуда застоявшийся воздух. Но даже шум бури не мог заглушить отчаянных воплей голодного поросенка.

— Уйми его! — крикнул Фрэд, но Джейн не двинулась с места.

Черный низкий пароход мотало на широкой полосе воды между скалами Рокхилл и берегом. Пароход то и дело показывал красное днище.

Фрэд бросился к передатчику.

«На маяке Дуг, — гудел, торопясь, передатчик. — На маяке Дуг. Отвечайте! Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якоря».

Фрэд застучал в ответ:

«Держит, черт вас дери! Держит! Какой сатана занес вас на Дуг?»

Не оглядываясь, Фрэд крикнул Джейн:

— Посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие? Возьми мой бинокль.

— Они, кажется, уже стали на якорь! — прокричала Джейн.

— Чего? Не слышу! Сегодня же я зарежу этого бешеного поросенка!

— Они стали на якорь! — снова прокричала Джейн. — Совершенно не понимаю, при чем тут поросенок!

— А вот при том! — пробормотал Фрэд и снова начал выстукивать: «Куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага».

«Алло! Алло! — ответили с парохода. — Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов. А что касается флага, то протрите глаза».

«Эй вы, отчаянные парни! — простучал Фрэд. — Отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду — вас туда наверняка сволокут. Алло! Что?! Советский рыболовный траулер?! Какого порта? Мурманска?»

— Смотри на флаг, девчонка! — вдруг заревел Фрэд в сторону Джейн. — Бездельница!

— Кажется, обыкновенный красный флаг, — обиженно ответила Джейн. — Он промок, и его плохо видно. Чего ты орешь?

— Обыкновенный? — зловеще переспросил Фрэд. — Может быть, ты думаешь, что это флаг общества любителей рыбной ловли? Или республики Шари-Вари? Пора бы в шестнадцать лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка. Сейчас же одевайся! Причешись! И беги в Иверсайд. С запиской. К учителю Кингли.

* * *

Через час все население Иверсайда было потрясено известием, что между скалами Рокхилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер, возвращающийся к себе на родину.

По всему поселку захлопали тяжелые двери. В Иверсайде было обыкновение привязывать к дверям бутылки с дробью, чтобы двери закрывались сами собой. Поэтому почти во всех домах можно было наблюдать одну и ту же картину. Муж, услышав от соседа, неистово колотившего в окно, ошеломляющую новость о советском траулере, торопливо натягивал куртку, нахлобучивал шапку и бросался к двери. Едва он успевал отворить дверь, как жена кричала ему в спину:

— Постой! Неужели у тебя не хватает ума рассказать, что случилось! Куда ты кинулся?

— На берег. Там я все разузнаю.

Муж переступал порог, но жена не унималась.

— Погоди! — кричала она.

Муж останавливался, нетерпеливо придерживая дверь ногой.

— Ты там прилипнешь! — кричала жена.— Я тоже хочу все знать. Возвращайся скорее!

— Ладно! — отвечал муж и поспешно отпускал дверь. Она с размаху била его в спину, и человек вылетал на улицу, спотыкаясь, как будто его вышвырнули из собственного дома.

Но жена долго не выдерживала. Она срывала с очага закипающий котелок, гасила огонь, накидывала на голову теплый платок и выбегала из дома: будь что будет! Можно обойтись в такой день и без обеда!

Вскоре все население Иверсайда собралось на берегу. Он был опоясан широкой пеной и дрожал от удара валов.

И хотя вдали ничего нельзя было разобрать, но все молча смотрели на север, в сторону мыса Дуг, и каждому казалось, что он как будто видит то темный корпус советского парохода, то верхушки его мачт, мерно вылетающие из тумана.

Ветер трепал рыжеватые волосы Кингли. Учитель прибежал на берег в одном пиджаке и без шляпы. Кингли поминутно снимал очки и протирал выпуклые стекла, но прибой тотчас забрызгивал их снова, и учитель только беспомощно улыбался.

— Что вы можете сказать по этому поводу, мистер Кингли? — спросил учителя Джон Старое Ведро.

Тотчас вокруг Кингли собралась толпа.

— Что сказать! — ответил ему Кингли. — Я обращаюсь к женщинам. Они поймут меня, пожалуй, лучше, чем вы. Потому что нет такой женщины в Иверсайде, которая хоть раз в своей жизни да не рассказала бы детям сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда, к сожалению, никогда не приходят к нашим берегам пароходы.

— Бывало, мистер Кингли! Бывало! — ответила сухощавая женщина и улыбнулась. — Но я рассказывала об этой стране только для того, чтобы успокоить моих детей, когда они плакали. Я их обманывала.

— Нет! — возразил Кингли. — Вы их не обманывали. Вы рассказывали им святую истину. Люди из этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле! Но, к сожалению, мы их не сможем увидеть.

— А если окончится буря? — спросил мальчик в рваной отцовской шляпе.

— Боюсь, что им все равно не позволят сойти с палубы к нам на берег, — ответил Кингли. — Министры его величества короля не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого.

— В таком случае, — сказал Джон Старое Ведро, — мы можем сделать обратное и подняться с берега к ним на палубу.

— Никто не решится на это в такой шторм, — ответил Кингли.

Рыбаки промолчали и только переступили с ноги на ногу; это означало, что они совершенно согласны с Кингли.

Толпа почтительно расступилась. К Кингли подошел почтенный мистер Кларк. Он был в длинном черном пальто и черных гамашах, застегнутых на маленькие круглые пуговицы.

— Я думаю,— сказал Кларк, — что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такую бурю за скалами Рокхилл. Кто эти безумцы, да спасет господь их души!

— Это русские, — ответил Кингли.

Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на мокрых овец. Они неслись, толкаясь, с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова.

— Непостижимо! — произнес, наконец, Кларк и опустил глаза. — Как же они попали сюда?

Рыбаки переглянулись. Потом самый старый из них, Томас Бэри, сказал, стащив с седой головы теплую шапку:

— Мы так думаем, сэр, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами. И не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть. Просто траулер занесло к нам штормом. Но как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. И вам бы следовало помолиться в церкви,

чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы.

— Я подумаю об этом, Томас, — ответил Кларк.

В это время тяжело затрещали ракушки под стоптанными ботинками доктора Конрада.

— Я иду на маяк: может быть, им нужна врачебная помощь, — сказал он, не вынимая изо рта трубку. Теплый ее дым разлетелся среди толпы, и рыбаки, вздохнув этот дым, тотчас начали вытаскивать свои трубки.

Доктор Конрад повернулся и пошел к маяку, тяжело пробиваясь сквозь ветер.

Толпа молча следила за доктором. Потом стая мальчишек бросилась вслед за ним и обогнала его, обежав далеко стороной.

Кингли пригладил волосы, поднял воротник пиджака и быстро пошел по береговой дороге к маяку Дуг. За ним двинулись рыбаки. Они шли медленно, засунув руки в карманы, не спуская глаз с бушующего океана.

За рыбаками, помедлив, пошли женщины. Они закрывали подбородки платками. Иные женщины слабо улыбались, глядя себе под ноги, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра.

— Ты чему улыбаешься, Анна? — спросила одна из женщин свою подругу.

— Не знаю, Мэри, — ответила Анна и отвела глаза. — Мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Иверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой и тарелок с хлебом. Хотя нас было и много, но мы были все-таки одни.

— Что ты плетешь? — сердито сказала Мэри.

— Я не плету. Я просто не умею высказать то, что у меня на душе. Вот теперь мне кажется, что мы не одни. Ты слышала, что говорил Кингли?

— Слышала.

— Значит, есть у нас защитники на свете, Мэри. Как ты думаешь? Правда, они далеко, но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться.

— Помолчи! — сказала Мэри. — Не ты одна так думаешь. Если нам повезет, то мы их увидим сегодня или завтра.

— А что бы ты сделала для них? — спросила Анна.

— Я бы что-нибудь испекла, — ответила Мэри. — Но ты же видишь, что я порезала пальцы ракушками, и они нарывают. Доктор Конрад говорит, что они заживут не раньше, чем через неделю.

Мэри показала Анне маленькую сухую руку, перевязанную стираным бинтом.

— Ничего, — сказала Анна. — Я испеку за тебя. И за себя.

Позади всех шли девушки и Джон Старое Ведро. Девушки ни о чем не разговаривали, а только перекликались.

— Ну что ж ты, Молли?! — кричала одна.

— А ты что ж, Мод, разве охрипла? — отвечала ей другая.

Девушки, очевидно, о чем-то сговаривались и никак не могли сговориться. Тогда Джон Старое Ведро откашлялся, сплюнул и запел громовым голосом, вполне вязавшимся с грохотом бури:

Смочи свой хлеб в морской воде, —
Быть может, слаще будет он!

— Эге! Эгей! — подхватили припев девушки.

Взгляни в глаза ночной звезде,
Спроси дорогу в Карнарвон.
Эге! Эгей!
Дорогу в тот счастливый край,
Где не седеют в двадцать лет.
Эге! Эгей!
Туда придешь, не забывай
Про горький хлеб, про тусклый свет
Страны покинутой своей.
Эге! Эгей! Эге! Эгей!

* * *

Кларк, помедлив, пошел с берега к церкви, отпер ее, прошел в холодный алтарь, надел облачение и начал громко молиться.

Дверь в церковь, как всегда во время службы, он оставил открытой. В нее проникал ветер и шум

океана. Впервые церковь была совершенно пуста. Вошел только старый кот доктора Конрада, развязно сел на пороге и начал умываться, поглядывая на Кларка наглыми глазами.

Потом на паперти раздались тяжелые шаги, но кот не посторонился. В церковь вошел, прихрамывая, полицейский Фэрти. Он остановился посреди церкви и высморкался. Кларк молился. Тогда Фэрти закашлял. Кларк, не оглядываясь, продолжал молиться.

— Сэр! — хриплым шепотом позвал Фэрти.

Кларк окончил молитву и только после этого повернулся к полицейскому.

— Сэр! Я понимаю, что совершаю кощунство, но вы знаете, что случилось в Иверсайде? — сказал Фэрти.

— Что? — спросил Кларк.

— Иверсайда нет! — ответил полицейский с некоторым пафосом. — Его сдуло к чертовой бабушке.

— Вы забываете, что находитесь в доме божием, — строго заметил Кларк.

— Тысяча извинений, сэр! Но в городе нет никого. Осталось всего каких-нибудь пять-шесть человек. Все ушли к маяку, чтобы поглазеть на советский пароход. Все! Как будто они взбесились.

— Это свидетельствует, — спокойно заметил Кларк, — о совершенно одинаковом образе мыслей у жителей Иверсайда. И больше ни о чем.

— Так-то оно так! — согласился Фэрти. — Но что же я должен в этом случае делать, сэр?

— Каждый должен исполнять свой долг. Я молюсь о спасении заблудших душ человеческих. А вы, как я полагаю, должны действовать по инструкции.

— Но на этот случай нет никаких инструкций, — жалобно сказал Фэрти. — Этот случай никем не предусмотрен, сэр. И не может быть предусмотрен. Хорошенькое дело! Весь город уходит в одно прекрасное утро, отказавшись даже от чашки ячменного кофе, сэр. Это невероятно!

— Раз у вас нет инструкций, — ответил Кларк, — то получите их! И не мешайте мне молиться!

Фэрти тяжело вздохнул и вышел из церкви. По дороге он взял за шиворот старого кота доктора Конрада, вынес его на церковный двор, бросил на землю и затопал на него ногами, явно сознавая, что теряет время на пустяки, тогда как... О господи! Фэрти подтянул пояс и пошел к телеграфу.

Телеграфист Майкл был по натуре человеком унылым и насмешливым. В это утро уныние его еще удесятерилось тем обстоятельством, что он не мог вместе со всеми быть на маяке Дуг. Поэтому никогда еще внешние признаки уныния, свойственные Майклу, не бросались в глаза так заметно, как сейчас. Фэрти увидел Майкла, и сердце у полисмена упало: что может посоветовать этот развинченный джентльмен?

— Майкл! — сказал Фэрти. — Мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго.

— О чем? — равнодушно спросил Майкл и посмотрелся одним глазом, как в зеркало, в никелированное лезвие ножниц.

— О том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Иверсайде.

— Мне все равно, — ответил Майкл. — Запрашивай хоть тронную речь короля. Инструкции! Это будет дурацким поступком с твоей стороны. Ну что ж ты? Садись, пиши телеграмму.

— Почему дурацким? — спросил, нахмурившись, Фэрти, не обнаруживая никакого желания писать телеграмму.

— Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот. А если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один. За сообразительность и смелость. Не будь коровой.

Эта простая мысль повергла Фэрти в полное замешательство. Он начал всячески напрягать свое воображение, чтобы найти способ самому прекратить беспорядки в Иверсайде. Но ум полисмена так же тверд и лишен гибкости, как и его дубинка. Поэтому Фэрти ничего не придумал. В дальнейшем он так жестоко

за это пострадал, что даже вызвал некоторое сочувствие к себе у жителей Иверсайда. Но это обстоятельство уже выходит за рамки нашего рассказа, и потому мы не будем на нем останавливаться.

* * *

В это время у маяка Дуг происходило следующее. Маяк был окружен толпой жителей Иверсайда, и человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом.

Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал негодование мальчишек. Они свистели в два пальца и колотили кулаками в ворота, заглушая визг до сих пор еще не накормленного поросенка. Мальчишки надеялись, что их в конце концов пустят на маяк, и с его чугунного балкона они смогут рассмотреть советский пароход во всех подробностях и даже, чего доброго, увидеть на его палубе живых людей. Самые маленькие мальчики тихо плакали от досады. Но Диксон был неумолим. Он разрешил Джейн пропустить внутрь маяка только Кингли, доктора Конрада и Томаса Бэрна.

Все остальные жители Иверсайда стояли на обрывистом берегу и смотрели на пароход. Он вздымался на волнах, натягивая лязгающие якорные цепи.

Люди зябли. Кожа у них на лицах и руках была так стянута от зимнего ветра, что даже блестела. Но никто не собирался уходить. Все ждали, что произойдет какое-нибудь событие. И в ожидании этого события люди перекликались друг с другом под шум прибоя.

— Видали Джейн? Девчонка распухла от чванства. Будто ее уже принимали, как какую-нибудь волшебную фею, на борту этого парохода.

— Смотри, Мэб, как он близко! Кажется, можно перескочить.

— Если бы у меня были семимильные сапоги!

— А что бы ты им сказала, если бы попала туда!

— Не знаю... Я бы, наверное, расплакалась и ничего бы не сумела сказать.

— А я бы расцеловала каждого и сказала: «Это от всех бедных девушек Англии».

— Слушайте, девушки! Если вы будете болтать ерунду, то я расскажу об этом мистеру Кларку.

— Тихо! — крикнул Джон Старое Ведро, стоявший у самых ворот. — Есть новости: мистер Кингли разговаривает по радио с русскими.

Все стихли, как будто они могли услышать слабый и прерывистый гул радио за толстыми стенами маяка.

В первую очередь говорил с русскими доктор Конрад. Он осведомился, нет ли на борту больных, — помощь можно оказать путем советов по радио. Русские поблагодарили и ответили, что у них на борту есть свой врач.

— Передайте им, — сказал доктор Конрад Диксону, сидевшему около передатчика, — что я удовлетворен тем удивительным явлением, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Я очень удовлетворен. Да! Очень!

Никто еще не слышал от доктора Конрада такой длинной тирады. Поэтому все немного помолчали.

Потом говорил с русскими Кингли. Он очень волновался.

— Жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые Оссианом, помогли вам спастись от шторма. Очень сожалеем, что полный шторм, равно как и другие, небезызвестные для вас обстоятельства не дают нам возможности посетить вас и в свою очередь принять вас у себя.

— Все? — спросил Диксон.

— Нет. Передайте еще, что все мы верим в добрую волю народов. Они поймут, что я хочу сказать.

«Ждите ответа», — передали русские.

— Что это значит? — спросил встревоженно Кингли.

— Это значит, что надо ждать, — ответил Фрэд Диксон. — Джейн, сейчас же отнеси похлебку этому

осатанелому поросенку. Иначе я не ручаюсь за себя!

Джейн вышла во двор, но тотчас ворвалась обратно на маяк и закричала:

— Отец! Они отвечают!

Все бросились к окну. Русские подымали на мачте разноцветные флаги по международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву.

Жители Иверсайда были потомственными моряками, и потому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром:

«Привет трудящимся Англии!»

Когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный — в два тона — гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым Оссианом. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль, через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Утверждать это мы, конечно, не можем, но, возможно, что было и так.

Толпа на берегу обнажила головы. А Джейн сорвала с головы платок, закрыла им лицо, и плечи ее затряслись, должно быть, от слез.

О чем пел гудок? Должно быть, о том, о чем мечтал другой великий, но не шотландский, а русский поэт. Жители Иверсайда не могли знать его сокровенных мыслей, выраженных в стихах, но многие из них знали его имя. А он мечтал о том, что «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». И можно с уверенностью сказать, что эта мысль владела всеми, кто в этот час стоял, обнажив голову, под холодным ветром на берегу около маяка Дуг.

* * *

К рассвету шторм начал заметно утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки.

Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесло старую шлюпку. Два человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. Один человек был стар. Рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. Второй человек в промокшем насквозь пиджаке был молод и рыжеват. На корме сидела девушка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девушка держала в руках маленькую круглую корзину.

— Шлюпка по левому борту! — прокричал вахтенный.

Команда траулера столпилась у борта. Со шлюпки что-то кричали, но ничего нельзя было разобрать.

Шлюпку наносило на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девушка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера. Ее подхватило несколько рук.

Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы, Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как траулер, выбрав якоря, двинулся против волн и начал медленно огибать скалы Рокхилл.

Круглую маленькую корзину принесли в кают-компанию и осторожно развязали. В корзине лежали ветки какого-то растения с бледно-зеленой твердой листвой. Моряки с недоумением переглянулись.

Молодой капитан траулера взял ветку и долго ее рассматривал.

— Должно быть, вы не знаете, что это такое? — спросил он.

Матросы молчали.

— Это омела. В Англии ее дарят в знак мира и дружбы. Мы повесим ее здесь, в кают-компании.

Ветку осторожно прибили к стене. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое размытое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на стон шотландской арфы.

Ветер врывался в открытый иллюминатор и шевелил листву омелы. И было, конечно, жаль, что на этой зеленой ветке не осталось следов от крепкой руки того самого смелого в Иверсайде мальчишки, который по просьбе Кингли, Джейн, всех девушек, всех пожилых женщин, рыбаков и доктора Конрада охотно влез на самый высокий вяз и сорвал с него эту самую зеленую и самую свежую ветку омелы.

1951

ПРИШЕЛЕЦ С ЮГА

Осенью 1951 года, на конференции писателей юга в Ростове-на-Дону, сочинский селекционер Зорин, автор нескольких книг о субтропической флоре, подарил мне маленький пакет с цветочными семенами. На пакете было написано: «Луноцвет».

Я впервые услышал об этом цветке, но Зорин почему-то не захотел рассказать мне о нем. В ответ на мои расспросы он только загадочно улыбался.

— Посадите этот цветок у себя в саду под Рязанью, — сказал он. — Только одно условие: когда на луноцвете созреют бутоны, то в первые же теплые сумерки сядьте около него и терпеливо ждите.

— А что случится? — спросил я.

— Сами увидите, — так же таинственно ответил Зорин.

Через несколько дней я попал из Ростова в Таганрог. В городке этом было много любителей-цветоводов. Таганрогские дворики напоминали умело подобранные букеты.

Был сухой день поздней осени. Вороха сизо-желтых листьев акации шумели под ногами. Внизу, под глинистым обрывом, поблескивало Азовское море. Его вода была по цвету похожа на желтоватую листву акаций.

Я расспрашивал таганрогских цветоводов о луноцвете, но никто из них не знал о нем.

В Москве тоже никто не слышал об этом южном растении. Но все, будто сговорившись, утверждали, что оно, конечно, не выживет и во всяком случае ни за что не расцветет у нас, в средней полосе России.

Весной я посадил семена луноцвета у себя в саду под Рязанью.

Рязанская земля казалась мне слишком грубой для этого таинственного цветка. Сейчас же за садом начинался сосновый лес с его серой, похожей на золу, рассыпчатой почвой. Должно быть, за сходство с золой эта почва и получила название «подзола». На ней хорошо росли только можжевельник, волчье лыко и жесткая, остистая трава.

Действительно, трудно было поверить, что на ней может вырасти этот цветок — пришелец из мягких южных краев с их благоуханием и жаркой влажностью.

Но луноцвет взошел. Лето выдалось прохладное. Почти каждый день небо заволакивали низкие, тяжелые тучи, и из них косо летел, барабаня по крышам, быстрый холодный дождь.

Луноцвет, пренебрегая всем этим, рос так же быстро и буйно, как у нас растет только бурьян — крапива, чистотел или лебеда.

К августу его кусты уже вытянулись в человеческий рост и на них появились большие, длинные бутоны. Они были похожи на наконечники пик или на свернутые и спрятанные в зеленые чехлы полковые знамена.

Каждые сумерки около луноцвета собирались жители нашего деревенского дома и кое-кто из соседей: Галка — девушка с длинными косами, шумная и сероглазая, маленький мальчик Алешка, его няня Прасковья Захаровна — пожилая женщина, имевшая самостоятельное суждение обо всем на свете, дед Кузьма и колхозный шофер с многострадального грузовика Ваня Самарский — человек скорый на работу и любопытный до крайности — и, наконец, я. Каждому хотелось узнать, что это за цветок и в чем его тайна.

Дожди к тому времени уже прошли. Август, чуть тронутый осенней ржавчиной, стоял сухой и безветренный.

И вот свершилось! В сумерки одного из таких августовских дней все бутоны луноцвета внезапно вздрогнули и на них появились узкие щели. Тотчас из каждого бутона вытянулись белые тугие звезды пестиков. Каждый пестик начал быстро вращаться слева направо, чашелистики (бутонные чехлы), скрывавшие цветок, отлетели от него, как на пружинах, и показался туго свернутый, напоминавший веретено, бледно-золотой венчик.

Пестик, вращаясь, быстро раскручивал этот венчик. И, наконец, цветок, похожий на большую чашку из золотистого прозрачного фарфора, раскрылся до конца со странным шумом, будто легко вздохнул. И выдохнул при этом горьковатый миндальный запах, до тех пор прочно запертый внутри лепестков.

Все пестики на бутонах вращались, вздохи цветов слились в один слитный и явственный шепот, и вскоре весь куст уже светился в сумраке большими влажными цветами. Деревенский сад, привыкший к запаху мяты и ромашки, как бы заполнился воздухом тропических чащ.

Когда первый бутон начал быстро вертеться, маленький Алеша закричал:

— Ой, он винтается, этот цветок!

— Тише! — прикрикнула Галка. — Не шуми, балабошка Алешка! Ты его напугаешь.

И маленький мальчик — ему было около трех лет, — пораженный не меньше взрослых удивительным зрелищем шевелящихся и шепчущих цветов, замолчал и только каждый раз, когда, зашумев, раскрывался, как бы вспыхивая, новый цветок, боязливо протягивал к нему руку, но тотчас ее отдергивал.

Все молчали, чтобы лучше расслышать шорох цветов. Дед Кузьма смотрел на луноцвет, открыв рот. Махорочная цигарка прилипла к его губе, догорала, жгла ему рот, но он не обращал на это внимания.

Когда все сорок или пятьдесят цветов луноцвета раскрылись за несколько минут, около цветущего куста произошел разговор.

— Галка, — сказал Алешка и прищурился, — ты сама не шуми, а то они от тебя улетят. Совсем глупая!

Действительно, цветы луноцвета еще не совсем успокоились, еще слабо шевелили лепестками и были похожи на стаю бабочек, севших на куст.

— Ишь, какой самостоятельный тип! — сердито сказала Галка. — Как ты смеешь так разговаривать со взрослыми! Я тебе покажу!

— Это нельзя! — примирительно сказал дед Кузьма.

— Чего нельзя?

— Нельзя, дочка, сердиться. Ты жучиной малому не грозись. Ты лучше на этот цвет погляди, полюбуйся. А Алешка, известно, лихой господин. Что с него взять!

— Няня, они живые? — спросил Алешка, совершенно не обратив внимания на весь этот разговор.

— Да уж и не знаю, — с сомнением ответила Прасковья Захаровна. — Волшебные, конечно, цветы.

— Как это? — спросил Алешка и с тревогой посмотрел на Прасковью Захаровну.

— Ну, просто волшебные, — ответила за нее Галка. — Я же тебе читала волшебные сказки. Помнишь? Так эти цветы пришли к нам в сад из такой сказки.

— Как пришли? — снова спросил Алешка и испытующе посмотрел на Галку. — В гости?

— А вот как — это самое, по-моему, удивительное дело, — сказал Ваня Самарский.

— Чего ж удивляться-то! — возразил дед Кузьма.— Удивлялись мы сколько лет, а теперь нам удивление не в удивление. Вó какие мы стали лихие господа!

— Это как? — строго спросил Алешка. Спрашивал он только по привычке.

— Бесперечь удивлялись. Прямо шпыняло нас новостями со всех боков. Первым делом — трактор! Потом эти самые самолеты пошли гудеть над полями, опылять посевы. Потом, значит, комбайн явился. Переполоху наделал — страсть! Да и то сказать — чудо-

действенная машина. Потом огонь электрический провели, запылали светом окрест все села до самой глухомани, до Лопухов. Пильщик я был. Помимо меня, никто не умел пилу из сосны вытащить, когда ее всей сосной зажимало. Я один этот секрет ведал, а теперь пилят электрической пилой. Вжик, вжик, — и пожалуйте!

Алешка засмеялся. Он прямо захлебывался от смеха.

— Чего это он? — удивился дед.

— Это он на «вжик» — объяснила Галка.

— Вот-вот! — одобрительно сказал дед Кузьма. — Ты смейся, милок. Говорят, когда человек много смеется, так ему сахару потреблять не надо. Верно это или нет?

— Тоже выдумывают невесть что, — гневно сказала Прасковья Захаровна. — А ты и рад повторять. Перед ребенком. Его и так есть нипочем не заставишь.

— А ты ему зубы заговори — он и станет исть. На то ты и нянька.

Схватка между дедом Кузьмой и Прасковьей Захаровной грозила разгореться, но тут вмешался Ваня Самарский.

— Да будет вам! — сказал он с досадой. — Можете вы это понимать, что сотни лет стояла наша рязанская земля, всякие в ней случались события, а вот такого цветка еще никогда здесь не было? Не вырастал на нашей земле такой замечательный цветок. И я думаю, что отсюда надо нам сделать вывод.

— Ну-ну, делай, — согласился дед Кузьма, закуривая цигарку. — Лети в небеса.

— Цветок этот, конечно, для красоты, — сказал как бы с сожалением Ваня и с виноватой улыбкой посмотрел на меня. — Вы не обижайтесь. Я понимаю, что без этого, без красоты, не может быть жизни. Особенно если говорить о коммунизме. Тут дело не в этом. А в том, что цветок этот южный, зябкий, для нашего климата как будто бы посторонний. А вот растет и цветет. Дело, значит, не в одном этом цветке, а в дерзости человека.

— А я теперь ничему не дивлюсь, — повторил дед Кузьма. — Арбузы под Москвой стали растить. Это что ж такое? Это, брат, прямые чудеса! Или, скажем, наши луга. Старые луга, что говорить. Ну, мельчают, понятно. Трава свою породу теряет. Так ране кто об этом заботился? Да никто! А нынче, видел, сколько машин пригнали? Будут луга молодить. И будет тут рость не трава, а чистое золото.

— Это как? — спросил Алешка.

— Ну, золото. Как тебе растолковать? Вещество вроде как этот цветок, только с твердостью. И со звоном. Я лучше тебе расскажу про мужичка одного колхозного, что хотел все знать.

— Он злодей? — спросил Алешка.

— Что ты, милок! — испугался дед. — Какой же он может быть злодей, когда был он человек душевный, разговорчивый! Ему только желательно было все знать, что круг него существовало. Пьет, скажем, чай — вот ему и интересно, откуда этот чай берется. А берется он из теплых краев, из сушеных листочков. Или, к примеру, откуда происходит сахар. Из свеклы он происходит, только она у нас не зреет. Тут ей больно холодно. Вот собрался тот человек и пошел в теплые края посмотреть своим глазом, как это все произрастает. А там, понятно, благоухание, и кущи, и сады совершенно райские. И висят в тех садах лимоны.

— Мандарины, — сказал Алешка.

— А я те говорю — лимоны! И думает наш человек: «Это, думает, не путь! Одной земле все дано, а другой — вроде ничего. Соберу-ка я семена да понесу в свой край. Обрадуется им наша земля. Она-то ведь не балованная, на ней только суровый злак растет. А ей ведь тоже охота расцвесть в полной своей силе». Собрал он семена, идет на родную сторону. А там в то время зима. Завалило леса снегом по самые верхи. Он возьми и кинь горсть тех семян на снег. И что ж ты думаешь! Сразу осели, ухнули снега, хлынули ручьями, вышла из-под них сырая земля, и на той земле, в теплом пару, вырастают вот так же скоро, как этот цвет золотой, всякие дивные злаки, цветы и

травы. Такие, как там, в тех теплых краях. Прямо за его пятой вырастают.

— Все ты выдумываешь, Кузьма, — сказала Прасковья Захаровна. — Старый — как малый.

— Иносказание, — вдруг сказал Ваня Самарский и покраснел. Должно быть, оттого, что произнес это мудреное слово.

На следующий день на кустах луноцвета расцвело уже не пятьдесят, а больше сотни цветов. Со всей деревни начали приходить посетители, чтобы посмотреть на этот чудесный цветок.

Мальчишки весь день висели на заборе и свое восхищение выражали только привычными возгласами.

— Ух ты! — шептали они. — Глянь-ка, ох ты! Вот так да!

Взрослые смотрели на цветы почтительно, разговаривали почему-то вполголоса и, уходя, говорили:

— Вот и еще одно происшествие у нас интересное.

Однажды я вышел в сад ночью и осветил куст луноцвета сильным фонарем. Он предстал предо мной среди окружающей тьмы во всей своей нежной красоте. Так, должно быть, сверкали те цветы и травы, о которых рассказывал дед Кузьма. Как правдивы истоки народной поэзии и какие ее богатства заключены в нашем времени!

1952

СЕКВОЙЯ

Дом отдыха стоял на бугре, заросшем густым осинником и старыми елями. Под бугром, в глубоком овраге, бормотала речушка Вертушинка. Назвали ее так, должно быть, за то, что она очень вертелась и петляла по оврагам. Куда бы ни выходили отдыхающие из дома, они всюду натыкались на эту позванивающую подо льдом речушку.

На изгибах, где течение было быстрее, Вертушинка промыла во льду полыньи. В них под вздрагивающей водой было видно каменистое дно, а около тонкого края льда всегда собиралось и вертелось каруселью все, что несла зимой вода, — перегнившие, черные листья, куски коры, мох, пух, растерянный в драках синицами, и семена.

Семян было больше всего. Особенно много несла Вертушинка семян ольхи — темных шершавых шариков.

Андрей Иванович Дубов, лесовод и селекционер, попал в этот писательский дом отдыха случайно. Когда ему в научном институте предложили путевку в этот дом, Дубов тотчас согласился. Ему давно хотелось пожить среди людей так называемой «свободной профессии».

Но потом Дубова начали одолевать сомнения. Все-таки среда незнакомая. Писатели, говорят, люди бывалые, интересные и разносторонние, но шумные и насмешливые.

Дубову, как человеку только одного своего лесного дела, казалось, что он будет выглядеть среди писателей как житель тайги, попавший без всякой подготовки, в неуклюжих унтах и тулупе, на концерт в Большом зале консерватории. Вокруг него будут спорить о книгах, стихах, о всяких сложностях писательской работы. Будут, конечно, ждать, что и он вмешается в эти разговоры. А как он может вмешаться, когда в литературе он мало что знает?

Поэтому первые дни в доме отдыха Дубов только присматривался и помалкивал. Каждый день за обедом и ужином он выслушивал столько всяких историй — то смешных, то печальных, то фантастических, столько острот и анекдотов и вдруг разгоравшихся, как лесной пожар, интересных и яростных споров, что к вечеру у него разбаливалась голова.

Но он быстро привык к этим разговорам, вошел во вкус и уже через неделю с нетерпением ждал новых рассказов. Он уже не чувствовал себя чужаком.

Просыпался Дубов очень рано, еще в темноте.

Стоял конец декабря — самые короткие дни в году. Даже в полдень небо на горизонте над прозрачными перелесками и покрытыми снегом полями было затянуто темной мглой. Будто ночь только на короткое время — и то неохотно — отошла в сторону и очень скоро вернется.

Дубов одевался и шел к Вертушинке. Ночь мутнела, воздух наливался слабой синевой. Потом эта синева переходила в мягкий серый цвет. Черные ели тяжело стояли среди утренней мглы, как будто их выковали из позеленевшего чугуна кузнецы.

На берегу Вертушинки Дубов часто встречал девушку Настю, дочь одного из писателей, школьницу девятого класса.

Она отдыхала в доме после болезни, много ходила на лыжах и впервые зачитывалась «Войной и миром».

Отец ее весь день сидел в гостиной и играл в шахматы. Настя время от времени врывалась в гостиную, кричала с отчаянием: «Папа, князя Андрея убили!» — и убегала, чтобы через час опять ворваться и крикнуть, но уже радостно: «Папа, его, оказывается, не убили, а ранили!»

Отец только махал на Настю рукой.

Настя, встречаясь с Дубовым, всегда улыбалась, и в ее открытой улыбке было столько чистейшей прелести девичества, свежести и еще не осознанного счастья, что Дубов улыбался в ответ.

Какими-то еще неясными для него самого путями эта улыбка связывалась у Дубова со множеством хороших мыслей. Вернее, она вызывала эти мысли о счастливом значении его работы, о будущем, о том, что не так уж далеко весна.

Ее приближение даже как будто было заметно по теплым ветрам, доносившим из леса запах оттаявшей коры, по блеску капель, стекавших с ледяных сосулек (будто десятки маленьких солнц косо летели по воздуху и исчезали в рыхлом снегу), наконец по свисту синиц, дружно расклевывавших еловые шишки.

Настя почти всегда подходила к промоине на Вертушинке на лыжах.

Длинные ее косы были переброшены со спины на грудь, она глубоко дышала от лыжного бега, щеки у нее нежно рдели, а глаза под запушенными ресницами сверкали нестерпимо, будто в них за зеленоватым зрачком были зажжены маленькие звезды.

Каждый раз Настя находила под водой новые интересные вещи: то вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку (она казалась заржавленной), то жестяную консервную банку, блестевшую, как начищенное серебро, то лиловый от холода и мертвый лист водяной лилии. Один раз она даже увидела, как через промоину пронеслась длинная, как веретено, маленькая рыба, и почему-то решила, что это форель, хотя форели под Москвой не водятся.

О каждой вещи Настя расспрашивала Дубова: почему листья лилии, когда вянут, делаются лиловыми, а еловая хвоя — рыжей, правда ли, что жуки водомеры

зимой не умирают, а спят на дне под камнями, и могут ли прорасти те семена, что вертятся в водовороте на промоине. Вот хорошо бы действительно собрать их, посеять и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, вырастет целый сад из этих речных семян.

Дубов сначала отвечал Насте очень точно, научно, но по легкому разочарованию на ее лице наконец понял, что она ждет от него других ответов.

Очевидно, в связи со всеми этими подводными вещами у Насти в голове уже роились всякие волшебные рассказы. Ей, должно быть, хотелось знать не только точное объяснение явлений, но и уловить ту трудно передаваемую, скрытую поэзию, что жила в этих палых листьях, тонком ледке, его звоне, в мохнатых комьях снега, остром воздухе осиновых чащ и во всем этом дремотном зимнем дне.

Но передать ей эту непонятную власть зимы Дубов не мог. Он знал, что Насте хочется сказки. «Это дело писателей, — говорил он себе, — придумывать сказки. Я, конечно, чувствую красоту зимы, но выразить ее не могу. Слов у меня не хватает. И должно быть, и воображения. Засох я на научной работе».

Однажды вечером один из писателей читал в гостиной свою только что написанную сказку.

Писатель был пожилой, в очках, страдал одышкой и очень ревниво следил за тем, чтобы во время чтения не было никакого шума.

В сказке говорилось об огромных деревьях. Внутри этих деревьев жили маленькие человечки. Они выдолбили в стволах целые города с заводами, школами и учреждениями, провели трамвай и метро. И с человечками этими случались всякие приключения.

После чтения начался разговор. Говорили сначала туго, потом оживились. Сказку хвалили, хотя кое-кто и говорил, что она несколько искусственна, что даже в сказках надо исходить из реальности, из подлинных и интересных жизненных случаев и явлений.

Писатель молчал, но с этим, видимо, не соглашался. Может быть, потому, что в сказке упоминались

деревья-великаны, писатель повернулся к Дубову и спросил:

— Ну, а вы что думаете? С точки зрения знатока природы и лесовода?

— Что же я могу сказать? — ответил Дубов. — Мне нравится. Но дело в том, что на земле есть гораздо более сказочные деревья, чем те, которые вы описали.

— А ну, ну, давайте, рассказывайте! — сказал молодой поэт и даже потер руки. Очевидно, сказка ему не нравилась.

— Я не знаю... — неуверенно сказал Дубов. — Дело в том, что сказка должна быть, по-моему, фантастичнее.

— О каких деревьях вы все-таки говорите? — придирчиво спросил писатель-сказочник.

— Вот вы пишете, что ваши деревья были такие высокие, что за них цеплялись тучи, — сказал Дубов, почему-то сердясь. — Тут дело не в высоте деревьев, а в высоте облаков. Бывают такие низкие облака, что они цепляются даже за вершины сосен. А дерево, о котором я хотел вам сказать, — это мамонтово дерево, секвойя. Исполинская сосна. Она вырастает в высоту на полтораста метров. Толщина ствола у нее чудовищная, до пятнадцати метров. Самое долговечное дерево на земле. В Калифорнии есть секвойи, прожившие три тысячи лет. Уже при Гомере они были большими деревьями. А при Колумбе — великанами.

— А ну, ну, давайте, давайте! — снова сказал поэт, но теперь уже без всякого злорадства.

— Так вот... Дело в том, что это замечательное дерево может хорошо расти и у нас в Советском Союзе. В Крыму, в Никитском саду, есть несколько молодых секвой. Молодые, а в общем гиганты порядочные. Вдвое выше самой высокой сосны.

— Почему же вы не сажаете леса из секвой? — строго спросил Настин отец.

— В том-то и дело, — ответил Дубов, — что секвойя — дерево вырождающееся. Оно вымирает. Это остаток прошлого. Секвойя в Америке уже потеряла

способность размножаться. Те деревья, которые там есть, — последние. Новых не будет.

— Какая жаль для нас, для всей Руси! — сказал известный сатирический поэт.

— Вы не могли бы придумать чего-нибудь поостроумнее? — с ледяной вежливостью спросил его лирический поэт.

— Тише вы! — прикрикнул на них Настин отец. — Не мешайте!

— Да... Так вот, дело в том... — сказал Дубов и смутился. Он поймал себя на том, что уже в третий или в четвертый раз повторяет это беспомощное выражение «дело в том». — Дело в том, что как раз мне пришлось несколько лет работать, чтобы получить у секвойи всхожие семена. Теперь вот я отдыхаю среди вас самым законным образом потому, что успешно закончил эту работу. Под Москвой уже заложены первые участки секвойи. Правда, они еще невысокие. Но через...

— Семь тысяч лет, — подсказал сатирический поэт.

— Знаете что, не будьте остряком-самоучкой! — снова сердито сказал ему лирический поэт, но сатирик нисколько не обиделся.

— Ну, не через семь тысяч лет, а гораздо раньше у нас будут фантастические по красоте и мощи леса из секвойи. Не забывайте, что мы работаем еще и над ускорением роста деревьев.

Все замолчали, как бы обдумывая рассказ Дубова.

— Вот это и есть настоящая сказка! — вдруг сказала Настя. Она сидела в углу за роялем, и до этого возгласа никто ее не замечал.

Тогда автор сказки совершил героический и правильный, по мнению Насти, поступок. Он встал, на глазах у всех торжественно разорвал свою рукопись и бросил ее в горящий камин. После этого он подошел к Дубову, пожал ему руку и вышел из гостиной так спокойно, будто ничего не случилось. И все почему-то подумали, что вот теперь он напишет, наверное, настоящую, волшебную, светящуюся, как звезды в зимнюю ночь, и интересную сказку.

Дубов был смущен. Ему было жаль автора сказки и стыдно, что из-за его рассказа пропал писательский труд.

Вечером Дубов пошел к Вертушинке. По дороге его догнала Настя. Начал падать снег, отвесный, крупный и совершенно тихий, как будто что-то припоминающий на лету.

— Вы любите такой снег, Андрей Иванович? — спросила Настя.

— Да, — ответил Дубов. — Но больше всего я люблю молодость. Такую, как ваша.

— А я больше всего люблю Лермонтова, — неожиданно сказала Настя, сообразила, что сказала, должно быть, совсем не то, что надо говорить в таких случаях, и смутилась так сильно, что на глазах у нее даже выступили слезы.

Сквозь эти слезы снег представлялся ей действительно сказочным. Ей даже казалось, что из каждого пушистого снежного кристалла расцветают на лету один за другим маленькие, совершенно белые и тающие от ее дыхания цветы, похожие на розы.

1952

КЛАД

Весь этот лесной край к северу от Оки издавна назывался «дремучим».

Я исходил по тамошним лесам десятки километров вместе с Аркадием Гайдаром. Было это давно, в начале тридцатых годов.

Несколько раз за время наших скитаний мы заводили разговор о старом народном выражении «дремучие леса». Мы восхищались точностью русского языка. Действительно, лесные дебри как бы цепенели в дремоте. Дремали не только леса, но и лесные озера и ленивые лесные реки с красноватой водой. По берегам этих рек росли цветы — кукушкины слезы. В народе их звали «дремой». Это растение было под стать дремучим лесам. Венчики кукушкиных слез сонно висели, согнувшись до самой земли.

Мы видели огромные пустоши, гари, буреломы. Болота курились холодным паром. Тучи комаров и слепней звенели над землей. Целые участки леса были съедены гусеницей и заплетены паутиной.

Мы мечтали о том, чтобы у советской власти скорее дошли руки до этих запущенных мест и человек вмешался бы, наконец, в жизнь скудеющей здешней природы.

На одной лесной порубке, называвшейся «Казенной канавой», стояла старая изба-четырехстенка. Стояла она на берегу заросшего стрелолистом мелкого канала — той самой «Казенной канавы», по имени которой и называлась порубка.

Канал этот вырыли в шестидесятых годах прошлого века, хотели отвести воду из Великого болота, да, видно, просчитались — болото не высохло, а канава так и осталась, как память о неудачной работе губернских мелиораторов.

Летом в избе жили смолокуры — старик Василий и его внук, мальчик лет девяти, Тиша.

Однажды мы заночевали в избе у Василия.

Дело шло к вечеру. Над порубкой висел желтоватый туман. Между пней, пахнувших скипидаром, скакали с треском кузнечики. За мелколесьем садилось мутное солнце. В канаве шныряли мальки и пищали водяные крысы.

В избе было душно. На стене висела выцветшая литография «Взятие Зимнего дворца».

Мы принесли с собой сахару, сухарей, и Василий приказал Тише вздуть самовар.

За чаем Василий сказал, отирая рукавом пот со лба:

— От нашего занятия один толк: долголетнее существование. Мы, смолокуры, живем крепко. Потому что вся внутренность у нас просмоленная. Никакой болезни не допускает. Смолокура даже комар не берет. А ежели, конечно, посмотреть с птичьего полета, то какая это жизнь! Одна смола да уголь, пустошь да гарь! Да-а, пустошь! — повторил он и осторожно взял черными от смолы пальцами белоснежный кусок сахара. — Был глушняк — и есть глушняк! Вроде позабыло правительство про наши места.

— Черед не дошел, — заметил Тиша.

— Вот бы вызвали меня в Москву да расспросили, — ох, и рассказал бы я им! Ты бы мне это устроил, Аркадий Петрович. А? Чтобы съездить в Москву...

— Трудновато, — ответил Гайдар. — Это здесь ты отчаянный, а в Москве из тебя слова не вытянешь.

— Вот и нет! — возразил Тиша. — Дед у нас ужас какой смелый.

— А ведь верно! — закричал Василий. — Верно, Тишка, разрази тебя гром!

— А чего бы ты в Москве рассказал? — спросил Гайдар.

— Перво-наперво — про леса. Какие это леса, мать честная! Но что-то, замечаю, многовато стало сухостоя в лесу. Трухи — целые навалы! От трухи всякий червь-паразит заводится и дерево точит! А озера! Черным дубом завалены. Некуда донку закинуть — враз порвешь. И стоят в тех дубовых корягах, как разбойники в пещерах, темные окуни. Вот с этот поднос!

Василий показал на жестяной поднос под жалобно сипевшим самоваром.

— Торфа по болотам прямо бездонные! В реках выхухоль, выдра, язь. Да что леса! Заливные луга на сотни километров вдоль Оки тянутся. Как зацветут — не надышишься. Однако и луга, как я примечаю, все меньше хорошей травы родят. Позарастали бурьяном, боярышником, лозой. Вот и пребывает наш край, как говорится, в пренебрежении. А ежели за него взяться, будет здесь золотая земля.

Проснулись мы на следующий день рано и в такой тишине, что было слышно, как капала с крыши на перевернутое ведро ночная роса.

Только что взошло солнце. Оно было не мутное, как вечером, а светлое, отдохнувшее за ночь.

Мы пошли вдоль канавы, чтобы найти место поглубже и выкупаться.

— Стой! — вдруг сказал Гайдар. — Что это такое? Вон там, за кустом?

Это «что-то» оказалось девочкой лет семи. Заметив нас, она затаилась за кустом волчьей ягоды.

Мы подошли к девочке. Она сидела на траве и испуганно смотрела на нас большими синими глазами. Рядом стоял кувшин с молоком, завязанный чистой тряпицей.

Девочка была в вылинявшем желтом платке и длинной черной юбке, доставшейся ей, должно быть, от старшей сестры.

— Что ты есть за человек? — спросил Гайдар. — Признавайся!

— Я с Шамурина, — торопливо ответила девочка, встала, наступила на свой подол и чуть не упала. — Наша деревня вон там, за канавой. Всего девять дворов.

— Ты Тишина сестра?

— Ага! Лиза. Тишка зимой в школе учится по четвертому классу.

— А ты?

— Не! Я еще маленькая. Я каждое утро с молоком сюда бегаю. А вы кто будете?

— Отважные путешественники, — ответил Гайдар. — Ищем здесь белый горючий камень. Под ним зарыт заколдованный клад. Не видала ты этот камень?

— Да нет, — ответила, смутившись, девочка. — Может, кто другой и видел, а я не видала. Какой же это клад?

— Вырастешь — узнаешь.

Днем мы ушли с порубки. Снова потянулись заглохшие лесные дороги, скользкие от рыжей хвои. Мерно шумели вершины сосен, таяли в небесной глубине облака, и дятлы, гневно косясь на нас, выстукивали сухие деревья.

* * *

С тех пор прошло больше двадцати лет, равных векам. Не осталось ни одного уголка страны, где бы не произошло разительных перемен.

Естественно, что мне захотелось узнать, как переменился за это время тот край, где мы скитались с Гайдаром. Лесной этот край лежал за Окой. Был поздний вечер, когда я подъехал на грузовике к наплавному мосту.

Мост только что развели. Буксир тащил против течения, хлопотливо хлопая плицами, вереницу барж. Палубы их были заставлены новыми машинами «победа».

Я вышел из кабинки и глубоко вздохнул — из-за реки лился необыкновенно пахучий воздух.

— Это клевер, — сказал мне пожилой шофер. — Тут теперь все луга засеяли клевером.

Вскоре мы уже были в этих лугах. В темноте их не было видно, но я знал, что мы погружаемся в разливы сырых и прохладных трав.

— Есть в этих местах, — сказал шофер, — один человек. Вам не миновать с ним познакомиться. Зовут его Тихон Чернов. Председатель здешнего райисполкома. Не слыхали?

— Нет, не слыхал.

— Замечательный человек. Совершенно новой формации. (Шофер любил выражаться научно. Мотор он называл «двигателем внутреннего сгорания», а про растительность говорил, что «флора прогрессирует на глазах».) Так, значит, не слыхали вы про Чернова?

— Я здесь двадцать лет не был, откуда же мне его знать.

— Период довольно значительный, — согласился шофер и добавил: — Значит, вы теперь эти места не узнаете. Сейчас в наших лугах полная экспозиция машин. Как на выставке! Чего тут только нет! Болотные фрезы, кусторезные машины, канавокопатели, сеялки для травы. Вся луговая инженерия собрана. Да и то сказать — реконструкция природы!

Шофер помолчал.

— Вот только где мы с вами заночуем в Полянах? Время позднее.

Мы решили остановиться у первого же дома, где увидим свет в окнах.

Так и сделали. Дом с двумя освещенными окнами стоял при въезде в село.

— Да это ведь школа! — радостно сказал шофер. — Тут учительница живет. Тоже, говорят, девушка новой формации.

Мы постучали. Нам открыла девушка с длинными темными косами. Она сказала, что мы можем переночевать в пустой школе, и предложила напоить нас чаем.

От чая мы отказались, но девушка все же провела нас в свою комнату. При свете электрической лампы я взглянул на девушку и подумал, что милее ее я еще

никого не встречал на свете. Особенно хороши были глаза: совершенно синие и смущенные.

На столе стояла карточка Гайдара. Я внимательно посмотрел на девушку.

— Вы меня не помните?

Девушка взглянула на меня и покачала головой.

— Ну, а Гайдара вы помните?

— Ну как же! — воскликнула девушка. — Постойте! Так это вы с ним были на «Казенной канаве»? Вот какой случай необыкновенный!

— А вы Лиза?

— Да, Лиза. Я сейчас приготовлю все-таки чай. Надо же поговорить. И брат скоро вернется из райисполкома.

— Неужели Тиша? — спросил я.

— Да, Тиша. Он у нас председателем.

— Вот мы, значит, в самую точку и врезались, — сказал с торжеством шофер.

— Прямо чудеса! — говорила Лиза, накрывая на стол и без причины смеясь. Она раскраснелась и даже задыхалась от волнения. — А Гайдар, знаете, письмо мне прислал еще тогда из Москвы. Про заколдованный клад. Я маленькая была, неграмотная. Мне это письмо Тиша читал. Он там так хорошо написал: «Мы, Лиза, клада не нашли, хотя и расспрашивали про него всех встречных птиц и зверей. А потом попался нам сивенький старичок гриболов и сказал, что никакого клада под белым камнем нету и никогда не было, а есть на свете единственный настоящий клад — хорошее сердце. Вот ты, Лиза, и старайся, чтобы у тебя было хорошее сердце. И побольше читай». Как неудача какая, я прочту это письмо — и опять мне легко.

— Ласковое слово благотворно влияет на психику, — заметил шофер.

— Ну, а как Василий? — спросил я. — Жив?

— Нет, умер.

— А все говорил, что смолокуров смерть не берет.

— Это у него была такая присказка. Болельщик был за свой край. Все шумел, что будет здесь золотая земля. Ему бы сейчас вокруг поглядеть. Луга корчуют от кустарников, перепахивают, удобряют и уже начали

засевать хорошими кормовыми травами. Теперь вы лугов не узнаете: сплошной цветник. Гидростанцию построили. И в лесах полный порядок. Весь сухостой убрали, прорубили пожарные просеки, всю как есть свободную землю засадили сосной. На «Казенной канаве» уже лес вытянулся — пушистые такие сосенки, ростом под потолок. Стоят густо — не пройдешь.

— Тихона Ивановича забота, — заметил шофер.

— Да, Тиша много работает, — согласилась Лиза. — Он у нас с высшим образованием. Мелиоратор. А я вот учительствую. Преподаю русский язык и литературу.

Мы проговорили еще долго, но Тиша так и не пришел. Увидел я его на следующее утро в райисполкоме, в светлой комнате с только что вымытыми, сырыми полами. Солнце уже сушило полы. Окна были открыты, и за ними уходили в дымку луга. Среди них то тут, то там сверкали слюдой озера.

Я не сразу узнал Тишу в худощавом человеке с орденом Красной Звезды, в военном кителе без погон. Он был подтянут, чисто выбрит, несмотря на то, что работал, очевидно, почти всю ночь.

Тиша — для меня он все оставался Тишей, хотя все звали его Тихоном Ивановичем, — избегал говорить о том, как он из мальчика-смолокура стал мелиоратором и председателем райисполкома. В ответ на мои расспросы он уклончиво сказал:

— Да что ж тут особенного? Много нас, таких...

В окно заглянул высокий веснушчатый шофер.

— Тихон Иванович! — сказал он умоляюще. — Едемте поскорей. А то они засиделись и прямо клетки перегрызают. И морды у них страховидные — хоть не смотри!

— Небось не съедят, — ответил Тиша. — Сейчас поедем. Мы здесь, — обернулся он ко мне, — бобровое хозяйство заводим. На реке Белой. Новую партию бобров привезли. Из-под Воронежа. Хотите поехать с нами? Посмотрите старые ваши места.

Я согласился. Мы влезли в кузов грузовика. В ящиках сердито урчали и возились бобры. За око-

лицей машина вошла в лес. Дорога подымалась по твердому песчаному взгорью.

В этих местах раньше навалами лежал бурелом, а сейчас густо рос подлесок из можжевельника и лещины.

Удивительно легко было дышать. Может быть, поэтому Тиша неожиданно заметил:

— Верно ведь сказано: «В их сѐнях ветра шум и свежее дыханье».

Мы остановились около гидростанции на лесной маленькой реке. Вверху, над соснами дул полуденный ветер. Но до земли ветер не доходил. Внизу было безветрие.

Гидростанция работала почти бесшумно. Только невнятно бурлила около плотины вода да было слышно, как внутри станции кто-то напевал арию из «Садко»: «Не счесть алмазов в каменных пещерах...»

Я впервые видел такую маленькую гидростанцию, срубленную из сосновых кряжей. Внутри было очень чисто, прохладно, пахло смолой. Ветки орешника заглядывали в открытые окна. На табурете сидел загорелый юноша в майке.

— Наш электрик, — познакомил меня с ним Тиша.

Юноша смутился и сказал:

— Я тут, Тихон Иванович, за дежурство, извините, все оперы, какие знаю, пропел.

— Большой театр на дому, — усмехнулся Тиша и обернулся ко мне: — Эту станцию мы сами соорудили. Своими колхозными руками. Не станция — игрушка! Вот скоро начнем строить большую межколхозную станцию на торфу около Линевого озера. Тогда будет у нас и электропахота, и электродойка, и электрические пилы начнут работать в лесах.

Я бывал в прежнее время на Линевом озере, и потому мне трудно было представить, что там скоро возникнет здание электростанции. Двадцать лет назад Линевое озеро было такой глушью, что, по словам лесников, не всякая птица отваживалась туда залетать.

Весь этот день меня не покидало чувство свежести. Все сверкало, искрилось, переливалось этой све-

жестью: стволы берез и сосен, листья, травы, самый воздух, вода лесных озер.

— Удивляетесь? — спросил Тиша. — А помните, какая здесь была тьма, какие трущобы? Теперь лес дышит свободно.

С гидростанции мы проехали на реку Белую. Там стояла заповедная тишина. Зеленоватый отблеск хвои падал на струившуюся воду. Пришел зверовод, человек строгий и молчаливый, и выпустил бобров из клеток. Бобры, прежде чем войти в воду, долго чистились, расчесывали шерсть когтистыми лапами, не обращая на нас внимания.

— До чего вежливый зверь! — восхищался шофер. — Воду в речке не хочет грязнить.

К вечеру мы, наконец, попали на «Казенную канаву». Там теперь в нескольких деревянных домах разместилось лесничество. Но изба-четырехстенка уцелела. Ее приспособили под сушилку для сосновых шишек.

Мы посидели с Тишей на берегу канавы. Ночь медленно подымалась с востока. В воде плескалась тяжелая рыба.

— Лещи, кажется, — сказал Тиша. — А при деде Василии только гольцы здесь водились. Вовремя вы подгадали приехать. Все цветет. Самое красивое время. Были уже в лугах?

— Нет, еще не был.

Тиша помолчал.

— В каждом районе, будь он хоть самый невзрачный на вид, есть большие возможности, — сказал он и повторил: — Большие возможности. Небось Лиза рассказывала вам про клад? Это правильно, конечно, что хорошее сердце — клад. А я думаю, что и в каждом районе зарыт свой клад. Милее наших мест нет на свете. Вот говорили всегда: нищий край, подзол, картоха, болота, комарье, гниль да труха, — а смотрите, как он развернулся! А люди? Помните прежние разговоры: «ужо» да «ужо», «куда нам соваться», «разве сразу возьмешь да осилишь»... А сейчас как повеселел народ! Я всех тороплю, но и меня все торопят — давай и давай! Нетерпение у народа к жизни.

Все теперь нужно — гидростанция, разработка торфа, шоссе до областного города, сбор лекарственных трав, новая порода скота, посадки леса, сады, пасеки, новые школы. Тут работы пропасть. А на взгляд будто и невидный район. Но главное, конечно, — это луговое наше хозяйство. На днях наш секретарь обкома едет в Кремль — докладывать правительству о преобразовании Окской поймы в молочную базу для Москвы. Было у него совещание по этому поводу. На нем мы решили наглядно показать правительству наши богатства и наши возможности. Показать наши луга как бы в натуре. Потому что одно дело — словесный доклад, а совсем другое дело — показ того, чем мы располагаем. А для этого надумали мы отвезти в Москву все цветы и травы, какие здесь произрастают. Все сорта. В живом виде, конечно.

— Как же вы их довезете, эти цветы и травы?

— На машине. В кадках с водой. Ведь это целые снопы цветов, вы понимаете!

* * *

Сбор трав и цветов начался через несколько дней.

Этим делом распоряжалась Лиза. Она созвала школьников старших классов. Когда я зашел к ней, человек тридцать мальчиков и девочек сидели на бревнах около школы и запальчиво спорили, на каких лугах самые большие и разнообразные цветы. Одни говорили, что по краю Старицы, другие — по берегам озера Студенец, третьи стояли за таинственную местность Хвощи, а самая маленькая девочка с взлетающим клоком волос на голове кричала со слезами в голосе:

— Не так говорите! Вот и неправда ваша! К Тихому броду надо идти. Там ух что делается с цветами!

Известно, что цветы лучше всего собирать или утром, до жары, или перед вечером, когда зной спадает. Иначе они быстро вянут.

Решили собрать цветы перед вечером, принести их в Поляны, тут же перебрать и отправить ночью в Москву.

Я пошел с Лизой и школьниками в луга. С нами пошло много народу, в том числе и мой шофер.

Каждый старался найти самый большой цветок. Каждый говорил, что его цветок просто волшебный.

Возвращались из лугов мы уже вечером. Солнце село. Над озерами задымились туманы. Кричали по низинам коростели.

Цвел шиповник — спутник светлых июньских ночей.

В чистом меркнущем небе реактивный самолет тянул свой белый быстрый след. След этот летел к слабо блестевшей над нами звезде. И этот след и звезда отражались в воде Старицы, и вода от этого казалась бездонной, как вечернее небо.

В шиповнике по берегам Старицы уже притаилась ночь. Только цветы на кустах светились отраженным блеском еще не погасшей зари. Потом в кустах, стараясь не нарушить вечернюю тишину, щелкнул, пустил стеклянный перезвон и затих соловей.

Юпитер взошел над темным лесом на горизонте и начал медленно подыматься над лугами, ивами и туманами — над знакомой и милой нашей землей.

1953

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ СКОРЫЙ

Симферопольский скорый поезд отходил с Курского вокзала в Москве в девять часов вечера.

Кончался июнь. Стояли самые длинные дни в году. На севере в это время был разгар белых ночей. Краем своим эти светлые ночи доходили сейчас до Москвы. Только к девяти часам вечера садилось солнце. Его не было видно за громадами улиц. Но по теплому красноватому сумраку, затопившему город — все его площади, улицы, сады и дворы, — можно было догадаться, что солнце уже опускается к краю земли где-то далеко за Химкинским водохранилищем, за Северным речным вокзалом. Опускается огромное и чистое, предвещая назавтра жаркий и безветренный день.

От недавно политых асфальтовых платформ на вокзале пахло дождем, дымом и цветами. Среди провожающих многие были с букетами. Вялый от духоты цветочный запах был слышен и на платформе и в вагонах, где букеты уже стояли в стаканах с желтой вагонной водой.

— Удивляюсь, — говорил морщинистый проводник, рассматривая билеты, — почему это на наш скорый и на сочинский всех провожают с цветами.

А вот на «Красную стрелу» или на Сибирский экспресс букеты редко приносят. В чем причина?

Давно замечено, что пассажиры волнуются, когда показывают проводникам билеты, хотя с билетами не может быть никакой путаницы. И всегда найдется среди пассажиров какой-нибудь не совсем уверенный в своем билете человек. Он обязательно будет во всем соглашаться с проводником и даже заискивать перед ним, как будто это сможет ему помочь, если у него билет окажется не в порядке.

Нашелся такой пассажир и сейчас. Это был низенький толстый человек в пыльной зеленой шляпе. Он стоял в конце очереди. Чемодан он поставил между ног, сжимал его на всякий случай коленями и судорожно рылся в карманах пиджака, разыскивая билет.

— Точно, товарищ проводник! — воскликнул он тощим и сладким голосом. — Я тоже это заметил.

— Какой приметливый гражданин, — сердито сказал проводник. — Вы лучше объясните, в чем причина.

— На юг народ едет веселый, — ответил, хихикнув, человек в зеленой шляпе, все еще разыскивая билет. — Отдыхающий народ. Оттого и цветы.

— Да на юге их в тыщу раз больше, чем здесь, этих цветов, — возразил проводник. — Зачем их на юг везти? И в Крым едем с цветами. И из Крыма с цветами.

— От них, конечно, мусору много, — сказал человек в шляпе, но не угадал. Проводник неожиданно рассердился.

— Странно рассуждаете, — сказал он и подозрительно посмотрел на пассажира в шляпе. — Москва вся в цветах, заводы наши — в цветах, а вы такие несвоевременные мысли высказываете. Ваш билет!

Билет оказался в порядке, и человек в зеленой шляпе, обливаясь потом, втащил свой чемодан на площадку и сказал проводнику:

— Напрасно вы, товарищ, при исполнении служебных обязанностей трепотней занимаетесь. Не дело!

Давно тоже замечено, что пассажиры любят, когда в вагоне оказывается мальчик или девочка, пе-

реданные на попечение попутчиков и проводников кем-нибудь из родителей. Тогда нет конца заботам.

Весь вагон, соревнуясь, следит, чтобы мальчик или девочка выполняли прощальные наставления родителей. С незапамятных времен наставления эти всегда одни и те же: не выходить на станциях, не высовываться из окна, съесть все, что приготовлено на дорогу, и слушаться взрослых.

И сейчас в вагоне, как раз в нашем купе, оказалась девочка лет десяти. Звали ее Настей.

Настю привез на вокзал отец, но его я не видел. Я приехал за пять минут до отхода поезда, когда Настин отец уже ушел. Он очень торопился на важное совещание. В Симферополе Настю должна была встретить ее старшая сестра.

Кроме Насти, в купе сидели пожилой сухощавый человек с короткими седыми волосами и юноша в костюме табачного цвета. Губы у него были слегка вытянуты, будто он собирался свистнуть. Из-за этого он мне сразу не понравился, но вскоре я к нему совершенно привык. Он оказался милым и услужливым человеком.

Как всегда бывает в дороге, мы быстро перезнакомились. Пожилой человек оказался профессором-почвоведом, а юноша — фольклористом, знатоком народных песен, легенд и сказок.

Поезд уверенно мчался в путанице подмосковных рельсовых путей, пока, наконец, не вырвался в поля и за окнами не запылала во весь горизонт полоса заката.

Настя сидела у окна и, поджав ноги, смотрела на закат. Она еще дичилась и отвечала только на вопросы и то едва слышно.

Почвовед рассказал, что знает эту железную дорогу, как он выразился, «наизусть».

— Я уже счет потерял, сколько раз проехал по этой дороге, — сказал он. — С раннего детства езжу по ней по два-три раза в год. В общем, раз полтораста я по ней уже проехал, не меньше.

— Это почему же? — спросил фольклорист.

— Я уроженец Симферополя. Там у меня до сих пор полно родных. Вот и езжу. То в отпуск, то по

делам. Кроме того, я много работал по своему почвенному делу под Курском и Белгородом.

После Серпухова мы сообща напоили Настю чаем, и она легла на верхнюю полку.

Я вышел в коридор покурить. Все купе были уже закрыты, и в пустой коридор влетал из открытого окна ночной воздух. Проносились во тьме сырые березовые рощи, болотца с тусклым блеском звезд, пустые станции, кучи мела на каменных платформах, освещенные одиноким фонарем, огни деревень, затянутые кудрявым туманом луга и снова шумливые березовые рощи.

Когда я вернулся в купе, все уже спали. Только Настя не спала под потолком. От света ночной лампочки глаза девочки казались совершенно синими.

— Ты что ж не спишь? — спросил я Настю.

— Да я очень хочу уснуть, — ответила она вполголоса, — чтобы скорей проснуться утром и смотреть в окно. Там в коридоре есть одно очень хорошее окно, но у него весь вечер стоял тот толстый дядька в подтяжках.

— Тот, что в зеленой шляпе?

— Да, тот. И закрывал все своей спиной. Вот я и хотела проснуться рано-рано, чтобы первой стать у этого окна. И никак не могу уснуть.

— А ты считай до тысячи, — сказал я.

— Вслух? — спросила Настя.

— Да, только шепотом.

Она начала считать, досчитала до сорока и затихла. Я погасил синюю лампочку, и тотчас ночь за окном посветлела и начала через каждые полчаса проносить по купе квадратные полосы белых станционных огней. Как будто кто-то переворачивал белые страницы тетради.

Проснулся я рано, но Насти в купе уже не было. Она стояла в коридоре у открытого окна, придерживала занавеску и смотрела на бесконечные поля, на синие от утренней тени балки, деревни, в серебряной листве ракит, путевые будки с колодцами и ленивые

речки с белыми толпами гусей на травянистых берегах.

Больше всего Настя радовалась, когда замечала какого-нибудь косматого деревенского песика с сухими репьями в хвосте, озабоченно бежавшего, очевидно, по каким-то своим неотложным делам, рядом с насыпью.

На закруглениях Настя высовывалась в окно и видела тяжелый, мягко громыхающий состав из цельнометаллических, как будто бронированных вагонов. На них уже лежала пыль нескольких областей — Московской, Орловской и Курской, к вечеру ляжет желтоватая лёссовая пыль Украины, а в Симферополь вагоны придут уже совершенно серые, горячие, уставшие от тысячеверстового пробега по стране. И будут остывать всю ночь на запасных путях под трепещущей листвой крымских тополей.

Почвовед тоже проснулся очень рано и курил, посматривая за окно.

— Что же вы так рано встали? — спросил я его.

— Да все боюсь проспать одно место, — ответил он. — Когда поезд проходит мимо него даже ночью, я и то всегда просыпаюсь и смотрю в окно, хотя ничего и не вижу. Такая образовалась у меня своего рода привычка.

— Должно быть, родные места? — спросил я. — Чем-нибудь памятные?

— В том-то и дело, что места эти совсем незнакомые. И ничем не памятные. Я там ни разу и не был.

— Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, — сказал я нерешительно.

— Это длинная история, — ответил почвовед. — Началась она еще до революции, когда я был гимназистом. Я ехал с отцом из Симферополя в Москву и весь день висел в окне, как вот эта девочка Настя. И где-то под Курском я увидел в сухой степи на краю оврага одинокую хату. Около нее не было даже плетня. Ветер нес пыль, и хата стояла в этой пыли, как в тумане. И я подумал, — кто там живет, в этой хате? И как, должно быть, страшно жить в ней зимой,

когда метель завалит ее снегом по самую стреху. Только и жизни, что проходящие поезда. С тех пор я начал следить за этой хатой. Поезд проносится мимо в каких-нибудь несколько секунд, но я каждый раз успевал заметить кое-какие перемены. Однажды я увидел около хаты женщину, низко, почти до самых глаз, повязанную платком. Она растапливала глиняный очаг, а рядом в люльке, сделанной из старой корзины, лежал, должно быть, ребенок. Был виден край рваного ватного одеяла.

Потом около хаты начали селиться новые люди, и постепенно выросла деревушка, такая же нищая и унылая, как и эта одинокая хата. Появлялись дети в рваных рубашках. Они стояли около полотна и монотонно кричали: «Дяденька, кинь хлеба!», «Дяденька, кинь хлеба!» Мы бросали им хлеб, он падал и катился по песку, дети хватали его и, не оглядываясь, бежали с ним в деревню. Шли годы, и у меня на глазах росла нищета. Вы понимаете, вместо одной жалкой хаты их стало несколько, вместо одного голодного ребенка со вздутым животом их было уже много.

Когда началась революция, я несколько лет не видел эту свою деревушку. Представляете, как я волновался, когда мельком увидел ее после этих нескольких лет. Деревушка была все та же, но за ней уже стояло целое море подсолнухов, а у моей хаты (я давно уже начал мысленно называть ее «моей») я увидел загорелую девушку в красной косынке, должно быть, ту, что когда-то лежала в люльке. Она кормила у порога кур.

С тех пор я каждый раз видел здесь новые вещи. Появились молодые вишневые сады. Хаты помолодели. У завалинок зацвели красные и желтые мальвы. Однажды я увидел школьников. Они бежали с книжками. Межи, заросшие бурьяном, исчезли. Вся степь ходила волнами спелой пшеницы. Потом появилась ветряная электростанция. Ее колесо было видно из поезда почти за километр. Так родилась новая примета. Сады разрастались. Вдоль улицы уже шумели ветлы. И только однажды, проезжая, я не увидел деревню, — она вся была затянута пылью, поднятой стадом. Вме-

сто старых хат то тут, то там уже стояли новые дома, крытые черепицей.

И вот однажды я увидел комбайн. Дело было под вечер. Он шел по степи весь в золотой пыли от заката. Так вот пошло из года в год, я старею, а жизнь вокруг меня молодеет. Но я не жалуюсь.

Почвовед взглянул за окно.

— Уже скоро. Пойдемте в коридор. Деревня с той стороны.

В коридоре мы стали у окна. Жаркий ветер теребил волосы. Вдали за полосой низких акаций показались белая решетчатая башня ветряной электростанции, горы зелени, красный флаг над сельсоветом, прохладные улицы деревни, множество цветов в садах, заросли молодой кукурузы, грузовик с детьми и сивые волы, тащившие в телеге бочки с бензином.

— А где же ваша хата? — крикнул я почвоведу.

— Сейчас будет. Вон она! Вон!

Хаты почти не было видно из-за деревьев и высоких мальв. Я только заметил блеск чистых стекол и молодую женщину в светлом летнем пальто и легкой косынке. Она стояла на пороге и смотрела на проносящийся поезд.

— Смотрите, пруд! — крикнул мне почвовед. — В прошлом году его не было. Значит, они запрудили балку.

Большой и, должно быть, глубокий пруд блестел от солнца. Маленький движок пыхтел на берегу пруда и швырял в небо струйку синего дыма — качал воду. Рядом купались мальчишки.

Все это пронеслось мимо нас с грохотом и звоном и потонуло в поднятой поездом пыли. И снова потянулась позлащенная созревшими хлебами и синеющая по горизонту степь.

— Да, — повторил почвовед, — я старею, а жизнь молодеет. Но ничего. Есть у меня одна, как говорят на Украине, думка.

— Какая?

— В будущем году я сюда непременно приеду, в этот колхоз. Зайду в свою хату и скажу этой милой женщине, что уже много лет слежу за ее жизнью,

видел ее еще в люльке из старой корзины, знаю ее мать и что вся история их деревни прошла у меня на глазах. И ни одна живая душа даже не подозревает об этом.

Он замолчал и задумался. И мне вдруг захотелось сойти на первой же станции, вернуться в эту деревню, поселиться в маленькой хате с мальвами среди жаркой этой степи, под ленивыми облаками, в бескрайном океане пшеницы. Войти в жизнь этих простосердечных людей, работать вместе с ними и, может быть, только здесь создать то единственное и лучшее, что до сих пор не создано и к чему всю жизнь стремишься — создать книгу о простом человеческом счастье.

Я подошел к Насте. Она обернулась ко мне и сказала:

— Только что была такая деревня... просто чудная. Я, когда кончу школу, приеду сюда учительницей.

— Слишком много нас здесь соберется, — ответил я, но Настя меня не поняла и отвернулась. Поезд прогремел по мосту над рекой. Часовой на мосту кивнул и улыбнулся Насте.

1953

ПРИТОЧНАЯ ТРАВА

Прошлым летом я возвращался с Борового озера к себе в деревню. Дорога шла по просеке в сосновом лесу. Все вокруг заросло пахучими от летней сухости травами.

Особенно много колосистой травы и цветов росло около старых пней. Трухлявые эти пни разваливались от легкого толчка ногой. Тогда взлетала темным облаком коричневая, как размолотый кофе, пыль, и в открывшихся внутри пня запутанных и таинственных ходах, проточенных короедами, начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и плоские черные жуки в красных погонах, похожие на военных музыкантов. Недаром этих жуков звали «солдатиками».

Потом из норы под пнем вылезал заспанный — черный с золотом — шмель и, гудя, как самолет, взлетал, норовя щелкнуть с размаху в лоб разрушителя.

Кучевые облака громоздились в небе. Они были на взгляд такие тугие, что можно было, очевидно, лежать на их ослепительных белых громадах и смотреть оттуда на приветливую землю с ее лесами, просеками, полянами, цветущей рожью, поблескиваньем тихой воды и пестрыми стадами.

На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы. Они жались друг к другу. Заросли их были похожи на маленькие озера с густой синей водой.

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах погромыхивали созревшие семена.

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли, вытянувшись вверх.

Дорога вышла из леса в поля. Невидимые жаворонки тотчас запели над рожью. Впечатление было такое, будто они перебрасывали друг другу стеклянную нитку. Они то роняли ее, то тут же на лету подхватывали, и дрожащий ее звон не затихал ни на минуту.

На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Они шли, должно быть, издалека. Пыльные туфли, связанные тесемками, висели у них через плечо. Они о чем-то болтали, смеялись, но, увидев меня, тотчас замолкли, торопливо поправили под платочками светлые волосы и сердито поджали губы.

Почему-то всегда бывает обидно, когда вот такие загорелые, сероглазые и смешливые девушки, увидев тебя, сразу же напускают на себя суровость. И еще обиднее, когда, разминувшись с ними, услышишь за спиной сдержанный смех.

Я уже был готов обидеться, но, поравнявшись со мной, девушки остановились, и обе сразу улыбнулись мне так застенчиво и легко, что я даже растерялся. Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивленный, будто перед тобой сразу расцвел всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?

— Спасибо вам, — сказали мне девушки.

— За что?

— За то, что вы нам повстречались с этими цветами.

Девушки вдруг бросились бежать, но на бегу несколько раз оглядывались и, смеясь, ласково кричали мне одни и те же слова:

— Спасибо вам! Спасибо!

Я решил, что девушки развеселились и шутят надо мной. Но в этом маленьком случае на полевой дороге

все же было что-то таинственное, удивительное, чего я не мог понять.

На околице деревни мне встретилась торопливая чистенькая старушка. Она тащила на веревке дымчатую козу. Увидев меня, старушка остановилась, всплеснула руками, выпустила козу и запела:

— Ой, милок! И до чего ж это чудесно, что ты мне встретился на пути. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить.

— За что же меня благодарить, бабушка? — спросил я.

— Ишь притворенный, — ответила старушка и хитро покачала головой. — Уж будто ты и не знаешь! Сказать этого я тебе не могу, нельзя говорить. Ты иди своей дорогой и не торопись, чтобы тебе встрелось побольше людей.

Только в деревне загадка, наконец, разъяснилась. Раскрыл ее мне председатель сельсовета, Иван Карпович — человек строгий и деловой, но имевший склонность к краеведению и историческим изысканиям, как он выражался, «в масштабах своего района».

— Это вы нашли редкий цветок,—сказал он мне.— Называется «приточная трава». Есть такое поверье — да вот не знаю, стоит ли его разоблачать? — будто этот цветок приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям — спокойную старость. И вообще — счастье.

Иван Карпович засмеялся:

— Вот и мне вы попались навстречу с «приточной травой». Пожалуй, будет и мне удача в моей работе. Надо думать, шоссейную дорогу из области к себе мы в этом году закончим. И соберем первый урожай проса. До сего времени его здесь не сеяли.

Он помолчал, улыбнулся каким-то своим мыслям и добавил:

— А за девушек я рад. Это хорошие девушки, лучшие наши огородницы.

1953

ГРАЧ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам — по туману на московских улицах, по каплям этого тумана, стекающим с черных веток недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом асфальте его уже давно нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город.

Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять.

Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от остановки на Театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула:

— Погодите! Что же это такое?

— Это грач, — испуганно сказала девочка лет восьми.

Грач сидел, угревшись, под пальто на груди у девочки и только на минуту высунул из-под пальто свой

нос. Но этого было достаточно, чтобы бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке.

— Если его нельзя везти, так я слезу, — сказала девочка и покраснела.

— Что ты, дочка! — воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке. — Сиди, не беспокойся. Ой, какая птаха хорошая! Что это? Неужели грач?

Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точеной головке и засмеялась.

— Не бойтесь, он не кусается, — сказала девочка и вся засияла. — Он очень серьезный, но добрый.

— Какой же это грач, — сказал старик с картонной папкой, — когда это скворец.

— А вы, гражданин, если не знаете облика птиц, так не утверждайте, — ответил пожилой человек в форме железнодорожника.

— Где нам в Москве знать про птиц, — вздохнула старуха в платке. — Нам что грач, что скворец, что воробей или стриж — все равно.

Пассажиры начали вставать, тесниться около девочки. Каждый пытался погладить грача. Грач гладить себя давал, но посматривал на всех презрительно и высокомерно.

Сквозь толпу с трудом продирался от выходной двери назад плотный суровый генерал.

— Куда это вы, товарищ генерал, — заметил худой юноша без кепки, — против течения?

— А я к грачу, молодой человек, — ответил генерал и повторил внушительным голосом: — К гра-чу!

Генерал протискался к девочке, взял у нее грача, подержал его на ладони, как бы взвешивая, возвратил девочке и сказал:

— Куда же ты его везешь?

— В Зоопарк. Там я его выпущу.

— У нас на реке Сейме, — неожиданно сказал молоденький лейтенант и почтительно посмотрел на ге-

нерала, — настоящее пернатое царство. Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у нее нет. А у нас — соловьи. Мировые соловьи. Весной наш край по ночам весь поет.

— Вы про профессора Мантейфеля слышали? — спросил генерал лейтенанта.

— Так точно, слышал, товарищ генерал!

— Каждую птичью повадку знает. И может объяснить. Ну, а насчет всяких колен, пересвистов, перезвонов, трелей, чохов и всей прочей птичьей музыки нет такого другого знатока и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик!

— Вы здесь сходите? — спросила генерала молодая женщина со смеющимися глазами. — Или остаетесь?

— Я на следующей остановке сойду, — ответил генерал, нисколько не смущаясь вопросом молодой женщины. — Подумаешь, важность — пройти два квартала обратно. Я, знаете, был свидетелем удивительной одной истории. Под Ленинградом во время войны. Весной это было. Прилетели скворцы и вьются, кричат над своими скворечнями. А скворечни, как на грех, в пустой полосе между нами и фашистами. Так те открыли по скворцам огонь из автоматов. Их, видите ли, беспокоил крик скворцов. Нервные попались молодчики. Тогда не выдержало у наших сердце. «Ах так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что те мигом затихли.

— Вступились, значит, за скворцов, — сказала кондукторша. — Так я и подумала, как только вы начали рассказывать, товарищ генерал.

— А как же! Ведь скворец с древних времен сопутствует русскому человеку.

— Кондуктор! — крикнул сердитый голос. — Почему не даете билетов?

— Сейчас, — ответила недовольно кондукторша. Она все еще стояла около девочки и гладила грача по голове. — Сердца никакого нет у людей!

— А вы потише, гражданин, — сказала старуха недовольному пассажиру.

— Весна, значит, скоро, — вздохнул железнодорожник. — Черемуха зацветет. И полетят птицы над Россией, понесут свои песни.

— Ну, мне все-таки пора выходить, — сказал генерал. — До свидания, товарищи!

Все попрощались с генералом. Он вышел, чему-то улыбаясь, и так, улыбаясь, и пошел по улице к давно пропущенной остановке.

А пассажиры еще долго говорили о граче — предвестнике весны, о картине Саврасова «Грачи прилетели», о том, что Москва постепенно превращается в сад, где будет привольно всякой птице, и скоро весь город будет с утра до ночи звенеть от птичьего пения.

— Как это удивительно у нас получается, — сказал старик с картонной папкой. — Правительство заботится о благе людей, а от этого блага, глядишь, и перепадет кое-что даже певчим птахам.

— Так и должно получаться, — убежденно ответил худой юноша без кепки.

— Истинно так! — сказала старуха в платке. — Я это по себе знаю.

Но тут уже начинается другая история, которую я расскажу как-нибудь позже.

1953

СИНЕВА

Хромой человек в маленькой кепке шел по гальке вдоль морского берега и смеялся.

Мальчишки удили со скал бычков и зеленух и перекрикивались насчет того, что рыжий Жорка занял у Витьки-адмирала большого краба для наживки и вот уже который день не отдает.

Заметив на пляже смеющегося человека, мальчишки насторожились и замолкли. Они, видимо, соображали, — оставаться ли им на скалах, или лучше удрать.

— Тикайте все! — крикнул, наконец, отчаянным голосом Витька-адмирал. — Тот дядя безумный! Он сам по себе смеется.

— Да нет же! — закричал, заикаясь от торопливости, самый маленький мальчик. — Совсем вовсе нет! Это — шахтер с Горловки. Тот, что стоит в доме отдыха. Он же совершенно смирный.

Вдруг все мальчишки заслонили глаза ладонями от отблеска волн: — Трех камбал несет! С Тихой бухты. Он от удачи смеется. А Витька орет — «безумный!» Сам он псих, Витька.

Мальчишки, торопясь и толкаясь, полезли со скал на берег и побежали навстречу хромому человеку. Еще

на бегу мальчишки кричали: — Дядя, где вы их поймали? На что? На соленую камсу или на свежую? Ой, дядя, дайте нам их понести. А ты не тяни! Он мне дал нести, не тебе. Какой хваткий!

Окруженный мальчишками, шахтер подошел к нам. Это был высокий, немного сутулый человек с худощавым лицом. Он улыбался, был горд своей добычей и, очевидно, ждал расспросов.

И мы — украинский писатель Горленко и я — расспросили его, стараясь скрыть свою зависть, как он поймал этих камбал, трогали колючие наросты у них на спинах и вообще удивлялись необыкновенным, как бы сплющенным наискось рыбам. Мальчишки шумели вокруг.

То было веселое и беспокойное племя маленьких черноморцев. Занятия в школе окончились, и мальчишки все дни напролет пропадали в пустынных бухтах, отрезанных от поселка отвесными скалами.

В скалах, заросших оранжевыми лишаями, гнездились дикие голуби. Стаи дроздов взлетали над цветущим шиповником. Горьковато пахло чебрецом и прохладой морских глубин. Дельфины, посапывая, кувыркались у самого берега, гоняя камсу.

Мальчишки отсиживались в этих диких бухтах от справедливого гнева матерей и многочисленных тетушек, от наскучивших угроз и упреков: «Вот, погоди, я до тебя доберусь!», «Смотри, какой Петя чистенький хлопчик. А ты на кого только похож, балбес!»

Мальчишки знали все, что случалось на двадцать километров к югу, северу, востоку и западу от приморского поселка. Все было им досконально известно — когда пойдет кефаль, как рыбаки поймали черноморскую акулу-катрана (высохший хвост этой акулы служил у мальчишек предметом оживленного обмена на рыболовные шнуры, крючки и грузила), кто приехал в дом отдыха, сколько сил у рыбацкой моторки «Голубка», где можно накопать кусочки серного колчедана, «блискучего, как золото», и в какой полосе пляжа больше всего обкатанных морем сердоликов.

Они были очень расположены к нам, отдыхающим, эти маленькие черноморцы, и просто напрашивались

на разные услуги, вроде того, чтобы поймать и засушить для нас морского конька или отцепить засевший среди подводных камней рыболовный шнур с крючками, так называемый самолов.

Стоило кому-нибудь из нас во время рыбной ловли зацепить самолов, как по берегу проносился непонятный клич: «Мерекоп!», и все мальчишки бросались в воду, чтобы отцепить (или, как они выражались на рыбацком жаргоне, «отмерекопить») самолов.

Мерекоп! Зацеп! Это слово веселило приезжих. Мальчишек даже начали звать «мерекопщиками». Изыскания, предпринятые, чтобы найти корни слова «мерекоп», ничего не дали. Не удалась и попытка выяснить, откуда у мальчишек взялось слово «бонация», означавшее на их языке полный штиль.

В те дни «бонация» стояла над берегами Восточного Крыма. Особенно хорош был штиль на рассветах. Казалось, что небо за ночь опустилось до самой земли и накрыло горы, обрывистые мысы, дальние берега и отдохнувшее море своей синевой. Дышалось прохладно и легко. Всходило огромное солнце, и в легкой мгле то тут, то там загорался и тотчас погасал дрожащий блеск — то солнечный луч вспыхивал на омытой прибоем скале, сверкал в стеклах горной сторожки, крытой черепицей, или насквозь просвечивал куст розового тамариска.

Восточный Крым был полон цветения и тишины. Это была особая, замкнутая страна, непохожая на все остальные части Крыма. Страна сухих пепельных гор, полей, пылавших красными венчиками мака, густой морской сини и безмолвия.

К шуму моря слух привыкал очень быстро. Его вскоре переставали замечать. Тогда на этих берегах оставался, пожалуй, только единственный звук: шелест травы под ветром.

Восточный Крым — богатая земля. О том, что скрыто в тамошней почве и в недрах единственного в Крыму погасшего вулкана Карадага, можно было догадываться по множеству камней, вымытых морем из подводных пещер.

Там было все: синий гранит, мрамор — то желтый, как слоновая кость, то розовый, то снежно-белый, дымчатые халцедоны, пестрые агаты, целебные сердолики, хризопразы, камни со странным названием «фернонпиксы», разрисованные сложными узорами, зеленая яшма, горный хрусталь, похожий на кристаллы воды, пемза, лава, маленькие кораллы и много других камней, сверкавших на сырых после шторма песках.

Восточный Крым — земля истории. Здесь волны выбрасывают скифские серьги, монеты времен Екатерины, черепки греческих ваз, штыки защитников Севастополя, осколки глубинных бомб и ржавые немецкие каски. В них рыбаки кипятят теперь вар для засмолки шаланд.

В эту древнюю и богатую страну съехались сейчас на отдых люди из самых разных частей Союза. Отдых сближает людей не меньше, чем работа. Все мы быстро сдружились, и нам казалось, что мы знаем друг друга давно. Только шахтер из Горловки по своей застенчивости держался пока особняком.

Но сейчас он подсел к нам на берегу и рассказал, что впервые приехал отдыхать к Черному морю со своей женой Фросей — работницей детских яслей — и просто слепнет здесь от синевы и солнца. До тех пор он видел только одно море — Азовское, да и то во время войны, когда был ранен в бою под Чонгаром.

Рассказывая, он несколько раз глубоко вздохнул и засмеялся. Было видно, что он отдыхает здесь безраздельно.

— Фрося моя все отстает, — заметил он и показал на молодую худенькую женщину. Она шла по пляжу и читала книгу. — Все зачитывается. Я закину шнуры в море, а она сядет в тени от скалы и читает. Я место переменю, а она, бывает, и не заметит. Да и то сказать, книга хорошая: «Белеет парус» Катаева.

Фрося подошла к нам, поздоровалась, достала чистый платок и вытерла пот на лбу у шахтера.

— Да мне хорошо, не беспокойся, — пробормотал шахтер, а Фрося слабо улыбнулась нам, как бы оправдываясь, и сказала:

— Ему перегреваться нельзя. А он со своей камбалой прямо с ума сходит. С самого рассвета до темноты сидит по-над морем. Обедать — и то я его силой тащу. Что на работе в шахте, что у моря, характер у моего Степы один.

Она положила на раскрытую книгу морской голыш, чтобы ветер без толку не переворачивал страницы, помолчала и снова улыбнулась:

— Я заметила, что когда человек отдыхает, то сколько бы ему ни было лет, он делается просто как маленький. Вот вы тоже, — она обернулась к Горленко, — каждый день меняете у мальчишек крючки на крабов. А один раз я даже видела, как вы помогали жуку.

Горленко покраснел и согласился, что да, действительно был такой случай.

Жук долго трудился, скатал из всяких семян, навоза и остатков сухой камсы большой шар — запас пищи на зиму — и покатил его вверх по крутой тропе в свою нору. Жук кряхтел, надрывался, мучился, несколько раз падал, но шара не выпускал. Только у самой норы жук, очевидно, выбился из сил — шар выскользнул из его цепких лапок, покатился с горы и упал в глубокий овраг.

Жук заметался в отчаянии. Тогда Горленко спустился в овраг, нашел шар, принес его и положил около норы. Жук пошевелил усиками, обежал несколько раз вокруг шара и закатил его, наконец, в нору.

— Пропащего труда всегда жалко, — заметила Фрося. — А вас я читала. И понаслышке тоже знаю. Мне про вас сестра рассказывала. Она — садовод, работает в колхозе под Сумами.

— Что же она такое про меня рассказывала? — с опаской спросил Горленко.

— Будто вы всю Харьковщину и Полтавщину пешком обошли. С одной железной палкой и с мешком за спиной. Правда это?

Писатель пробормотал что-то неясное. Он был застигнут врасплох.

— И еще сестра рассказывала, как вы в одном селе сами скосили все сено для старушек, для матерей наших погибших солдат.

Я тоже слышал об этом. Слышал и о том, что Горленко каждое лето обходит пешком многие колхозы Украины и другого такого знатока колхозной жизни нет, пожалуй, среди наших писателей.

В колхозах его хорошо знали — худого, запыленного, черного от солнца человека с серыми зоркими глазами. У него было множество друзей среди крестьян — от сивых дедов до молодиц и «малесеньких хлопчиков», тех самых, всем известных хлопчиков, что от застенчивости в ответ на вопросы только чесали одной босой ногой другую и в исключительных случаях отвечали сиплым шепотом.

С Горленко колхозники советовались обо всех своих житейских делах, и женщины, вздыхая, говорили:

— Вот мает же человек золотое сердце на радость людям.

Знания Горленко в сельском хозяйстве были обширны и накоплены опытом. О чем бы он ни говорил — о сортах пшеницы, водяных мельницах-«млынах», нехватке воды в реках, баштанах и сахаристости свеклы — все это благодаря каким-то неуловимым чертам, рожденным любовью к делу, к людям, к своей удивительной южной стране, приобретало в его передаче черты настоящей поэзии.

Колхозная жизнь не была для него только материалом для книг. Она была его прямым делом, его биографией. Он «болел» за «наикращее життя» для своих земляков не только в статьях и книгах, но и на деле. Труд был для него святыней, почетным долгом, будь то многолетнее выращивание новой породы молочного скота или разведение зеркального карпа.

Всюду он вносил пленительный украинский юмор. Нельзя сказать, чтобы его путь был усыпан барвинками и бархатцами. Все хищное, что еще пряталось кое-где в колхозах, — жулики-счетоводы, дутые «герои», втиравшие очки советской власти, — все это боялось его и мстило ему. Заносчивые и несправедливо

обласканные доверчивыми руководителями председатели иных колхозов открыто презирали его за то, что он обходил Украину пешком, как какой-нибудь бродяга, как «несчастная голота», — по пыльным шляхам, по заросшим стежкам, ночевал в клунях и куренях, а не приезжал на своей личной блестящей машине, как это полагалось делать, по их представлению, «настоящему писателю».

Стыдно сказать, но и из писателей кое-кто посмеивался над Горленко. Ему, усмехаясь, говорили, что времена странствующего украинского философа Григория Сковороды давно прошли, и посматривали на него с легкой насмешкой, как на неисправимого чудака.

С кем бы Горленко ни встречался, он незаметно для собеседника выпытывал у него все, что касалось его работы, жизни, его познаний. Не было такой малости, из какой он бы не старался извлечь жизненного опыта.

Сейчас в Крыму его интересовало все: разноцветные лишаи на скалах, иодистые водоросли, уход за виноградниками, сорта крымских табаков, местные названия каждого ветра и даже устройство легких у нырков, прятавшихся надолго под воду при первом же свисте пущенного в них «мерекопщиками» камня.

Все это — и великое и малое — очень точно входило в его понимание действительности. Поэтому каждый разговор с ним был своего рода отрывком из еще не написанной интересной книги.

Иногда мы говорили с Горленко о будущем. Разговор этот чаще всего возникал по утрам на берегу. Быть может, потому, что тишина и блеск света над еще не проснувшимся морем вызывали уверенность в приходе новых прекрасных дней.

— Будущее определяется не высокими словами о благе людей, — говорил Горленко, — а кропотливой и повседневной заботой о каждом без исключения простом человеке.

Через несколько дней мы четверо (не считая всевидящих и вездесущих мальчишек) так сдружились,

что почти всюду ходили вчетвером. И вот оказалось, что у нас, людей совершенно разных, много общих мыслей и интересных друг для друга рассказов — о шахтах, прошлом Донбасса, степных курганах, недавней войне, городке Геническе, где выросла Фрося, колхозных лесах, рыбачьих традициях, стихах, писательском мастерстве и других не менее замечательных вещах.

Фрося больше всего любила стихи. Однажды, когда Горленко, лежа на пляже, начал читать вполголоса пушкинские строки: «Редеет облаков летучая гряда...», она отвернулась и заплакала. Но тут же она рассмеялась, и блеск благодарных слез в ее глазах и сияние ее улыбки как бы осветили новой теплотой знакомые слова: «Звезда вечерняя, печальная звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины...»

Мы сделали вид, что не заметили Фросиных слез, а шахтер сказал:

— Вот удивительно! Что ни день, то интереснее жить на свете.

Вскоре мы с Горленко уехали на машине к себе на север.

Тополя шумели по обочинам дороги. Листва лесов неслась душистыми грудами за окнами машины. Внезапно в этой зелени возникали сиреневые гранитные скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе, прозрачные ручьи. Каждый раз перед таким ручьем машина замедляла ход, будто хотела напиться.

Лепестки маков летели по ветру легкими стаями, как мотыльки. Отвесный каменный порог вставал вдали в дрожащем горячем воздухе, и шофер всерьез рассказывал, что он видел на этой гладкой горной стене ввинченные в камни причальные кольца, так как здесь, говорят, было в незапамятные времена море.

На утреннем базаре в Симферополе все блестело от росы: кувшины с молоком, холодная редиска, пучки лука и огромные пионы.

Мы уезжали, но отдых продолжался. Благодатный Крым никак не хотел отпускать нас на север. Долго еще синели в степной дали мягкие гребни его гор.

С Крымом мы попрощались только у берегов Сиваша, за Чонгарским мостом.

Горячая машина отдыхала на пригорке в перистой тени акации. Оттуда было видно Азовское море, налитое густой лазурью до самых краев в рыжие глинистые берега. На мысу над морем белел поселок, как будто чайки сели отдохнуть среди кудрявой зелени низкорослых садов. Это был рыбачий городок Геническ — родина Фроси.

Может быть, поэтому Горленко вспомнил о Фросе и шахтере из Горловки и рассказал мне историю их любви и жизни. Оказывается, он уже успел все это узнать, опередив меня. Я тоже заметил почти детскую нежность в обращении Фроси с шахтером, и мне казалось, что я присутствую при зрелище большой и самоотверженной любви.

История эта была удивительной, хотя и совершенно простой.

В бою под Чонгаром шахтер был тяжело ранен. К нему подползла санитарка. Это была Фрося. Она перевязала его, но тут же сама была ранена осколком снаряда. Тогда шахтер, почти теряя сознание, перевязал свою спасительницу.

Потом они долго лежали в степи, пока их не подобрали и не отправили в санбат. Фрося говорила Горленке, что она выросла сиротой, жила одна, а тут, этой ветреной ночью, она услышала, как тяжело дышит рядом спасенный ею человек, и поняла, что он ей теперь не чужой, что их породнила великая сила сострадания.

Мутные звезды светились в небе над Сивашом, отражались в его мертвой воде, и Фрося думала, что вот сейчас в ледяной степи среди колючих трав у берега гнилого этого моря, освещенного зловещими вспышками смертоносного орудийного огня, она нашла то единственное, что сильнее смерти, сильнее горя, сильнее всего на свете, — родную человеческую душу.

— Вот и все, — сказал Горленко. — Никаких украшений жизнь не прибавила к их любви. Украшения пусть придумывают писатели. Но я считаю, что это совершенно лишнее.

Я согласился с ним. Потом, когда машина неслась по широкому шоссе и в вечерних сумерках тонули по сторонам, кутаясь в туманы и дымы, запорожские степи, я думал о том, что ничего особенного не случилось за эти дни отдыха на берегу моря, кроме того, что там встретились самые простые люди. И в их простоте открылось столько взаимного доброжелательства, веселья, душевной чистоты и преданности своему делу, что не нужно никаких героических поступков, чтобы оценить и полюбить это высокое племя людей.

1953

РОЖДЕНИЕ РАССКАЗА

Подмосковный зимний денек все задремывал, никак не мог проснуться после затянувшейся ночи. Кое-где на дачах горели лампы. Перепадал снег.

Писатель Муравьев вышел на площадку вагона, открыл наружную дверь и долго смотрел на проносившуюся мимо поезда зиму.

Это была, пожалуй, не зима, а то, что называют «зимкой», — пасмурный день, когда порывами набегает сырой ветер, вот-вот начнется оттепель и полетят с оттаявших веток первые капли. В такие дни в лесных оврагах уже осторожно позванивают подо льдом родники. Они несут вместе с водой много воздушных пузырей. Пузыри торопливо бегут серебряными вереницами, цепляются за вялые подводные травы. И какой-нибудь серый снегирь с розовой грудкой крепко сидит на ветке над родником, смотрит одним глазом на пробегающие пузыри, попискивает и встряхивается от снега. Значит, скоро весна!

Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и слаженной. Так было сейчас с Муравьевым.

В старые времена литераторы любили обращаться к читателям со всякого рода вопросами.

«Почему бы, — подумал Муравьев, — современным писателям не воспользоваться иногда этим добродушным приемом? Почему бы, например, не начать рассказ так:

«Знакомо ли вам, любезный читатель, чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и без всякой причины? Вы идете по улице, и у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случилось на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. Искали ли вы причину этого состояния? Навряд ли. Но даже если предчувствие счастья вас и обманывало, то в нем самом было столько силы, что оно помогало вам жить».

«Искать и находить причины неясных, но плодотворных человеческих состояний — дело писателей, — подумал Муравьев. — Это одна из областей нашего труда».

Труд! Все сейчас было полно им вокруг. В пару и грохоте проносились навстречу тысячетонные товарные поезда. Это был труд. Самолет низко шел, гудя, над снежной равниной. Это тоже был труд. Стальные мачты электропередачи, обросшие инеем, уносили во мглу мощный ток. И это был труд.

«Ради чего работает многомиллионная, покрытая сейчас снегом, великая страна?—подумал Муравьев.— Ради чего, наконец, работаю я?

Ради жизни? Ради высоких духовных ценностей? Ради того, чтобы человек был прекрасен, прост и умен? Ради того, наконец, чтобы любовь наполняла наши дни своим чистым дыханием? Да, ради этого!

Пушкин спрашивал в своих поющих стихах: «Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?»

— Конечно, мы, — ответил самому себе Муравьев. Снег залетал на площадку вагона и таял на лице. — Кто же иной, как не мы!»

Муравьев писал для одного из московских журналов рассказ о труде. Он долго бился над этим рассказом, но у него ничего не выходило. Должно быть потому, что подробное описание труда оттесняло в сторону человека. А без человека рассказ получался нестерпимо скучным. Муравьеву же казалось, что рассказ не клеится из-за суматошной московской жизни — телефонных звонков, всяческих дел, гостей и заседаний.

В конце концов Муравьев рассердился и уехал из города. В одном из подмосковных поселков у его друзей была своя дача. Муравьев решил поселиться на этой даче и пробыть там до тех пор, пока не окончит рассказ.

На даче жили дальние родственники его друзей, но этих родственников Муравьев никогда не видел.

На Северном вокзале, когда Муравьев шел по перрону к пригородному поезду, у него вдруг глухо забилось сердце и он подумал, что вот, — будет удача в работе. Он даже знал теперь наверное, что она будет, эта удача. Знал по многим точным приметам — по свежести во всем теле, сдержанному своему волнению, по той особой зоркости, с какой он замечал сейчас и запоминал все вокруг, по нетерпеливому желанию скорей добраться до этой незнакомой дачи, чтобы сесть в тишине за стол со стопкой чистой плотной бумаги, наконец по тому обстоятельству, что в памяти у него все время возникали обрывки любимых стихов: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявленьем...»

В таком взволнованном состоянии Муравьев вышел из поезда на длинную дачную платформу в сосновом лесу. На платформе никого не было. Только на перилах сидели, нахохлившись, воробьи и недовольно смотрели на поезд. Они даже не посторонились, когда Муравьев прошел рядом с ними и чуть не задел их рукавом. Только один воробей что-то сварливо чирикнул в спину Муравьеву. «Должно быть, обругал меня невежей», — подумал Муравьев, оглянулся на воробья и сказал:

— Подумаешь, — большой барин!

Воробей долго и презрительно смотрел вслед Муравьеву бисерным глазом.

Дача была в трех километрах от платформы. Муравьев шел по пустынной дороге. Иногда среди перелесков открывались поля. Над ними розовело небо.

— Неужели уже закат? — громко сказал Муравьев и поймал себя на том, что здесь, за городом, он начал разговаривать с самим собой.

День быстро иссякал почти без проблесков света. Ни один солнечный луч не прорвался сквозь плотную мглу, не упал на заиндевелые ветки, не поиграл на них бледным огнем и не бросил на снег слабые тени.

Дорога спустилась в овраг, к бревенчатым мостушкам. Под ними бормотал ручей.

— Ага! — с непонятной радостью сказал Муравьев и остановился. В небольшой промоине во льду виднелась бегущая темная вода, а под ней — каменистое дно.

— Откуда ты берешь зимой столько воды, приятель? — спросил Муравьев.

Ручей, конечно, не ответил. Он продолжал бормотать, то затихая, то повышая голос до звона. Вода отламывала прозрачные льдинки и сталкивала их друг с другом.

Муравьев спустился к ручью и начал отбивать палкой куски льда. Ручей кружил отломанный лед и пенился.

«Надо же все-таки хоть немного помочь весне», — подумал, усмехнувшись над самим собой, Муравьев и оглянулся. На мостушках стояла девушка в синем лыжном костюме и, воткнув палки в снег, внимательно смотрела на Муравьева.

Муравьев смутился. Что подумает о нем эта девушка? «Старый хрыч, а занимается ерундой». Ничего иного она, конечно, подумать не может. Но девушка нагнулась, поспешно отстегнула лыжи и крикнула Муравьеву:

— Погодите! Лучше отламывать лед лыжными палками. У них железные наконечники!

Она сбежала к ручью и протянула Муравьеву лыжную палку. Оказалось, что этой палкой отбивать лед было гораздо легче.

Они ломали лед вдвоем сосредоточенно и молча. Муравьеву стало жарко, он снял варежки. У девушки выбились из-под вязаной шапочки пряди волос.

Потом неведомо откуда появился мальчишка в шапке с торчащими в разные стороны наушниками. Муравьев заметил его, когда он, шмыгая носом, начал толкаться от азарта и путаться под ногами.

— Пожалуй, хватит! — сказал, наконец, Муравьев и выпрямился. Густые сумерки уже лежали над землей. «Однако, как быстро пролетело время», — подумал Муравьев, взглянул на девушку и рассмеялся. Девушка стряхивала снег с варежек. Она улыбнулась ему в ответ, не подымая глаз.

Когда выбрались из оврага на лесную дорогу, Муравьев разговорился с девушкой. Мальчишка некоторое время плелся сзади, сопел и тянул носом.

Оказалось, что девушка живет с отцом на той же самой даче, куда шел Муравьев.

— Так это вы, значит, дальняя родственница моих друзей! — обрадованно сказал Муравьев и назвал себя. Девушка стащила сырую варежку и протянула Муравьеву руку.

— Меня зовут Женей, — сказала она просто.— Мы с папой ждем вас уже второй день. Я вам мешать не буду. Правда, вы не думайте... Завтра у меня последний день каникул. Я уеду в Москву, в свой институт. Вот только папа...

— Что папа? — спросил, насторожившись, Муравьев.

— Он у меня ботаник и страшный говорун, — ответила Женя. — Но вчера он дал честное-пречестное слово, что не будет приставать к вам с разговорами. Не знаю только — выдержит ли? Правда, ведь трудно сдержаться.

— Это почему ж? — спросил Муравьев.

Женя шла рядом с Муравьевым. Лыжи она несла на плече и смотрела прямо перед собой. Слабый свет поблескивал у нее в глазах и на отполированных широких отгибах лыж. Муравьев удивился, — откуда взялся этот свет? По всему окружию полей уже залегала на ночь угрюмая темнота. Потом Муравьев за-

метил, что это был не отблеск снега, как он сразу подумал, а отражение широкого освещенного окна большой двухэтажной дачи. Они к ней уже подходили.

— Да, так почему же трудно удержаться от разговоров? — снова спросил Муравьев.

— Как вам сказать... — неуверенно ответила Женя. — Я понимаю, как строится, например, морской корабль. Или как из-под пальцев у ткачихи выходит тонкое полотно. А вот понять, как пишутся книги, я не могу. И папа этого тоже не понимает.

— Да-а, — протянул Муравьев. — Об этом на ходу не поговоришь.

— А вы не будете об этом писать? — робко спросила Женя, и Муравьев понял, что если бы не застенчивость, то она бы просто попросила его написать об этом. — Ведь пишут же о своем труде другие.

Муравьев остановился, пристально, прищурившись, посмотрел на Женю и вдруг улыбнулся.

— А вы молодец! Как это вы догадались, что я пишу... вернее, собираюсь писать именно об этом, о своем писательском труде?

— Да я и не догадывалась, — испуганно ответила Женя. — Я сказала просто так. Право, мне очень хочется знать, как это вдруг появляются на свет и живут потом целыми столетьями такие люди, как Катюша Маслова или Телегин из «Хождения по мукам». Вот я и спросила.

Но Муравьев уже не слышал ее слов. Решение писать о своем труде пришло сразу. Как он раньше не догадался об этом! Как он мог вяло и холодно писать о том, чего он не знал и чего сам не испытывал. Писать и чувствовать, как костенеет язык и слова уже перестают звучать, вызывать гнев, слезы, раздумия и смех, а бренчат, как пустые жестянки. Какая глупость!

В тот же вечер Муравьев без всякого сожаления бросил в печку, где жарко трещали сухие березовые дрова, все написанное за последние дни в Москве.

На столе лежала толстая стопка чистой бумаги. Муравьев сел к столу и начал писать на первой странице:

«Старый ботаник — худой, неспокойный и быстрый в движениях человек — рассказывал мне сегодня вечером, как ведут себя растения под снегом, как медленно пробиваются сквозь наст побеги мать-и-мачехи, а над самым снеговым покровом расцветают холодные цветы подснежника. Завтра он обещает повести меня в лес, осторожно снять верхний слой снега на любой поляне и показать мне воочию эти зимние и пока еще бледные цветы.

Я пишу этот рассказ или очерк — я сам не знаю, как назвать все то, что выходит сейчас из-под моего пера, — о никем еще не исследованном явлении, что носит несколько выспренное название творчества. Я хочу писать о прозе.

Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной поэзии. И живописности.

Наивные люди, некоторые поэты с водянистыми, полными тусклых мечтаний глазами, до сих пор еще думают, что чем меньше становится тайн на земле, тем скучнее делается наше существование. Это все чепуха! Я утверждаю, что поэзия в огромной степени рождается из познания. Количество поэзии растет в полном соответствии с количеством наших знаний. Чем меньше тайн, чем могущественнее человеческий разум, тем с большей силой он воспринимает и передает другим поэзию нашей земли.

Пример этому — рассказ старого ботаника о зимней жизни растений. Об этом можно написать великолепную поэму. Она должна быть написана такими же холодными и белыми стихами, как подснежные цветы.

Я хочу с самого начала утвердить мысль о том, что источники поэзии и прозы заключаются в двух вещах — в познании и в могучем человеческом воображении.

Познание — это клубень. Из него вырастают невиданные и вечные цветы воображения.

Я прошу извинить меня за это нарядное сравнение, но, мне кажется, пора уже забыть о наших «высококультурных» предрассудках, осуждающих нарядность и многие другие, не менее хорошие вещи. Все дело в том, чтобы применять их к месту и в меру».

Муравьев писал, не останавливаясь. Он боялся отложить перо хотя бы на минуту, чтобы не остановить бег мыслей и слов.

Он писал о своем труде, великолепии и силе русского языка, о великих мастерах слова, о том, что весь мир во всем его удивительном разнообразии должен быть повторен на страницах книг в его полной реальности, но пропущенный сквозь кристалл писательского ума и воображения и потому — более ясный и осознанный, чем в многошумной действительности.

Он писал как одержимый. Он торопился. За окнами в узкой полосе света из его окна косо летел между сосен редкий снег. Он возникал из тьмы и тотчас же пропадал в этой тьме.

«Сейчас за окнами летит по ветру снег, — писал Муравьев. — Пролетают кристаллы воды. Все мы знаем их сложный и великолепный рисунок. Человек, который придумал бы форму таких кристаллов, заслужил бы огромную славу. Но нет ничего более мимолетного и непрочного, чем эти кристаллы. Чтобы разрушить их, достаточно одного детского вздоха.

Природа обладает неслыханной щедростью. Ей не жаль своих сил. Кое-чему нам, людям, в особенности писателям, стоит поучиться и у природы. Прежде всего — этой щедрости. Каждой своей вещи, будь то хотя бы самый маленький рассказ, надо отдавать всего себя, все свои силы без остатка, — все лучшее, что есть за душой. Здесь нет места бережливости и расчету.

Надо, как говорят инженеры, открыть все шлюзы. И никогда не бояться того чувства опустошения, которое неизбежно придет, когда работа закончена. Вам будет казаться, что вы больше не сможете написать ни строчки, что вы выжаты досуха, как губка. Это —

ложное состояние. Пройдет неделя, и вас снова потянет к бумаге. Снова перед вашим умственным взором зашумит весь мир.

Как морская волна выносит на берег ракушку или осенний лист и снова уходит в море, тихо грохоча галькой, так ваше сознание вынесет и положит перед вами на бумагу первое слово вашей новой работы».

Муравьев писал до утра. Когда он дописывал последние слова, за окнами уже синело. Над сумрачными полями в морозном дыму занимался рассвет.

Было слышно, как внизу гудел в только что затопленной печке огонь и постукивала от тяги чугунная печная дверца.

Муравьев написал последние строки:

«Горький говорил о том, что нельзя писать в пустоту. Работая, надо представлять себе того милого человека, которому ты рассказываешь все лучшее, что накопилось у тебя на душе и на сердце. Тогда придут сильные и свежие слова.

Будем же благодарны Горькому за этот простой и великий совет».

Утром Муравьев долго умывался холодной водой из ведра. В воде плавали кусочки прозрачного льда.

Еловая лапа висела, согнувшись от снега, за окном маленькой умывальной комнаты. От свежего мохнатого полотенца пахло ветром.

На душе было легко и пусто, — даже как будто что-то позванивало во всем теле.

Днем Муравьев пошел проводить Женю до станции, — она уезжала в Москву, в свой институт.

— Откровенно говоря, — сказал Муравьев Жене, когда они подходили к дощатой платформе в лесу, — мне уже можно возвращаться в Москву. Но я останусь еще на два-три дня. Отдохну.

— Разве у нас вам плохо? — испуганно спросила Женя.

— Нет. У вас тут чудесно. Просто, я почти окончил этой ночью свой рассказ.

Муравьев невольно сказал «почти окончил». Ему почему-то стыдно было признаться, что рассказ он написал целиком за одну эту ночь.

Он хотел сказать Жене, что очень торопился, чтобы успеть прочесть ей этот рассказ до ее отъезда в Москву, но не прочел, не решился. Он хотел сказать Жене, что он писал рассказ, думая о ней, что Горький, конечно, прав, что он просто благодарен ей, почти незнакомому человеку, за то, что она живет на свете и вызывает потребность рассказывать ей все хорошее, что он накопил у себя на душе.

Но Муравьев ничего Жене не сказал. Он только крепко пожал ей на прощание руку, посмотрел в ее смущенные глаза и поблагодарил за помощь.

— За какую помощь? — удивилась Женя.

Перед приходом поезда повалил густой снег. Далеко за семафором ликующе и протяжно закричал паровоз. Поезд неожиданно вырвался из снега, как из белой заколдованной страны, и, заскрежетав тормозами, остановился.

Женя последней поднялась на площадку. Она не уходила в вагон, а стояла в дверях — раскрасневшаяся и улыбающаяся — и на прощанье помахала Муравьеву рукой в знакомой зеленой варежке.

Поезд ушел в снег, обволакивая паром леса. Муравьев стоял на платформе и смотрел ему вслед. И как на Северном вокзале в Москве, снова он почувствовал глухое биение сердца. Снова пришло внезапное ощущение того, что вот сейчас, где-то здесь, рядом, на этой земле, затихшей под легкой на первый взгляд тяжестью летящего снега, случилось что-то очень хорошее, и он, Муравьев, замешан в этом хорошем, как соучастник.

— Хорошо! — сказал Муравьев. — Нельзя жить вдали от молодости!

Муравьев спустился по обледенелой лесенке с платформы и пошел к ручью — докалывать лед. Лыжную палку он захватил с собой.

1954

ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК

С давних пор всем известно, что «старый, как малый». И так же давно всем известно, что «каждая веревочка может пригодиться в хозяйстве».

Таких истин — великое множество. Мы к ним привыкли и произносим их не задумываясь. Но изредка случается, что такая прописная истина вдруг получает неожиданный смысл. Так было, к примеру, в случае с дедом Петро и с его таинственным сундуком.

Те места, где жил на краю села наш дед Петро, не то чтобы были очень глухие, но, конечно, и не очень шумные. Одним словом — Полесье. Бывалому человеку не нужно даже и объяснять, что это за край. Он и сам понимает, что в Полесье одни леса да болота, пески да холодные реки. И, конечно, луга со всякой травой.

Дед Петро был человек одинокий. Хозяйствовал он в своей хате один и, не глядя на свой престарелый возраст, все еще работал в колхозе.

Работа у него была, можно сказать, самая затруднительная, потому что по колхозной должности дед Петро имел дело только с мальчишками. А кто не знает, что мальчишки — самый драчливый и прилипчивый народ. Одному богу известно, какая только глупость может прийти им в голову ни с того ни с сего.

Вот про эту работу деда с мальчишками и сказал колхозный счетовод, что «в хорошем хозяйстве каждая веревочка может пригодиться». Слова, конечно, обидные. Но так уж повелось, что счетоводы бывают острые на язык. Сидит иной счетовод в конторе, обсыпается табачным пеплом, щелкает косточками на счетах и перемывает косточки людям. И, заметьте, несмотря на это занятие, в цифрах своих он не спутается ни на копейку. Особый, как говорится, талант.

А счетовод в селе деда Петро, в нашем, конечно, селе, был не только острый на язык, но еще и вредный. Пустил по селу слух, что дед Петро держит у себя в хате сундук и в том сундуке спрятаны у него стариннейшие регалии.

Ну и слово придумал — регалии! Редко кто такое слово даже слышал. А об том, чтобы понимать, что оно означает, и говорить нечего. Иные престарелые люди даже робели, когда слышали такое слово, и опасались, не будет ли от этих регалий какого-нибудь плохого последствия.

В наших местах народ доверчивый и стеснительный. Спросили один раз у счетовода, что это значит — регалии, а он смеется. «Это, говорит, вещество высшего полета». Покачали люди головами — до чего же вредный счетовод! — и больше не спрашивали.

У деда Петро действительно стоял в хате сундук, расписанный розанами. Сундук был старый, пожалуй, постарше годами, чем сам хозяин. Краска на нем потрескалась и облупилась, а внутри само по себе, особенно по ночам, что-то осторожно звенело и как будто жаловалось.

Мальчишки прямо изводились, чтобы дорваться до того сундука и его потрогать. О том, чтобы заглянуть внутрь, не могло быть никакого разговора, но хоть бы сдвинуть его и дознаться, сколько в нем весу.

Ходил слух, что регалии выкованы из железа и потому сундук бренчит по ночам.

Стоял сундук около печки, и на нем, когда ни заглянешь в окно, всегда спал пыльный черный кот и поводил ушами — сторожил те регалии.

В хату мальчишки заходить не решались, потому что у них с дедом Петро были свои серьезные счеты. И начались те счеты с зеркального карпа.

В наших местах кругом реки и озера со всякой простой рыбой. А лет двадцать назад, еще до Великой Отечественной войны, постановил наш колхоз развести в пруду зеркального карпа. Пруд у нас большой. Посмотришь с одного берега на другой, так там вроде видится все через дым — ракиты, луга со своими цветами и лес. Что-что, а ракиты у нас знаменитые, — древние, дуплистые, густые. Под ними хорошо прятаться от дождя, — сухо, как в хате, а в двух шагах дождь шумит, льется стеной.

Так вот в том пруду развели зеркального карпа.

Правда, прежде чем рассказывать про карпа, надо бы, конечно, рассказать о траве на наших лугах. Но раз уж зашел разговор о карпе, то придется его как-нибудь и окончить.

На третий год начал карп ходить под водой золотыми тучами. Пришло время его вылавливать. У взрослых наших колхозников дела по горло. Нет у них возможности еще и карпа удить. Уженье рыбы — дело по времени очень емкое. Оно требует усидчивости и опыта, а если у человека еще и нетерпеливый характер, то лучше ему за это занятие не браться. Только перепутает все лески, пообрывает крючки и окончательно расстроит свои последние нервы.

Тут-то и вспомнили про наших мальчишек. Кому, как не им, поручить это ответственное и морочливое дело. Главное, за хороший улов не надо будет беспокоиться, потому что какой мальчишка, если дать ему удочку, да еще бамбуковую, да еще с прозрачной леской из «сатурна», не просидит на пруду от зари до зари? Хоть хляби небесные, как говорили в старину, разверзнутся, а он не уйдет. Посинеет весь, будет трястись, как в лихорадке, беспрерывно тянуть носом, а не уйдет: и от азарта и от опасения, как бы соседский Сашко не выловил больше, чем он. Этого, конечно, ни один уважающий свое звание мальчишка допустить не хочет.

Созвали мальчишек и дали им такое направление: шесть карпов в колхоз, а седьмого себе за труды. Поставили на берегу пруда бочки, чтобы складывать пойманного карпа, а для наблюдения за порядком назначили деда Петро.

Определили день, когда начинать ловлю, и, правду сказать, будь он четырежды неладен тот день. Кабы знали, как она будет выглядеть, эта ловля, так никогда бы такой оплошности не сделали. Но, как поется в песне: «Никто пути пройденного назад не повернет, — эй, конная Буденного дивизия вперед!» Что сделано — то сделано, и осталось нам, рядовым колхозникам, только чертыхаться да почесывать затылки.

Вы спрашиваете, что же такое особенное могло случиться при возникновении этой рыбной ловли? Дело, как всем известно, безопасное и для себя и для других и никакими тяжелыми последствиями не грозит. Но так, конечно, может спрашивать человек, не имеющий ни малейшего понятия о наших мальчишках.

Еще не занялась заря того дня, когда должна была начаться ловля, как село наше проснулось от шума, крика, свиста и перебранки на берегу пруда. Похоже, что там иногда даже таскали друг друга за волосы и, заметьте, при совершенно несоответствующей обстановке. Представьте себе, — небо еще только чуть-чуть синеет, звезды еще горят во всей своей силе над землей, с лесных болот тянет таким сладким запахом багульника, что от него кружится голова, ни одна птица еще не пропела, а на пруду стоит такой гвалт, будто горит вся земля. Вот какой был азарт! Стоит одному какому-нибудь мальчишке вытащить карпа, как подымались всеобщий крик и толкотня. Случались, понятно, и драки из-за лучшего места.

Вот тут-то и получилась для деда Петро самая горячая работа. И мальчишек разнимать, и следить, чтобы только седьмую рыбу каждый брал себе, а не шестую и даже пятую.

Как только дед Петро поспевал углядеть, как у кого клюет и кто сколько вытащил карпов при таком столпотворении, — это даже удивительно! И как

это он успевал ковылять на своей деревяшке от одного до другого, — тоже непонятно!

Забыл я вам сказать, что дед Петро еще с давней японской войны стал инвалидом. В бою под Вафангоу потерял он ногу и с той поры ходил на деревяшке.

Дед Петро завел для мальчишек строгие правила. Первое правило — не брехать насчет того, сколько поймал рыбы, не увиливать. Второе правило — не заводить драк и скандалов и третье правило — не дуть пойманным карпам в рот и не тащить их, кстати, из воды через голову, а подольше вываживать на кругах.

Две недели шла разрешенная ловля. И за эти две недели столько наслушались в нашем колхозе мальчишеского хвастовства, что головы у людей просто гудели. Но зато и улов был богатый!

После ловли так тихо стало в селе, что кое-кто даже начал жалеть о недавнем буйном времени. А я, признаюсь вам, не жалел. Проснешься до света, лежишь и ждешь, пока запоют петухи. Звезды дрожат за окнами, в печке что-то потрескивает, пахнет сухой мятой и так на сердце спокойно, так тихо, что, кажется, век бы жил и жил и думал хорошие думы.

Ну, это я заболтался. Да еще про такую старую историю с карпами. Я давно за собой заметил, что с возрастом болтаю вроде как больше, чем требуется, и опять же — болтаю с длительным, так сказать, подходом. Вот и сейчас. Начал я разговор про таинственный сундук, а занесло меня к карпам. Ежели вы не устали, так вернемся к этому сундуку. Но, чтобы все было понятно про сундук, надо вам сказать, что наши места всегда славились своими кормовыми травами и сеном.

Как зацветут у нас луга, как затихнут воды, как закричат дергачи да ударят к вечеру по-над теми лугами и речками перепела и соловьи, — так вы только молчите, смотрите и слушайте. Другой раз, может, такой красоты вы никогда и не увидите.

И почему это так повелось думать, что наше украинское Полесье — это одна сырость да туман, — не понимаю.

Да, так надо же кончить эту историю с дедом Петро. Он по инвалидности своей полномерно работать, конечно, не мог, а до работы был жадный. Беспокойный был к работе человек и на все имел особое мнение. В этом ничего удивительного нет. На то и старый человек, чтобы по опытности своей кое о чем иметь свое самостоятельное мнение.

После дела с карпами назначили деда Петро сторожить луга. Дали ему смирного коня, и объезжал он на нем луга, присматривал, чтобы те же самые мальчишки, а заодно с ними и девчата не вытаптывали и не мяли траву.

В лугах у нас много клубники и щавеля, а это для детей — самая большая приманка. А то, бывает, среди детей запутается еще какая-нибудь старуха, собирает свои лечебные травы от тридцати трех болезней и от трясовицы.

Было у нас давнее распоряжение по всем колхозам страны косить луга рано, чтобы успела еще отрасти отава для второго сбора. И чтобы сенокос не совпал с уборкой хлебов — самым горячим летним временем для колхозников. Раз есть такое распоряжение, мы и косим луга из года в год раным-рано. И из года в год замечаем, что начинают лысеть наши луга и сена мы собираем все меньше и меньше. Но за другими делами как-то это идет у нас без большого внимания.

И вот приходит один раз дед Петро к председателю нашего колхоза и говорит:

— Долго вы еще будете губить траву? Разума у вас своего нету или что! Она еще и метелок не выбрасывала, а вы ее всю косите. Это все, — говорит, — от дурости вашей, оттого, что много начали об себе понимать.

Ну, конечно, председатель, хотя и сам видит, что с лугами у нас дело поганое, однако стоит на своей позиции.

— Не крути, — говорит он деду Петро, — ты мне голову. У меня и без тебя мороки, как маковых зерен в мешке. Начальству лучше знать, когда косить.

— Откуда начальству все знать! — говорит ему дед Петро. — Может, оно вам еще скажет, сколько

у нас в колхозе лент у дивчин или как бабка Мотря шинкует и квасит капусту? Или сколько табаку у себя на огороде посадил этот наш счетовод-балаболка?

— А очень свободно, что и знает! — сердито говорит ему председатель. — Какой академик нашелся!

Тут уж дед Петро выругался, постучал себя по лбу и говорит:

— Моя академия вот тут! Так спытайте ваших академиков, известно ли им, что, ежели все травы косить в один ранний срок, — надолго лугов не хватит. А то проторгуетесь до самых дыр, до того, что сена не будет у вас и коровы начнут дохнуть. Дайте травам больше силы в кореньях набрать, чтобы к новому покосу гуще отрасти. Делите все луга на четыре части, каждую косите в свой срок. На будущий год поменяйте сроки. И не будет лысин на лугах. Соображать надо самостоятельно. На то вас и выбрало колхозное население. А вы все тянете, чтобы по бумажке жить.

Ну, тут, конечно, начался крик и, как говорится, взаимная обида. Ушел дед Петро ни с чем, а председатель ему еще в спину крикнул:

— Старый, как малый! Со своими фантазиями!

Дед Петро остановился, плюнул в пыль и ответил:

— Я этого дела так не оставлю. Как я есть старый солдат и местный старожил.

Действительно, подался наутро в район. Что там было, никому не известно. Только вернулся оттуда дед Петро смутный, заперся у себя в хате, а на другое утро услышали соседи, как запел замок от дедовского сундука. Замок тот был старинный, с музыкой.

Соседский мальчишка вылетел на улицу, бежит по ней и кричит:

— Дед Петро регалии с сундука вытягает!

Тут произошло, как говорится, некоторое смятение. Забегали из хаты в хату женщины. Во всех окошках поднялись занавески — десятки глаз взяли под обстрел дедовскую хату.

А потом так все и ахнули. Вышел дед Петро из хаты в новой свитке и соломенном брыле-шляпе, и на

груди у него горел начищенный солдатский георгиевский крест за японскую войну.

Проковылял дед через все село и пропал. Пошел на Днепр, на пристань, сел на пароход и поехал, понятно, в самый Киев — к правительству.

И можете себе представить, добился-таки своего.

Вернулся дед Петро, снял свой георгиевский крест и запер его в сундук. И тут-то и узнали люди, что ничего, кроме того креста, в сундуке не было. Никаких железных регалий, а один только маленький крест, что заслужил дед Петро своей кровью.

Я, конечно, разболтался, но думаю, может, вам интересно узнать, что и в таких невидных местах, как наше, бывают всякие такие случаи, вроде этой истории с сундуком деда Петро.

1954

БЕГЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздней осенью я проезжал на машине по Великолуцкой и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны.

Стояли эти Звоны на бугре, над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру. Небо уже померкло, но в окнах домов еще отражался желтоватый холодный закат.

Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку. Среди города шумела и пенилась река Великая.

Я остановился в опочецкой гостинице. И была у меня в этой гостинице мимолетная и интересная встреча.

В гостинице только что окончился ремонт, и потому все было забрызгано известкой, даже электрические лампочки под потолком.

Через час после приезда я встретился в прихожей гостиницы с низеньким седым человеком в потертом пальто.

Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил:

— Когда в последний раз вы были в Большом зале консерватории?

Я был озадачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад, на концерте пианиста Святослава Рихтера.

— Суть в том, — сказал старик, — что я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции. Когда вернетесь в Москву, то поклонитесь от меня Большому залу консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас!

— А вы давно были в Москве?

— Семь лет назад, — ответил композитор и тут же спросил: — Интересовались ли вы, сколько в Великолуцкой области пианино и роялей в так называемых «сельских местностях»? В колхозных клубах и таких городках, как эта благословенная Опочка?

Я снова был озадачен и ответил, что нет, этим вопросом я не интересовался.

— Вот видите! — горестно воскликнул композитор. — А их до безобразия мало.

В прихожую вошел человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть, это был шофер.

— Папаша, — сказал он композитору, — пойдемте в столовую пообедаем. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку.

— Спасибо, голубчик. Но у меня через два часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.

Композитор повернулся ко мне.

— Семь лет! — воскликнул он и взял меня за рукав пальто. — За семь лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолуцкую область. Я даю концерты по селам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи. Человек я одинокий, мне не много надо. Как сказал некий поэт: «Только корку хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака». Но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу за гроши. Но не в этом суть! Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке. Особенно молодежь. До

слез на глазах. И как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто.

— На дорогу и то небось не хватает, — заметил шофер.

— Не было еще случая, — гордо ответил старик,— чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. Это справедливо.

— Почему? — спросил я.

— Суть заключается в том, — ответил композитор, — чтобы правильно наметить для себя ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои.

— Точно! — сказал шофер. — Я вот шофер третьего класса, так я на «ЗИС-110» за руль не сяду. Могу запороть машину.

— Погоди, Захар Иванович, — сказал композитор. — Что такое я? Как композитор? Простая мелодия. Без исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего! Прошу мне верить, поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, — вечен! Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ!

Композитор помолчал, как бы прислушиваясь к отдаленному звуку, потом сказал:

— Я неясно говорю. Плохая привычка. Мне приходится подчас быть не только пианистом, но и настройщиком. И даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. Есть здесь поблизости деревушка Звоны. Да, да, чудесная деревня. Над озером. И вот, оказывается, в этих Звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки предшественницы. Как он попал

к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент! Но на нем было восемь немых клавиш. Пришлось мне самому его чинить. Правда, провозился я с ним долго. Но починил. Звук — божественный! Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем.

— Если рассуждать практически, — сказал шофер, — то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребенок. Как же это можно так беспокойно существовать в вашем преклонном возрасте!

— А ты не рассуждай практически, — заметил композитор и показал глазами на дежурную по гостинице, короткую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и щелкала на счетах. — Таких вот практически рассуждающих развелось, как капустной тли. Ты лучше на концерт бы пришел.

— А как же! — ответил шофер. — Вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в Опочке не давали.

Композитор попрощался и вышел.

— Кто этот человек? — спросил я дежурную.

— Сами не видите, что ли! — грубо ответила она и передернула плечами. — Побирается за счет музыки. Только и знает, что нарушать правила внутреннего распорядка. То поет, то приведет мальчишек из ремесленного и учит их в номере играть на гитаре. А у нас люди стоят солидные, командировочные. Выселить его следует за это.

К ночи задул над Опочкой сумрачный, серый ветер, нагнал тучи. Порывами налетал дождь, бил твердыми каплями в оконные стекла, смывал с них известку.

Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть ее за пределы города. Так она и пролежала над Опочкой до водянистого и холодного рассвета.

Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой.

Внизу, в прихожей, часы пробили шесть.

Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему, должно быть, одиноко в такие окаянные ночи в чужом городке...

За дверью кто-то прошел. Застучал медный стержень рукомойника, висевшего в коридоре, заплескалась вода, и человек, умываясь, запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя вьюга
И волны потока угрюмо шумят...

Тотчас тяжело заскрипела лестница. Кто-то вошел в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной:

— Прекратите безобразие! Ишь чего придумали — петь по ночам!

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — спросил ее в ответ композитор, но таким свистящим шепотом и с такой наигранной свирепой угрозой, что дежурная, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка, быстро ушла, а композитор совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере.

И я понял, что никакие неприютные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и веселого человека.

Утром я уехал из Опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы, на могилу поэта.

Как всегда поздней осенью, там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой.

На могиле, около простого белого памятника с надписью «Александр Сергеевич Пушкин», я никого не застал. Только через час пришло несколько цыган и цыганок — табор их я видел невдалеке от Пушкинских гор.

Цыгане сели на землю около могилы, о чем-то тихо посоветовались между собой и едва слышно запели протяжную и печальную цыганскую песню.

Не пела только одна молодая цыганка. На ее плечи была накинута нарядная шелковая шаль. Она тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из черных гладких волос алую бумажную розу, бросила ее

к подножию памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами.

Цыганская песня все лилась, как заглушенный звон. Я вспомнил композитора в Опочке, и у меня в сознании возникла вдруг какая-то явная связь между этим протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдаленных углах страны, во всех этих Звонах, Горячих Станах, Сосенках и Каменных Гривах.

Цыгане встали и начали спускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма.

Молодая цыганка ушла последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне, сказала хрипловатым голосом: «Я бы тебе, дорогой, спела «Черную шаль», да нельзя — горло сильно болит», — легко повернулась и ушла вслед за цыганами.

Я остался. Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек с их почерневшим серебром старых берез и стелющегося дыма.

И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство.

1954

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке?

Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь!

С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1954

ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ

Тучу передернуло синим пламенем. Медленно загремел гром. Он то усиливался, то почти затихал. И дождь, как бы подчиняясь грому, начинал временами идти сильнее и широко шуметь по листве, потом останавливался.

Вскоре сквозь тучи пробилось солнце. Старый пушкинский парк в Михайловском и крутые берега Сороти запылали рыжей глиной и мокрой травой.

Стройная радуга зажглась над пасмурной далью. Она сверкала и дымилась, окруженная космами пепельных туч.

Как всегда при виде радуги, писатель Сергеев подумал, что радуга похожа на арку, воздвигнутую на границе заповедной земли.

Уже несколько дней Сергеев жил на Псковщине, в деревушке Вороничах рядом с Пушкинским заповедником. Сергеев бежал сюда из Москвы, чтобы хоть немного поработать спокойно. Все время — и в поезде и здесь в деревне — он думал о сюжете своей новой повести. Но сюжет расползался, уплывал, и Сергеев за несколько дней так ничего и не придумал.

Он успокаивал себя тем, что это его состояние, конечно, от московской усталости. В Москве легче всего

было писать по праздникам, когда молчали телефоны, не было заседаний и не работали редакции, издательства и учреждения.

Особенно мучительны были постоянные заседания с ораторами, не умевшими вовремя остановиться, с кислым табачным дымом, со стенографистками, измученными бесконечным кружением фраз. Русский язык на этих заседаниях как бы выцветал на глазах и превращался в набор безжизненных звуков.

С особенной силой возникали эти мысли о языке именно здесь, в пушкинских местах. Здесь Пушкин бродил с непокрытой головой, со спутанными осенним ветром холодными волосами, слушал важный гул сосновых вершин, смотрел, прищурившись, откуда несутся осенние тучи, толкался по ярмаркам, подолгу просиживал на полу около горящей печки, шутил с няней, пел, смеялся. Здесь чудесные слова переполняли его, стесняли душу и, наконец, слагались под огрызком гусиного пера в звенящие строфы.

Сергеев, оставшись в Вороничах с глазу на глаз с колхозниками, с повседневным суровым трудом, со сжатыми полями и бледным застенчивым небом, понял, наконец, каким далеким от подлинной жизни было недавнее его комнатное существование.

«Надо проветрить сердце, — говорил он себе. — Иначе я никогда ничего не сделаю. Иначе я начисто разучусь писать».

Решение пришло в этот сырой и серый день. Приближалась осень. Никаких явных ее признаков еще не было видно, даже ни одного пожелтевшего листа на деревьях. Но в пасмурной и теплой тишине и запахе мокрой коры уже чувствовалось увядание.

Решение пришло, на первый взгляд, сумасбродное. В нем была повинна радуга. За ее многоцветной дугой лежала загадочная земля.

«Что же все-таки там?» — спрашивал себя Сергеев.

Он был уверен, что по ту сторону этих небесных ворот он увидит необыкновенные вещи. И он, не колеблясь, решил взять рюкзак и уйти на несколько дней в те земли, что лежали за радугой.

Вышел Сергеев из Вороничей ближе к сумеркам. Сначала он торопился, чтобы до темноты отойти подальше от деревни. Заночевать он решил в стогах. Хотя заросшая проселочная дорога шла лесом, но кое-где на полянах стояли поднятые над землей на подпорках маленькие стога.

Чем дальше шел Сергеев, тем лес делался глуше. В глубокой песчаной яме светилось маленькое озеро. Цепляясь за ветки лещины, Сергеев спустился к нему и напился воды. Она была такая холодная, что у него заныли зубы. В глубине озера неясным рогом отражался молодой месяц.

Сергеев удивился, что не заметил месяца раньше, поднял голову и увидел его на головокружительной высоте над собой. Месяц казался клочком дыма и поблескивал слабым розовым светом.

Этот тусклый свет был разлит вокруг и окрашивал воздух. Должно быть, за пеленой туч заходило солнце и создавало это угрюмое и странное освещение.

После недавнего дождя лес был полон осторожного шороха капель, стекавших с листвы. В чистых лужах стояла под водой трава, и среди травинок тоже отражался месяц.

Быстро темнело. Сергеев прошел несколько полян, но стогов на них не было. Вдалеке возник дрожащий свет.

Сергеев остановился. Впереди на просеке паслись стреноженные лошади, трещал костер. Около него сидели люди.

Сергеев поколебался, но все-таки подошел. Он не был готов к этой встрече. Он еще не придумал, что отвечать, если его спросят, кто он и куда идет ночью. Сергеев знал, что деревенские жители не любят ничего непонятного, особенно — непонятных людей.

Так и не придумав, что сказать о себе, Сергеев подошел к костру. У костра сидели женщина в ватнике и резиновых сапогах, вихрастый человек в замасленном комбинезоне и двое мальчиков в глубоко надвинутых на уши кепках. Все они давно заметили Сергеева и следили за ним, когда он подходил.

— Здравствуйте! — неуверенно сказал Сергеев.

— Здравствуй, прохожий, — протяжно ответила женщина. — Ты что ж, монтер, что ли? Телеграфные провода проверяешь?

Выход был подсказан, и Сергеев с облегчением сказал, что — да, он монтер.

— Новенький, — заметил один из мальчиков. — Прошлый год другой ходил. Тот был конопатый.

— Что же ты не заночевал в Вороничах? — спросила женщина. — Ночью тут и заплутаться недолго. Садись, грейся.

Сергеев подсел к костру, достал пачку папирос. Вихрастый человек зашевелился. Заволновались и мальчики. Сергеев протянул вихрастому пачку, но мальчикам курить не дал.

— Правильно! — сказала женщина. — Нечего их баловать. Ты лучше мне дай покурить. Я с войны курить понемногу начала, никак теперь не отстану.

— Это верно! — сказал вихрастый. — На войне прямо кричит в тебе каждая жилка. За табак золотые горы отдашь.

— С войны я и закурила, — второй раз сказала женщина. — Со страха.

Мальчики засмеялись.

— Эй, вы! — прикрикнул на них вихрастый. — Иль давно вам уши не драли?

— Да мы так... — оправдываясь, пробормотал мальчик постарше.

— Ну то-то! «Так» да «не так». Глаше сам Михал Иваныч Калинин орден давал, а вы все берете в смешки. Носы сначала утрите.

Мальчики обиженно засопели, но промолчали.

— За что у вас орден? — спросил Сергеев женщину.

— За могилу Александра Сергеевича, — неожиданно ответила женщина и улыбнулась, глядя на растерявшегося Сергеева. От улыбки лицо ее стало совсем молодым и задорным.

— Да это она с могилой Пушкина вас путает понарочну, — предупредил вихрастый.

— А я так иногда мечтаю, что за могилу, — возразила женщина.

— Ну и мечтай, раз тебе нравится, — сердито ответил вихрастый. От него тянуло бензином. По всей видимости, это был тракторист. — А ежели говорить посерьезному, как на собрании, — сказал он уже одному Сергееву, — то орден она получила за то, что больше ее никто льна не перетрепал по всей нашей области. У Глаши лен, как золотой шелк. Перебираешь его пальцами, а он поет.

— Слово знает, — сказал мальчишка постарше.

— Я те покажу слово! — прикрикнул тракторист. — Наслухался у бабок ихних предрассудков и вякаешь.

Женщина молчала и, улыбаясь, смотрела на огонь. Из-под платка выбилась прядь ее волнистых волос.

— А что же было с пушкинской могилой? — тихо спросил Сергеев.

Женщина очнулась и подняла на Сергеева темные глаза.

— Я в ту пору при немцах, — ответила она очень тихо, — в Святых Горах жила. Пряталась. У нас в деревне, в Зимарях, так уж с давних времен заведено, что все от самого малого до старика Александром Сергеевичем очень гордятся. Да и как не гордиться? Все-таки свой. Земляк.

— Земляк! — согласился тракторист.

— Я его много читала. Не все, правда, брала в понимание. Не все! Но как там хотите, — понимайте или не понимайте, а сердце все равно так забьется, так больно забьется, что прижмешь руки к груди, чтобы его унять. Да разве уймешь! Ты вот ходишь тут со своим телеграфным инструментом, а не ведаешь, где ходишь. Я многое у Александра Сергеевича обожаю, а больше всего про наши места, про глушь лесов сосновых. Как услышу или прочту, так просто плачу.

— «Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил», — неожиданно сказал тракторист.

— Не надо, Тиша, — тихо попросила женщина. — Мне этого слушать нельзя.

Она замолчала.

— Так что же было с могилой Пушкина? — снова спросил Сергеев.

— Были цветы, — ответила женщина. — И всякая трава. И ветки. Да не я одна их клала. Еще Клава со мной ходила. Нарвем в лесу цветов, проберемся тишком мимо немцев на его могилу и положим. Старались, чтобы никогда не увядали цветы. Я тогда так думала — вот все увядает на свете, даже любовь...

Она снова замолчала. Тракторист досадливо крякнул, а мальчики лежали совсем тихо, — не дышали, слушали.

— Даже любовь, — повторила Глаша. — А уж чему-чему, как не любви, жить на сердце весь человеческий век. Вот, думаю, все увядает. А цветы на его могиле никак не должны так увясть, пожухнуть, как сохнет, пропадает любовь...

Голос у Глаши дрогнул. Она отвернулась, долго смотрела в темноту, и Сергеев заметил, как на ее щеке блеснула слеза.

Мальчики вскоре уснули. Уснул и тракторист, укрывшись с головой ватником. Одна Глаша еще долго сидела, смотрела на огонь, подкладывала в костер ветки. Потом сказала Сергееву:

— Ты что ж не спишь? Небось умаялся.

Сергеев лег, подложил под голову рюкзак.

Было холодно. Сон от этого все рвался, как тонкая пряжа. Глаша сняла с головы теплый платок и укрыла Сергеева.

Где-то, казалось, за краем земли, в немыслимой ночной дали пели, надрываясь, петухи, возвещали перелом ночи.

Сергеев проснулся на рассвете. Тракторист уже ушел. За лесом тарахтел его трактор. Мальчишки проснулись, потолкали друг друга в бока, похихикали и пошли сгонять лошадей. Глаша все так же сидела у догоравшего костра.

— Я ведь тоже запоздала, — сказала она Сергееву. — Шла со станции к себе в Зимари. И запоздала. А вам теперь куда?

Она почему-то сказала Сергееву «вы», и он понял, что чем-то себя выдал и Глаша догадывается, что он совсем не монтер.

— Да мне все равно, — ответил Сергеев и смутился.

— Я и вижу. Тогда пойдемте к нам в Зимари. Хоть чаю попьете, согреетесь. Видите, какая роса.

Сергеев согласился.

Они вышли из леса в широкую ложбину. Багряное солнце подымалось над туманом в утренней тишине. Только изредка несмело попискивали в кустах какие-то птицы.

На пригорке Глаша и Сергеев остановились. Внизу, у берега озера, пряталась под сенью черных ив маленькая деревушка. Это и были Зимари.

Небо поголубело. Утренний ветер прошел порывом и затих. Как будто он прошумел только для того, чтобы стряхнуть росу с деревьев и освежить воспаленное от костра лицо.

Глаша провела Сергеева в свою избу. Она стояла над самым озером. Отблески воды качались на потолке.

В избе было пусто и чисто. К стене была приколота кнопками карточка матроса с прищуренными веселыми глазами.

«Вот по ком она плакала ночью, — подумал Сергеев. — Кто он? Спросить или нет?»

Он поколебался, но все-таки спросил, чья это карточка. Глаша вышла из-за перегородки умытая, причесанная на две косы, посмотрела на Сергеева строгими темными глазами и спросила:

— Вы-то сами книги пишете? Или нет?

— Пишу, — сознался Сергеев. Он был захвачен врасплох.

— Я догадалась, — сказала Глаша. — В Михайловское, говорят, писатели приезжают.

Она помолчала, глядя за окно, сняла со стены карточку моряка и спрятала ее в ящик дощатого стола.

— Вот теперь, — сказала она, — никто и спрашивать про него не станет.

Она застенчиво улыбнулась, и Сергеев подумал, что никогда еще в жизни он не видел такой открытой улыбки, сияющей тихой и еще не совсем ему понятной красотой. Что было в ней, в этой улыбке? И что могло

быть краше русской женщины, певучих ее слов, доверчивых глаз, трепещущей и милой ее души?..

Глаша собрала чай, но Сергеев отказался от него и ушел. Он пошел не туда, куда звала его радуга, а обратно, в Вороничи.

Он шел быстро, спешил.

Сразу лавиной обрушилось на него всё — пока еще беспорядочные, но удивительные и радостные мысли, дым облаков, блеск мокрых листьев, лесная тишина, легкое сожаление, что он так внезапно ушел, и глубокая радость от сознания, что через час-два, как только дойдет до дому, он тотчас начнет писать. И никакая сила уже не сможет остановить тот душевный подъем, что сейчас невозвратимо несет его, как бурный поток несет сломанные ветки, листья и пену.

«Ничего как будто не случилось по ту сторону радуги», — думал Сергеев. Но вместе с тем случилось так много, что трудно было все это обнять сознанием. Но главное, что случилось, — это прикосновение к простой душе человеческой.

А Глаша сидела у стола, вытянув перед собой руки, задумавшись. Вот пришел чужой человек, незнакомый, и ушел, но осталось после него ожидание. А она знала, что ожидать — это тоже предчувствие счастья.

1954

СТАРИК В ПОТЕРТОЙ ШИНЕЛИ

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснет такая доверчивость, что от нее защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадется деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивительными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой, — где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмем, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным

из всех уездных городов в России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил все лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шел седьмой год революции, но внешних перемен пока что было еще не так много.

Все те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли ее Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в рассохшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта. Говорили, что Лермонтов останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но все это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но как нарочно в Богове даже не было ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живет и живет, — говорили крестьяне. — Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живет?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно.. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офи-

церу, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землей, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришел на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золоченых форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные черные пуговицы, как на бабьих салопах.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжелая. Когда старик выбивал ее о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба все время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за нее, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотиц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите! — сказал он. — По трем мишеням сразу из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шел медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли начали тяжело щелкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потертой шинели, что брел рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своем прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое ее слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком волосы, и руки у нее дрожали. Смотрела она растерянно,

а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени наседку с цыплятами, краснела до слез и все порывалась поставить погнутый позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда вернешься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребенка, играющего гнилой щепкой. Любит его до слез, до стона — беспомощного, обреченного на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребенке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошел к нему, присел на корточки и заговорил с ним. Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего? — спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бессловесное и темное горе этого маленького, захлебывающегося от слез существа.

— Ты чего? — повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их всех своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными ведрами да материться. Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдет кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Все вдруг открылось в новом обличии — и люди, и пажити, и вся эта темная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало сыро и холодно. И только вороха палых листьев освещали землю своим желтым холодноватым огнем.

Перед отъездом я в последний раз пошел со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землей по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую, — ответил он. — Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать, да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись-рассыпались кто куда. Да, признаться, в старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два — и обчелся.

— Почему? — спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Черная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии

в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно, — ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слезы.

— Теперь-то я жалею об этом, — сказал он, отдышавшись. — И не столько тому, что жены не было — бог с ней, с женой, насмотрелся я на этих офицерских жен — сколько тому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и возишься тут с чужими детьми, с этакими пузырями.

Я, наконец, решился спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географией. Расскажешь — все равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди! — сказал укоризненно старик. — Я люблю обстоятельный разговор. А у вас все тыр-пыр — и нет ничего! Нету никакого душевного равновесия.

— Хорошо, Петр Степанович, — сказал я виновато. — Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина

подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я, как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи вдовы в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянусь, выкраиваю кое-как на пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть от болезни, — порок сердца был у нее. И дочка с ней жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму —действительно не замечала или делала вид. Да я, правду сказать, всегда был покладистый, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее мое пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без особой надобности из норы не высовывай. Натерла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за все приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, покуда, наконец, не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, все думал, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе, — стать форменным нищим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И все думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привыкают, а я не мог. Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актерство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не подымаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку и бормочу что-то такое, что мерзко даже вспомнить сейчас. «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо

скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Все туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно, — пожаловался он и поднял ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра. На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налет.

— Да, — сказал старик, закуривая трубку, — однажды летом вернулся я домой раньше, чем обыкновенно, с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И все! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил, — ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что все-таки надо бы попрощаться с родной землей, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастали травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие лётных учеников. Народ насмешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч!

Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

Сижу я так-то на лавочке и вижу — идет по нашей стороне господин невысокого роста, в черном костюме, в кепке. Идет неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чем-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идет дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста, — говорю. — Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же? — спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите,— отвечаю я несколько зло, — что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живется.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер, — отвечаю. — Собака! Клейменый человек — вот и все!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Постойте, — говорит. — Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех этих рукосуев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да кстати и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я чувствую, как заулыбался ему

в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему все обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими моими словами он почему-то особенно заинтересовался и все говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?», а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же, — говорю, —не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это все хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушел. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да, — говорит, — я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушел. У меня после этой встречи отлегло от сердца. «Вот, думаю, есть еще благородные и отзывчивые люди на свете. Не погнушался этот господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне лётные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошенные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня на тех лётных учеников такое зло было, так накипело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Знаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком насмешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара не меньше фунта. «С чего бы это? — думаю. — Значит, прогнал я их, и заговорила в них совесть».

Молодежь я очень люблю. Если бы не было молодежи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти лётные ученики — не в счет.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засунул ее в старую книгу Данилевского «Сожженная Москва» — единственное мое достояние — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и окачурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал ее, а она вся помятая, будто жеваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство, — я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Все-таки пошел, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Петр Степанович, говорит, ребенок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комендантом крепости. Вам бы гуманные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времен появилась у меня эта привычка — людям в глаза не смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень назойливые, упорные.

Но в общем пришел. Ведомство большое, но тихое. Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швейцар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я ее скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь, — говорю швейцару, — старика. Не срами. Я вот по этой записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу». Ушел и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин

в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берет меня под руку и ведет за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привел меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, если ли у меня какие-нибудь документы. Я все, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идет. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да никак нельзя без документов. Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и еще на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и дает мне пачку денег. «Это, говорит, в счет первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Петр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам». — «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеется. «Из вашего формуляра, говорит. Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю, — и слезы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошел до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу — он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом подпись печатная: В. И. Ленин (Ульянов). И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил, заторопился домой. Внутри у меня все дрожало, и поверите — всю свою послед-

нюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу перед ним и об одном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришел домой, можно сказать прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатушку и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесемкой бумажник. Он развязал тесемку и вынул из бумажника сильно потертый портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу, — сказал он глухим прерывающимся голосом. — Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слезы потекли по его желтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богова доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге за Красивой Мечой простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

— Вот видите, какая она, наша Россия, — сказал, помолчав, старик. — Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдемте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жесткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Всхрапывали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих

сапогах. Разговорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он все приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припоминаю. Не иначе, как в Богове.

Оказалось, что это был кузнец из Богова. Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлобный был человек, — сказал кузнец. — Пенсию получал от нашего правительства. За какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошел по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупеет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, говорил, духовного облика народ не терял. И Насте — помните ее — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке ее, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свет! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошел. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где по моим расчетам находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Богове, но так и не догадался. А спросить было некого.

Все рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать это я не берусь.

1956

УСНУВШИЙ МАЛЬЧИК

С вокзала до пристани пришлось идти через весь городок. Недавно прошел лед, и река широко отблескивала желтой водой. Была самая ранняя весна — сухая и серая. Только на сирени в палисадниках уже зеленели почки.

Можно было, конечно, взять у вокзала дребезжащее, повидавшее виды такси, но времени до отхода речного катера оставалось еще много, и гораздо приятнее было медленно пройти через весь город, — мимо сводчатых торговых рядов, по кирпичному мосту над оврагом, где шумел, пенясь, ручей и бродили, приглядываясь к мусорной земле, надменные грачи, мимо маленькой электростанции, пыхтевшей мазутным дымом из высокой железной трубы, мимо домиков с такими чистыми окнами, что с улицы были хорошо видны освещенные утренним солнцем фикусы, олеографии запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, горки с посудой и спящие на креслах коты.

В голых окраинных садах сидели на покосившихся скворечнях и сипло посвистывали, отогреваясь, скворцы.

Возле пристани стоял катер, отдохнувший и умытый после зимней спячки, — свежевыкрашенный, с на-

чисто протертыми стеклами и синей полосой на белой трубе.

Пассажиры подходили редко и медленно. Поэтому молодой капитан катера в сплюснутой блином форменной фуражке, женщина-матрос в ватнике и растрепанный моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового пассажира, как доброго родственника. Даже появление угрюмой женщины с мешком на плече, где ходуном ходили и отвратительно визжали поросята, не вызвало у них обычного недовольства.

Потом пришла девица с копной светлых, завитых барашком волос и непоправимо обиженным лицом. На все попытки капитана и моториста заговорить с ней, она отвечала сухим голосом:

— Я в ваших разговорчиках, гражданин, не нуждаюсь.

Последним пришел знакомый садовник из нашего городка, что был расположен в тридцати километрах вверх по реке. Садовник был человек суетливый и разговорчивый. Жители городка добродушно, но несколько насмешливо, звали его Левкоем Нарцисовичем, хотя имя у садовника было Леонтий, а отчество Назарович.

Леонтий Назарович всю жизнь был обуреваем великой мечтой превратить родной городок в сплошной сад и цветник или, как он выражался, в «вертоград».

Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания. На деле все это было несколько не так, но Леонтий Назарович этим не смущался, и благородный его пыл от этого не ослабевал.

Леонтий Назарович был человек не только разговорчивый, но и весьма быстрый и щуплый. Он носил и лето и зиму старую жокейскую кепку и, кроме того, сломанные очки. Одной дужки очков всегда не хватало. Леонтий Назарович заменял ее тесемкой. Купить новую оправу ему было некогда. На замечания знакомых по поводу сломанных очков Леонтий Назарович всегда торопливо отвечал:

— И не просите! Некогда! Я сейчас новый сквер разбиваю, едва вымолил разрешение у горсовета. Какие там к черту очки!

В этих словах была, конечно, какая-то доля рисовки, но ее Леонтию Назаровичу охотно прощали.

Леонтий Назарович всегда с кем-нибудь воевал из-за новых посадок, доказывал, спорил, уничтожал противников ссылками на таких людей, о каких в нашем городке никто не имел понятия, — на знаменитого создателя великолепных парков Гонзаго, на видных ботаников, но чаще всего на профессора Климентия Аркадьевича Тимирязева («Видали небось фильм о нем — «Депутат Балтики», а возражаете против прямой очевидности, что надо каждый клочок земли непременно озеленить»).

Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой — рыхлой и сонной женщиной, весь день позевывавшей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником если не в Кремле, то по крайности в Летнем саду в Ленинграде.

С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал он эту историю со времени наполеоновских войн, так как считал, что все, бывшее до этих войн, — недостоверно.

Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз захватывало сердце.

Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий Назарович отводил художникам. Живопись он любил, охотно читал книги по искусству и жадно собирал репродукции.

Сейчас Леонтий Назарович вез из областного города саженцы жасмина и семена однолетних цветов.

У Леонтия Назаровича была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности на человеческую психику. На катере он как раз завел раз-

говор на эту тему к неудовольствию девицы в кудряшках. Она все время передергивала плечиками и насмешливо кривила губы.

Катер подвалил к бывшей усадьбе художника Поленова. Она стояла, как оазис, среди сухих берегов, разрушенных взрывами. По всем берегам реки рвали бутовый камень. На пыльных откосах от недавних сосновых лесов не осталось не то что деревца, но даже травинки.

Взрывы сотрясали всю округу, расшатывали постройки, заваливали судоходную реку щебенкой, съедали растительность, и казалось, что по берегам реки быстро расползается сухая экзема.

— Удручающая картина! — сказал мне Леонтий Назарович. — А все — от скопидомства. Камня этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега потому, что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле.

Мы отвели душу, изругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом «после нас — хоть потоп». Потом поговорили о Поленове (Леонтий Назарович был с ним знаком) и вспомнили великолепного художника Борисова-Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на косогоре над самой Окой.

Борисов-Мусатов любил этот косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый желтый листок березы прогрет последним солнечным теплом.

В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота земли.

И вот добрый горбун — художник Борисов-Мусатов остановил эту прелестную осень, чем-то похожую в моем представлении на девушку со светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье.

На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева — на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит

уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством.

Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы и, поглядывая на меня желтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины...

Я рассказал об этом Леонтию Назаровичу, но он как будто пропустил мимо ушей мои слова и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на Запад.

— Был ли у вас, — спросил меня Леонтий Назарович, — какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности? Очень я люблю такие истории.

Я рассказал ему о голландском рыбачьем поселке Шевенингене. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани на рыболовных ботах были развернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали бочонки из-под рыбы, и женщины и дети, одетые во все черное, стучали по булыжной набережной деревянным туфлями — сабо.

Быстро темнело. На дамбе зажегся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе невдалеке от поселка вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина, окруженная толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами.

Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты будто из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и черного бархата.

Дети смотрели на цветы, как зачарованные. Высокий шофер стоял, прислонившись к капоту машины,

и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уайльда. Лакей уронил вазон. Шофер поднял золотой гиацинт с комом земли, отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на ее черном платье.

Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к поселку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети.

Луч маяка пронесся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на ее волосы, и мне вся эта сцена представилась главой из еще не написанной сказки о бледно-золотом цветке, осветившем своим таинственным огнем рыбачью лачугу.

Лакей посмотрел в упор на шофера. Шофер усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись.

А в ресторане за матовой стеклянной стеной пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной.

— Да, — сказал Леонтий Назарович, выслушав этот рассказ, — у нас в жизни человеческой многое еще не обдумано.

— Что, например? — спросил я.

— Да я все об этих цветах, — ответил задумчиво Леонтий Назарович. — Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша — жестянка, надо давно позабыть. Цветы и все прочее, отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее.

Катер подошел к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Леонтием Назаровичем сошли по узкой доске.

— Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. Она казалась не деревом, а мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжистым собором, облицованным серой корой.

— Прошлой осенью.

— Что же это вы! — сказал с упреком Леонтий Назарович. — Знаменитых своих земляков забываете.

А за компанию на катере — спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке.

Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани.

Еще издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри все было прибрано, и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины.

Через два дня я встретил Леонтия Назаровича на береговом бульваре, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огородов тянуло навозом, дымком, и непрерывно горланили петухи — радовались теплой весне.

И я рассказал Леонтию Назаровичу еще одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца.

— Я так понимаю, — сказал мне Леонтий Назарович, — что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове. В поступке этого бедняка-итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова.

— Большую человечность, — повторил он и вздохнул. — На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь.

Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова.

Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отражением в реке одного из облаков, проплывавших над нами в весеннем небе.

1957

СКАЗКИ



ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами, — ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но

никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист, — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе

хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих. Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между зем-

лей и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замерз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и на-

рочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, — куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

— Ну, — сказал, наконец, Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты, шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьем мы, ребята, и такой лед!

— А ежели замерзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лед и скалывает».

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов.

Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах, — ребята, кошки, даже мыши, — все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил

хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет.

1945

ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА

(Солдатская сказка)

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил, наконец, старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться.

Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец,— хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Степа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Степа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Петр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли, освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться,— уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушел, — ответил Петр с огорчением.— Вот беда!

— Нашел об чем горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Петр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое до́рого, а дорога́ память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — все равно, что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы еще больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешел мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона,

Днепра и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что все равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Петр снова ушел на фронт — рана у него была легкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.

Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из нее сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Степа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Петр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Степа.

Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Петр, когда Степа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Степа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Петр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну, разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек. Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

1945

СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвется к станции из дальнего черного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в ее синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет

со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапер. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб

старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдешь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дуреха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Все норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей еще в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь.

Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что мимо нее прошла весна.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками, — зазвенела, запела у нее на сердце.

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенек на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

1946

ДРЕМУЧИЙ МЕДВЕДЬ

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

— Все тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой

реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым черным глазом, —

колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву — не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит, — думал Петя,— но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега, или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскаки-

вали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. — Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зеленые, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и, наконец, решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они еще были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву — посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

«Фу, думает, дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотряг — рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

1948

РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове— должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны.

Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернется нескоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Все! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились

у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени «Пашка».

Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу «Чичкин»,— воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза: прикинулся мертвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула—выбранилась на все воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невеселой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу — нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный

снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, вороват схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может и найдется стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьев, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи, наконец, собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок-сестер, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы, — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и по-

плутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослепленный сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — ее мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила мама, — а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

1948

АРТЕЛЬНЫЕ МУЖИЧКИ

Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала.

Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи.

Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась — под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек.

Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого — черная, как воронье перо, у третьего — вроде как пакля, а у четвертого седая.

— Здравствуйте!— тихо сказала Варя.— Вы кто ж такие будете?

Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки.

— Мы дровоколы из Лесного прикола, — ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. — Не бранись, хозяюшка, что на твоем дворе пилим. Подряди-

лись мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся.

— Ну что ж, — сказала Варя ласково, — старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает.

— Вот правильно! — ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесемку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. — Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берем мы недорого.

— А сколько? — спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю.

— Это смотря по работе, — охотно ответил рыжий мужичок. — Вот, скажем, требуется тебе забить в бревнах ходы, что прогрызли жуки дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, — это одна цена. Это работа затруднительная.

— А чем затруднительная?

— Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерешься. Весь армяк изорвешь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За нее надо брать по два ореха на каждого.

— Два не два, а полтора ореха — верная цена! — примирительно заметил седой мужичок. — Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берем по соглашению — копеек пять, а то и все шесть.

— Что там ни говори, — рассердился рыжий мужичок, — а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьет, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится — не отдерешь!

— А зачем их собирают, муравьиные яйца? — спросила Варя.

— Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу.

— У меня, мужички, — сказала Варя, — работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть ее в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из той паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос.

— Какой волос? — удивились мужички.

— Вы покурите, а я вам объясню.

Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать.

И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождем сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьев: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!»

— Это верно! — заметил мужичок с бородой вроде как пакля. — Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдет по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит, трясется.

— Это как понимать? — спросил рыжий мужичок. — Чего ты плетешь?

— Мышь-то по земле бегает? Ай нет?

— Ну, бегает.

— А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и ее караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет?

— Ну, караулит.

— Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, ее не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, — ее, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура — и та ее сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для

безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперед. Никакой глаз ее не приметит.

— То-то! — сказал седой мужичок. — У всякого зверя свое соображение. Так, говоришь, внуча, крепко дрались те воробьи?

— Прямо ужас как дрались! — вздохнула Варя. — Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я все гляжу. Рвали они его, рвали, да и уронили. Упал он на пенек и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху — и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озерами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, черный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живет в той стране, говорит, девушка по имени Маша с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат ее три волка с пугачами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, ее волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся.

Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза.

— Ты чего смеешься? — рассердилась Варя. — Ай не веришь?

Жужелица перевела дух, перестала смеяться.

— Уж истинно говорят, что старый — дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство.

— Дед Прохор зря говорить не станет, — ответила Варя. — Ты не вправе на деда ругаться.

— А ты вправе, — зашипела жужелица, — пильщикам моим памороки забивать своими побасками! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу поденно по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа!

— Как три зерна?! — закричал рыжий мужичок.— Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные!

— Не согласные! — закричали все мужички.

— Подумаешь, какие самостоятельные! — пропищала жужелица. — От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумитс будто полномерные мужики.

— Ох, старуха! — покачал головой седой мужичок. — Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьешь, а пот с рабочих людей выжимаешь.

Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул ее на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице.

— Уйди, — сказал он, — покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга!

— Это ты-то?

— Я-то!

— Меня? Жужелицу?

— А то кого же!

— Ты, брат, смотри!

— Ты сама смотри! Уйдешь? Ай нет?

— Ну, ну, не замахивайся!

Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню — там у нее была нора. На бегу она обернулась, крикнула:

— Я этого вам не забуду! Раскаетесь!

— Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка!

Седой мужичок только покачал головой.

— Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чем твое дело.

— А мне что рассказывать! — заспешила Варя. — Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране.

— Известно! — согласился мужичок с черной бородой. — Как не голодовать! Что от такой осени проку? Все помокло, погнило. А новое не родится.

— Палым листом тоже не сладко питаться, — добавил рыжий мужичок.

— Вот беда! — вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля. — Пропадают, значит, людишки!

— Ох, и пропадают! — вздохнула Варя. — Ох, и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А все почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришел к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый. И глаз у него от винища красный. Пришел со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут ее Машей. Волосы у нее золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть ее в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживет у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».

— Та-ак! — пробормотал седой старичок. — Значит, в темнице она, осень.

— Освободить ее надо, — сказала Варя.

— Это мы и без тебя понимаем! — закричал рыжий мужичок.— Ослобонить! Какая шустрая нашлась! Вот ты сама пойди и ослобони. Только как?

— Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.

Седой мужичок встал, снял шапку, спросил:

— Ну что ж, артель? Соглашаемся?

— Соглашаемся! — закричали все мужички.

— На своих харчах?

— На своих.

— Тогда передохнем малость, заправимся и пойдем.

Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник — горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несется из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться?

Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни.

Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли ее в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос.

— Испытать бы надо поясок, — сказали мужички Варе. — Чтобы конфуза не получилось.

— Ой, мужички! — испугалась Варя. — Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберет и все сделает.

— А нам от него много не требуется, — ответили мужички. — В осенний край самый близкий путь через Великое болото. Да сама знаешь, там не пройдешь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит — значит сила в нем есть. А не построит — значит и силы в нем нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим.

— Ну, так и быть! — согласилась Варя. — Пойдемте!

Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, неровен час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники.

На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила:

— Поясок, милый дружок, построй через болото мосток!

Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зеленые лягушата. Было их великое множество, — может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат:

— Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим!

— Ну что ж! — сказали Варе мужички. — Мы, пожалуй, пойдем. А тебе придется тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!

Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушенке и не ухнуть с головой в трясину.

Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их все нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи?

Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору все, что случилось.

— Эх ты глупенькая! — сказал дед Прохор. — Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придется.

— Что же делать, дедушка? — испуганно спросила Варя.

— Народ созывать, — ответил дед. — Всем миром надо собраться и идти выручать твоих мужичков и Машу. Беги скликай людей на выгон. С вилами, с косами, с дрекольем, а у кого есть, так и с дробовиками.

— Сейчас, дедушка! — крикнула Варя и выскочила из избы.

А с мужичками случилось вот что: когда взошло солнце и стали таять-редеть туманы, дошли, наконец, мужички до осеннего края, остановились на песчаном бугре, долго глядели вокруг и только вздыхали, — не приходилось им на своем веку видеть такую страну.

День, как на грех, выдался погожий, и до самого края земли стояли желтые леса и шелестели посохшей листвой. Все леса были запутаны паутиной, и на той паутине висела роса.

Мужички попили росы. Каждому хватало по две капли, только рыжий выпил все три. Потом они вытерли усы, крякнули: ну и вкусна же вода! Да и то сказать, — роса легла ночью, а ночь была по-осеннему холодная, ясная, переливалась звездами, дышала повялыми травами, и потому в каждой росинке был запрятан ночной холодок, запах травы и тихий блеск, будто отражение небесной звезды.

По всему было видно, что осень в этом краю затяжная, тяжелая. На полянах ветер намел столько гнилой листвы, что мужички проваливались в нее с головой — идти было почти невозможно. Поля стояли бурые, пустые, а в деревнях редко-редко струился к небу дымок из печей.

— Видать, что и варить здешним людям уже нечего, — тихо переговаривались мужички. — Все начисто проели. Сколько деревень мы прошли по задам, а ни разу не слыхали, чтобы корова замычала или даже петух прокричал. Будто вымерло все. Дай ему волю, этому подлому властелину, он наверняка всю землю опустошит, род людской пустит по миру.

Мужички шли, конечно, с опаской. Чуть когонибудь заметят — тотчас прячутся. Больше хоронились они в следы от лошадиных копыт.

Чем дальше шли мужички, тем темнее делалась осень. В лесах было холодно, тихо под тучами, и красный лист, что еще не всюду осыпался, висел понуро на мшистых ветвях.

Шли мужички через лес, как откуда ни возьмись ударил вдруг страшный ветер, сорвал всю листву,

закружил ее и понес проливнем. И стал задувать все сильнее, все крепче, покуда не поднял мужичков на воздух и не понес их вместе с листьями обратно к Великому болоту. Мужички испугались, летят, хватаются за ветки. Да разве удержишься при таком напоре!

Рыжий мужичок на лету перевернулся несколько раз, закричал:

— Это, братцы, неспроста! Ветер наслал на нас властелин, чтобы отшибить нас обратно, нам воспрепятствовать.

— Откуда же он дознался про нас? — прокричал мужичок с черной бородой.

— Жужелица наябедничала, заслала к нему своих приживалок. Они бегают шибче нас.

— Ой, дружки! — закричал мужичок с бородой вроде как пакля. — Несет нас в болото. Утопимся! Дед, у тебя поясок с золотым волоском. Попроси его. Может, спасет нас.

Седой мужичок торопливо вытащил из кармана поясок, опоясался им, крикнул:

— Поясок, будь дружок, прекрати ветерок!

— Стой! Не так просишь! — сердито закричал рыжий. — Это с какой же стати нам опять с Великого болота переться, ноги уродовать? Ты проси, чтобы ветер повернул обратно и нас до самой Маши донес.

Седой мужичок сообразил, закричал наново:

— Поясок, будь дружок, поверни ветерок! Пусть донесет нас до самых Машиных ног!

И тут ветер завыл, загудел, начал на полном бегу заворачивать, вздул к небу столько листьев, что понеслись они над землей, как красная туча, застили небо.

Теперь летят уже мужички куда надо, но только на душе у них все равно беспокойно. Надеялись они, что поясок поможет им волков и барсуков победить, да вышло не так. Два чуда — с лягушатами и ветром — поясок уже сделал, а третьего не сделает, — силу свою он уже потерял. Теперь только Маша может пояску силу эту вернуть. Придется, значит, с Машиной стражей биться им, мужичкам, не на живот, а на смерть.

Летят наши мужички, вниз поглядывают, а там проносятся леса, реки, озера, деревни и видно, как

народ выбегает из домов и дивится на лиственные красные тучи.

Вскоре заблестела за лесом тесовая крыша, ветер стал затихать и опустил мужичков на поляну около черного частокола.

Сидят мужички, одурели от полета, а лист, как только ветер затих, так все и сыплется на них, все сыплется и вскоре всех их засыпал, прикрыл. Тепло под этим листом и безопасно.

Мужички отдышались и стали соображать, как им ловчее через частокол перелезть и стражу обмануть. Потому что, как ни крути, а драться им теперь было не с руки. Драку надо было оттянуть на самый худой конец.

Сидят они, рассуждают всю ночь, а к утру слышат, — кто-то ходит по сухому листу, гребет его, будто ищет чего-то. Переглянулись мужички, а рыжий шепчет:

— Слыхали? Это нас ищут.

— Чего же делать? — спрашивают мужички.

— Я изо всех вас, — тихо отвечает рыжий, — самый отчаянный. Мне все нипочем!

— Это верно! — согласились мужички. — Отчаянности в тебе много.

— И опять же, верткий я человек, горячий. И удар у меня очень даже сильный. Я как возьму топор, так за один мах ячменный стебель перерубаю. А вы пять минут бьете, покуда тот стебель осилите.

— Ну что ж, — вздохнули мужички. — И это, брат, верно.

— А потому, — важно сказал рыжий мужичок, — тот поясок вы отдайте мне. В случае чего я один отобьюсь от всех волков да барсуков.

— Эх, Митрий! — вздохнул седой мужичок.— Стар я стал, ослаб, а то бы нипочем тебе того пояска не отдал. Да еще бы и оттаскал тебя за бороду за бахвальство твое. Бери поясок.

Рыжий взял поясок, свернул, засунул за пазуху. В тот же миг над головой у мужичков листья зашумели и просунулась к мужичкам петушиная голова. Глаз у петуха был злой, круглый, а голос сиплый, —

видно, что нрав у петуха сварливый, грубый. Лучше с таким петухом не связываться.

— Что за жуки? — спросил петух. — Я таких сроду не видывал. И не склевывал. Это очень даже мне интересно!

Мужички схватились было бежать, но петух быстро разгреб лапами листья, и седой мужичок вместе с черным и с тем, что отпустил себе бороду вроде как пакля, подвернулись под петушиные лапы, полетели в пыль, а рыжего мужичка петух так долбанул по спине, что тот только охнул.

Петух схватил его за армячок, зажал в клюве, помчался размашистым бегом к частоколу, протиснулся в дыру между бревен, пробежал через двор — и прямо в горницу к Маше, чтобы там на свободе непонятного жука с рыжей бородой заклевать.

«А то начнешь клевать во дворе, — соображал петух, — тотчас привяжутся стражники — барсуки: что это, мол, за жук такой, да где ты его взял, да отдай его нам, да чего ты тут со своим жуком мусоришь да так его клювом долбишь, что начальника нашего караула, волка по имени Клык, разбудишь и нам за то нагорит».

Через двор мимо стражи петух пробежал, конечно, рысью, а в горницу к Маше вошел важно: подымет одну лапу, постоит, шагнет, подымет другую лапу, опять постоит... Петух был с Машей обходительный,— она каждый день кормила его крошками.

Кинул петух рыжего мужичка на пол, только собрался клюнуть его покрепче, как рыжий мужичок вскочил, кинулся к Маше:

— Спаси меня, красавица!

— Да ты кто? — испугалась Маша.

— Да я вроде как твой спаситель, — поспешно ответил рыжий мужичок, схватился за подол Машиного платья, а сам на петуха озирается.

А петух глядит на него одним глазом и сбоку подходит.

Маша топнула на петуха ногой, петух взлетел в оконце, забил крыльями, заорал, сорвался во двор и тотчас начал болтать с барсуками, рассказывать им,

как он, петух, опростоволосился — чуть не склевал человека.

Барсуки встревожились, кинулись будить волка по имени Клык, да было уже поздно.

Рыжий вытащил из-за пазухи поясок, сунул его поскорей в руку Маше. Она тотчас опоясалась тем пояском, и волки враз зарычали и тут же издохли, а барсуки бросились было спасаться, да сбились в кучу около калитки, потому что каждому, конечно, хотелось пролезть в нее первым. Затолкались барсуки, заругались и начали драться. И перекололи друг друга вострыми казацкими пиками.

Маша подняла рыжего мужичка с пола, посадила себе на ладонь, и он ей все рассказал — и про Варю, и про своих товарищей по артели, и про то, как подрядились они с Варей освободить Машу-осень от властелина и воротить людям зиму, весну и лето, чтобы снова начала родить земля богатые урожаи.

Маша приказала рыжему мужичку позвать всех остальных, чтобы попили чайку, отдохнули. Рыжий вышел на крылечко, крикнул:

— Эй, вы, маломощные! Ступайте сюда перед светлые-пресветлые очи Маши-красавицы! Она вас чайком желает угостить и даст каждому по сто маковых зерен с мелким сахаром.

Так оно и было. Мужички пришли в горницу, Маша усадила их на стол, угостила чем обещала, а мужички проглядели на нее все глаза: уж больно хороша была Маша — косы отливают таким золотом, что от них светится вся горница, глаза синие, будто небеса над ржаными полями, голос говорливый, как ручей, и вся она тоненькая, как травинка.

— А не принес бы тебя, рыженького, петух в клюве, — спросила Маша, — чего бы вы делали?

Мужички разом встали, поклонились в пояс Маше, ответили:

— Бились бы за тебя со стражей, милая, до последнего издыхания. Потому что, пока ты в заточении, народу не жизнь, а одно горе горькое и лютая смерть.

— Ну что ж, — сказала Маша, — теперь я свободная, и надо мне поскорей уходить, дать место зиме.

— Это верно, — согласились мужички. — Спасибо тебе за чай, за ласку. А мы уж пойдем.

— Куда так скоро?

— Нам нельзя. Работа не ждет. Подрядились мы еще летом с нашим крестьянским обществом все зерно, что полевые мыши уворовали да попрятали у себя в норах, у тех мышей отобрать и вернуть по назначению. А это работа тяжелая: в каждой норе скандал, а то, бывает, и драка.

— Ну, если так, то идите. Спасибо вам и Варе великое. От себя и от людей.

— Не стоит вашей благодарности, — ответили мужички. — Будьте благополучны, красота вашей чести!

Мужички откланялись и ушли. Не успели они отойти и триста шагов, как небо затянулось тучами и из тех темных туч посыпался снег. Что ни час, то снег делался все гуще, обильнее, тяжелее. Сквозь него уже плохо стало видно дорогу. Все побелело вокруг, только лес еще горел кое-где над снегами последними золотыми листочками.

Мужичкам стало холодно. Зашагали они быстрее, а на самой границе осеннего края увидели вдалеке большую толпу людей. Люди шли с косами, с вилами, с топорами, со всяким дрекольем, а иные держали наготове старые дробовики из вороненой стали.

Впереди толпы мужички увидели Варю. Узнали они ее по румянцу на щеках и по красному платочку, накинутому на голову.

Остановились мужички, сняли шапки перед обществом, поклонились ему в пояс.

— Благодарение за подмогу. Только мы и сами справились, ослобонили Машу-осень из заточения.

Все люди тоже сняли шапки, ответно поблагодарили и поздравили мужичков с еловую шишку с полным успехом и стали зазывать их по избам, — погреться и выкушать чем бог послал.

В каждой избе мужичков привечали и угощали то калеными орешками, то подсолнушками, то маком, то изюмом. А в одной избе мужички даже выпили по наперстку вина и закусили его моченой брусникой.

Варя дала им напоследок махорки, и мужички, сытые и пьяные, пошли в лес, где они обитали в старом теплом дупле, — отдохнуть перед новой работой.

Они шли, оглядывались, кланялись, а Варя махала им вслед варежкой и кричала:

— Спасибо вам, милые!

А с неба уже валил такой снег, что было трудно дышать. Отдышаться от такого снега можно было только под старыми елями. Но мужички и не думали прятаться от снега. Они шли, обнявшись, покачиваясь, и пели на радостях во весь голос любимую свою песню:

Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дорожке столбовой.
И колокольчик — дар Валдая —
Гудит уныло под дугой...

Варя смотрела им вслед и слушала звонкую песню, что затихала за пеленой густого ласкового снега.

1949

КВАКША

Жара стояла над землей уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооруженным глазом».

— Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня.

Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживешь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».

— Пойдем наверх, я тебе покажу жару, — сказал Глеб. — Оттуда лучше видно.

Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клена так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они все лето и простояли настежь.

На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.

— Видишь желтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Все можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь.

— А холод — когда снег? — спросила Таня.

— Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.

— А как?

— Небо вечером бывает зеленое, как мокрая трава. Холодное небо.

Пока же стояла жара, и больше всех от нее страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.

Двор так раскалялся от солнца, что все живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днем из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.

Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.

Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.

По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, — от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.

Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается темным и таинственным.

Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.

А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придет полночь — самое хорошее время. Может быть, даже упадет роса и в мокрой траве забле-

стят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.

Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золоченые крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.

Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:

Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались поплавки.

Но в это лето Глебу пришлось туго — из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать.

Глеб пришел в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:

«Здесь производится скупка червей от населения».

Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами: «Ну и хитрый же человек, чего написал!» — и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами:

«В обмен на картофельное варение».

Пришлось стереть надпись.

Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.

Глеб их берег, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал ее в темном погребе.

Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил ее

из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.

— Вот! — сказал Глеб грозным голосом. — Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придется ее проучить.

— Как? — спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.

— Отдать ее на съедение этой курице — и все!

Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.

— Не смей! — закричала Таня на курицу и заплакала.

Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.

— Дядя Глеб, зачем же ее убивать? Дай ее мне.

— Чтобы она опять воровала?

— Нет. Я ее посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому ее не жалко?

— Ну ладно! — согласился Глеб. — Бери, так и быть. Ни за что бы я ее не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.

— А разве она необыкновенная? — спросила Таня и перестала плакать.

— А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.

— Вот она его нам и предскажет, — с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: — Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!

Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила ее в банку с травой и поставила на подоконник.

— Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку, — посоветовал Глеб.

— Зачем?

— Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит будет дождь.

А дождя все не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала, — жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.

Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.

Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.

— Тебе чего? — спросила она. — Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут еще и ночью каждый будит, отдохнуть не дает.

— Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, — ответила лягушка. — Я тебя никогда еще не будила.

— Ну ладно, рассказывай, — ответила ласточка и зевнула. — Что у тебя стряслось?

Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла ее, лягушку, от смерти и она, лягушка, все думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.

Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Все сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время — пропали червяки и улитки.

Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала — ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И еще лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя еще нет, и людям надо помочь.

— Помочь-то надо, — ответила ласточка. — Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдет — весь выльется по дороге.

— А ты его приведи, — попросила лягушка.

— Легко сказать — приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.

— А ты поговори со стрижами.

— Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стриженка нечаянно крылом зацепишь — не оберешься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.

Лягушка отвернулась, и из ее глаз скатилась в траву маленькая слеза.

— Ну что ж, — прошептала она, — уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.

— Это как так не можем? — рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? Мы все можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолет. Для нас дождь привести — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области.

Ласточка почистила клюв лапкой, подумала.

— Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.

— А когда? — спросила лягушка.

Ласточка снова почесала клюв лапой.

— Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек — два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождем лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!

Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.

Лягушка вернулась в дом. Там все спали.

Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клена и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом еще громче, еще и еще, и вскоре ее кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне, в ответ на него, сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.

В доме все сразу проснулись.

— Что случилось? — спросонок спросила Таня.

— Дождь будет! Дождь! — ответил ей из соседней комнаты отец. — Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета.

Глеб вошел со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.

— Ну так и есть! — сказал он. — Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги.

Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.

Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и ведра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и все повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза». Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.

Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась черная туча. Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, — после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клев.

Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и веселая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.

Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и, затаив дыхание, ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи дождя.

— Идите сюда! — закричал с мезонина Глеб. — Скорее!

Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.

Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землей дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на нее несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча все ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.

Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперед, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки.

Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями. Тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга.

— Что это такое? — прокричала Таня. — Птичий дождь?

— Не понимаю, — ответил Танин отец. — А ты что-нибудь соображаешь, Глеб?

— Ничего не соображаю, — ответил Глеб. — Похоже на всемирный перелет ласточек.

Когда грохот дождя по крыше перешел в ровный и спокойный гул и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя.

Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала:

— Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет.

Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде ее была такая преданность, что Таня еще раз погладила ее по голове.

Лягушка прыгнула под листья табака и начала ежиться и отряхиваться — купаться под дождем.

С тех пор лягушку никто не трогал, Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для нее из своей заветной «червивой» банки несколько лучших червей.

А вокруг густо заколосились хлеба, политые дождем, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золоченые крючки.

Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье ее промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чем дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в теплой тени листьев.

1951

ЗАБОТЛИВЫЙ ЦВЕТОК

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошаденки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шел перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой.

Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идет речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из черной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом. — Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчики. — Последний гол забьем!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала веревку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки. — Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошел дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята, — спросил я мальчиков, — что это за «беличьи запасы», про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики. — Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берет.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. — Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики. — Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идете? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в нее мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве ее звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, веселая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас — белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники, — добавила Анюта.

— О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок сосновые шишки?

— А как же! — ответила Анюта. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж, — согласился я. — Пойдемте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он нам вот чем...

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешевый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Ученые, конечно, начали искать причину этого и, наконец, нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит теплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзнет вся верхушка, а он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят, — всего не перечтешь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы

такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Еще бы! — сказала Анюта. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила ее мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

1953

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, ЗАМЕТКИ



ПРИМОРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Я работал в трех морских газетах, — в Одессе, Батуме и Москве. Были годы, волновавшие самые скупые сердца. Форменная одежда исчезла и вместе с ней как бы исчезла узость профессий. Капитаны писали рассказы, писатели рыбачили в артелях, а матросы верстали газеты.

Многие до тех пор незаметные люди начинали звучать веско и полно. Они слетались вокруг морских газет, как птицы около маяков. Их было очень много, но я беру наугад двоих.

ПИСАТЕЛЬ УЛЬЯНСКИЙ

Потрепанные снобы (были в 1922 году и такие) говорили, что батумские закаты ничем не отличаются от закатов в Бенгальском заливе в Индии, хотя ни один из этих снобов никогда не был в Индии. Снобы преимущественно спекулировали сахарином и подвязками.

Действительно, пышность и прозрачность батумских закатов были неправдоподобны. Индия переносилась в Батум.

Ульянский, вдоволь насмотревшись на батумские закаты, шел ночевать в пустые товарные вагоны. Над путями всходила луна — оранжевая и зрелая, как исполинский апельсин.

Свет луны проникал сквозь щели в вагоне и не давал Ульянскому уснуть. К тому же вблизи шумело море, а на шоссе визжали часами арбы, как певцы, взявшие высокую фальшивую ноту.

Арба движется со скоростью двух километров в час, а слышна за три километра. Ульянский вычислил, что визг одной арбы занимал не менее часа. Это было жестокое испытание для нервов.

Ульянский — бывший наборщик и корректор из петербургской газеты «Биржевые ведомости» — недавно вернулся из германского плена.

В звании военнопленного во времена гражданской войны были и свои преимущества и свои опасности.

Военнопленные легко переходили в ту пору внутренние фронты. Вшитая в рукав коричневая полоса была надежным пропуском. Но зато никого так часто не принимали за шпионов, как военнопленных. Сколько их было расстреляно петлюровцами, белыми и махновцами — знали только овраги да степи Украины!

Ульянский пробрался через контрразведки, расстрелы и избиения и добрел до Батума, чтобы свалиться там от истощения.

Переползая из одного товарного вагона в другой, Ульянский пропитывался то запахом каменного угля, то навоза, то ржавчины. Днем его кормили сердобольные турки на набережной. Иногда он таскал пассажирам вещи на пароходы. За это греческий матрос дал ему однажды по шее.

В конце концов Ульянский забрел в союз моряков в поисках помощи и наткнулся на рассохшуюся дверь с запиской: «Редакция морской газеты «Маяк».

Ульянский вошел. В редакции сидели люди, евшие колбасу с черствым хлебом.

Ульянскому дали колбасы, чаю и пять рублей в виде аванса за обещанный очерк. До тех пор Ульянский не написал за всю свою жизнь ни строчки, кроме нескольких писем.

Он подавил в себе искушение удрать с пятью рублями и наплевать на очерк. Очерк следовало написать немедленно. Это было мучительно и страшно.

На следующий день Ульянский принес в редакцию чудовищную рукопись, написанную твердым химическим карандашом между строк страниц, вырванных из детской книги.

Редактор дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк. Ульянский, переписывая, стащил со стола колбасу и спрятал в карман.

Редактор прочел очерк, внимательно посмотрел на Ульянского и сказал:

— Сознавайтесь, кто вы такой.

Ульянский струсил. Он не знал за собой никаких грехов, кроме украденной колбасы, бездомности и своего внешнего вида, внушавшего подозрение. Поэтому он промолчал.

— Вы Куприна читали? — спросил редактор.

— Читал.

— Это написано лучше Куприна!

Маленькая морская газета «Маяк» украсилась очерком Ульянского. Он описал простую вещь — английский пароход «Скотиш Менестрэл», стоявший в ту пору в порту.

Описывая этот пароход, он показал страшный скелет Англии. Резиновые макинтоши офицеров были чванны и холодны, как английская спесь. Кровяной затылок капитана напоминал о колониальной политике. Пароход был осколком Англии, преисполненным христианской злобы и сухоточных истин. Он внушал омерзение.

В мозгу Ульянского, утомленном войной и лишеньями, выработался ценный яд социальной сатиры. Его слова на первый взгляд были невинны, но резали глубоко, как лезвие безопасной бритвы. Это была месть всему старому и отпевание, полное уверенной злобы.

Вскоре Ульянский исчез из Батума. Спустя пять лет редактор «Маяка» получил в Москве по почте толстую книгу. На переплете стояло «Ульянский». В книге

были прекрасные рассказы, — простые и тяжелые, как шаги усталого человека.

Редактор берег эту книгу, как берегут дорогой подарок, но, конечно, ее стащили.

Вскоре вышла вторая превосходная книга Ульянского под названием «Мохнатый пиджачок».

Ульянский входил в литературу не торопясь, накапливая за своей спиной новые месяцы скитаний. В своей бесприютности он находил материал для рассказов, и, пожалуй, никто из писателей не решился на это. Ульянский заставлял жизнь брать себя за глотку и брать не в шутку, а всерьез.

РЕПОРТЕР ЛОВЕНГАРД

До революции одесский репортер Ловенгард давал так называемую «полицейскую хронику». Это был удел бесталанных и робких журналистов.

У полицейских репортеров были свои традиции и свой стиль. Писали они примерно так: «В районе Второго участка был найден с рваной раной в плюсну левой ноги неизвестный, назвавший себя Аполлоном Гаврилиади».

На вопрос секретаря газеты, бывает ли у человека плюсна не на ноге, а на другой части тела и почему Гаврилиади назван неизвестным, полицейские хроникеры смущенно отмалчивались. Секретарь выбрасывал их заметку в корзину.

Полицейские хроникеры любили игривые и жалкие заголовки. Над заметкой о женщине, разрешившейся от бремени на галерке цирка, они бесстрашно ставили заголовок: «Нашла место!», а над заметкой о смерти от отравления рыбой целой семьи писали «Рыбки захотелось».

Эти хроникеры были безропотными козлами отпущения, мишенью для острот и пищей для анекдотов.

Ловенгард был похож на философа Карлейля — такой же седой и величественный старик с голубыми

глазами. Молчаливость его была вызвана тем, что Ловенгард сильно картавил.

Таких стариков чаще всего можно было встретить на бульваре. Они дремали на солнце, опираясь склеротическими пальцами на набалдашники старых палок. Около них играли дети.

Ловенгард был одинок, нищ и добр. Зарабатывал он сущие гроши. К полицейским происшествиям относился безучастно. Он брал их из протоколов, написанных размашистым, но утомительным писарским почерком. Круг происшествий был ограничен — кражи, убийства, пожары, мошенничества и несчастные случаи, — пять схем, пять шаблонов скуки. Ловенгарда в глубине души удивляло, что за эту скуку платят деньги.

Так было до революции. В мае 1921 года Ловенгард вышел на улицу. Старая женщина-газетчица, приятельница Ловенгарда, стояла около бывшего кафе Робина и тихо взывала:

— Газэта «Моряк»! «Моряк» — газэта!

Название газеты удивило Ловенгарда. Он купил ее, розовую, напечатанную на обороте бандерольной бумаги, и сердце его сжалось. Это было то, чего он ждал. Это была газета «Моряк» — орган моряков Черного и Азовского морей.

Над заголовком Ловенгард прочел лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!» и торопливо пошел в редакцию новой газеты, запахивая свое старенькое пальто без пуговиц. Стояла ранняя весна, и с севера дул, хотя и солнечный, но сырой ветер.

Ловенгард начал работать в «Моряке». Он был безраздельно предан морю. Он согласился бы работать в «Моряке» бесплатно, лишь бы ему поручили обслуживать порт.

В порту он знал каждый чугунный причал. Он был знаком со всеми портовыми сторожами. Он рассказывал, что с раннего детства Одесский порт был его единственной любовью.

Все свободное время он бродил в порту. Порт был для него всем миром. Он вызывал особый строй

чувств, тревожил воображение, гремел лебедками и сверкал желтизной пароходных труб.

Ловенгард приносил в редакцию заметки о приходе пароходов, написанные громадными детскими буквами. Он наслаждался именами пароходов и выписывал их в особую книжку. Я мельком видел ее. Рядом с «Дюмон Дюрвиллем» стоял «Гильберт», а с «Кэр д'Эллен» — шхуна «Три брата».

Как ребенок и как дикарь, Ловенгард одушевлял пароходы. Он рассказывал, что «Дюмон Дюрвилль» был стройный и легкомысленный пароход, сгоревший от неосторожности кочегаров.

Вокруг пароходов нищий старик нагромождал столько никому не известных фактов, столько вымыслов и волнения, что в конце концов заразил всю редакцию. Мир без кораблей как бы потерял для нас свой смысл. Ловенгард утверждал, что море революционизирует людей, а порт — это олицетворение богатства и вольности.

Умер Ловенгард зимой, когда мгла и сизый ветер властвовали над Одессой. Он нес к себе на третий этаж ведро с водой, упал и умер, не успев ничего ни сказать, ни крикнуть. Только гром ведра, скакавшего по ступенькам, возвестил жильцам ветхого дома о смерти чудака Ловенгарда.

В комнате Ловенгарда нашли кровать с матрацем, превратившимся от старости в кисею, стул, пустой кухонный стол и старый плащ, висевший на гвозде. В столе нашли тетради — планы ненаписанной книги. Двадцать лет Ловенгард собирал материал и делал наброски для громадной книги «Одесский порт». Он даже не начал ее писать.

Я просматривал его наброски. Они пахли табаком и старостью, когда я начал их читать, но когда окончил — запах ветра, лиманов и мимозы как бы наполнил сырую комнату, где лежал на кровати мертвый старик, похожий на философа Карлейля.

В своих заметках Ловенгард писал о кораблях, грузах, ветрах, маячных огнях, веснах, замерзании Одесского залива, об мессинских апельсинах, каменном угле, валонее, арбузах, пшенице и вине так, как

будто бы вы держите на ладони апельсины и нюхаете их или пробуете густое вино. Над всем в его несбывшейся книге должно было властвовать терпкое, смолистое от запаха палуб яростное солнце Одессы.

День его похорон был скучен и сер. За гробом шли репортеры. Они рассказывали друг другу последние политические анекдоты. Изредка их мысли ненадолго возвращались к Ловенгарду, и они обещали друг другу написать о нем. Непременно! Но писать о стариках — неблагодарная задача, и никто, конечно, о нем не написал ни строчки.

1930

ДЕНЬ СМЕРТИ ГОРЬКОГО

Смерть пришла в летний день, когда над Москвой шумели теплые грозы. Он умер перед лицом всей полноты жизни, любимой неистово и упрямо, перед лицом сырой листвы, высокого неба, полевых трав, солнца, сверкающего над тучами и лесами.

Он умер перед лицом новой земли — богатой, чистой и прекрасной. Он не должен был сейчас умирать.

Осталось чувство сиротства, саднящее сердце.

Раненому человеку трудно рассказать связно о своем несчастье. Так же трудно сейчас писать о Горьком.

Смерть его ощущается почти так же, как сто лет назад ощущалась смерть Пушкина.

Это — внезапное личное несчастье для каждого, кто любит землю, поэзию жизни и простоту человеческих сердец.

Горький был нашей совестью, честностью, нашим мужеством и любовью. Как нельзя лгать ребенку, так невозможно было забыть о строгости к себе, чистоте собственных помыслов и правдивости книг, когда судьей и товарищем был Горький.

Он оставил нам традиции большой литературы, пришедшей из прошлых веков и уходящей в будущее.

Если мы нарушим эти традиции, если мы пренебрежем законами художественной правды, смелости обобщений, проницательности, внутренней писательской свободы, мы никогда не создадим литературы, стоящей на уровне эпохи. Тогда мы, как рабы, зароем талант свой в землю и пройдем над миром той угрюмой и скоро позабытой толпой, о которой говорил Лермонтов.

Горький был непримирим. Он жестоко бил по человеческой тупости, грубости чувств, дикости нравов.

Его жизнь и его старость были завидны и прекрасны.

Он знал высокое счастье никогда не устающей мысли, счастье зоркого глаза, веры в человека, счастье острой памяти и жадности к каждой жизненной мелочи.

Он знал и любил свою родину, и этому чувству мы должны у него учиться — чувству, сжимающему сердце и похожему на материнскую любовь, чувству, заставляющему нас всей силой своих помыслов стремиться к осуществлению веселого и мудрого существования на земле.

1936

МАЛЫШКИН

На дощатом крыльце сельской почты мальчишка-почтарь долго клеил на стену свежую московскую газету. Я ждал. С юга дуло жаром, несло пылью, запахом раскаленных сосен. В сером небе стояли ватные сухие облака.

Я взглянул на последнюю страницу газеты, и будто чугунным кулаком кто-то стиснул сердце...

Умер Малышкин.

Вокруг было все то же, пылил все тот же любимый им бесхитростный русский день, но его, Малышкина, милого Александра Георгиевича, уже не было, и мысль эта была нелепой и горькой.

В Малышкине рядом с неспокойной, всегда оживленной, всегда взволнованной талантливостью жила большая житейская простота, жизнерадостность, любовь к людям, к писательству как к своему единственно мыслимому и прекрасному человеческому пути.

Если говорить о традициях большой литературы или, вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций — носителем верным и непреклонным.

Все его писательство, вся его личная жизнь были порывом к счастью — к счастью своей страны, своего народа. Этот порыв лучше всего передан им в небольшом рассказе «Поезд на юг» — одном из шедевров советской литературы.

В этом постоянном беспокойном порыве к счастью и познанию всего существующего Мылышкин был похож на ребенка, — он был так же искренен, экспансивен, так же по-детски радовался всему, что наполняло жизнь разумным и веселым содержанием.

Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы — такова, говорил он, была придуманная им традиция — водить всех только что приехавших в горы.

Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам — он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы.

Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся — он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни.

Мы остановились на высоте скалы, туман прошел, и внезапно открылось море. Оно казалось сгущенным воздухом этой осени, оно несло к подножью мысов, к коричневой земле виноградников прозрачную влагу и качало в ней отражение солнца.

— Да, — сказал Малышкин и показал на море, — таким оно было, когда здесь еще не существовало Ялты, и таким оно будет, когда мы с вами умрем. Это очень радостно.

Эта простая мысль обычно вызывает у людей чувство собственного ничтожества, но Малышкин ощущал ее как нечто утверждающее жизнь.

Малышкин умер. Исчезло ясное и простое очарование его ума, таланта и доброты. И бесконечно жаль, что он умер так рано, — ведь для Малышкина только в последние годы началась его молодость, до этого жизнь была для него невесела и сурова.

Он умер, но Черное море шумит, как шумело при нем, и к нашим богатствам прибавилась еще одна ценность, оставленная нам Малышкиным — его великолепные книги и его высокое волнение перед зрелищем мира и настоящей, невыдуманной человеческой жизни.

Солотча, Рязанская область
1938

СЛУЧАЙ С ДИККЕНСОМ

(Из записной книжки)

Желтые облака над Феодосией. Они кажутся древними, средневековыми. Жара. Прибой гремит жестянками. Мальчишки сидят на старой акации и набивают рот сухими сладкими цветами. Далеко над морем подымается прозрачная струя дыма — идет из Одессы теплоход. Мрачный рыбак, подпоясанный обрывком сети, свистит и сплевывает в воду — ему скучно. Рядом с рыбаком на берегу сидит мальчик и читает книгу. «Дай, пацан, поглядеть, что такое за книга», — хрипло просит рыбак. Мальчик робко протягивает книгу. Рыбак начинает читать. Он читает пять минут, десять, он сопит от увлечения и говорит: «Вот это завинчено, убей меня бог!» Мальчик ждет. Рыбак читает уже полчаса. Облака переменились на небе местами, мальчишки уже объели одну акацию и полезли на другую. Рыбак читает. Мальчик смотрит на него с тревогой. Проходит час. «Дядя, — шепотом говорит мальчик, — мне надо домой». — «До мамы?» — не глядя на него, спрашивает рыбак. «До мамы», — отвечает мальчик. «Успеешь до мамы», — сердито говорит рыбак. Мальчик замолкает. Рыбак с шумом перелистывает страницы, глотает слюну. Проходит полтора часа.

Мальчик начинает тихо плакать. Теплоход уже подходит к порту и гудит небрежно и величаво. Рыбак читает. Мальчик плачет, уже не скрываясь, слезы текут по его дрожащим щекам. Рыбак ничего не видит. Старый пристанский сторож кричит ему: «Петя, чего ты мучаешь ребенка! Отдай книгу, имей каплю совести». Рыбак удивленно смотрит на мальчика, бросает ему книгу, плюет, говорит с сердцем: «На, собственник, базарная душа, подавись той книгой!» Мальчик хватает книгу и бежит, не оглядываясь, по раскаленному портовому спуску. «Что это была за книга?» — спрашиваю я рыбака. «Та Диккенс, — говорит он с досадой. — Такой прилипчивый писатель — как смола!»

1939

РЕДИАРД КИПЛИНГ

Из всех английских писателей только один Редиард Киплинг получал легендарный гонорар — шиллинг за слово. Каждое слово Киплинга стоило на наши деньги пятьдесят копеек золотом. Веселый и чувствительный Диккенс — общий друг человечества — не получал и десятой доли этих денег.

Киплинг — единственный из английских писателей, чьи сочинения заслужили высокую честь выйти полным собранием еще при жизни автора. До Киплинга Англия не слыхала о таких литературных излишествах.

Чем объяснить такую славу? Чем объяснить, что Киплинг сделался настольным писателем среднего английского обывателя, наемного солдата и престарелого лорда?

Только тем, что Киплинг был «истым» британцем — жестоким и твердым, писавшим свои книги во славу Большой Англии — владычицы океанов, империи, где никогда не заходит солнце. Он был ее верным слугой, солдатом и певцом.

Англия была для Киплинга превыше всего. Человечество существовало в глазах Киплинга только как удобрение для необъятных английских плантаций.

Поэтому Киплинг воспевал солдат и офицеров, колониальные войны, жестокость и смелость.

Если он и восставал против правящих классов Англии, то только за то, что они были недостаточно мужественными и культурными поработителями. Покорение чужих народов и выкачивание из них богатств духовных и материальных для блага Англии, создание миллионных армий рабов было, по мнению Киплинга, трудным искусством, хитрой наукой, плохо усвоенной чванными генералами и пэрами Англии. Только за это Киплинг и позволял себе смеяться над ними.

Старые лорды и генералы не понимали, чего от них хочет этот выскочка, журналист, родившийся и выросший в Индии, в пышной тропической провинции. Они не понимали нападок Киплинга и называли его в глаза «нахальным босяком». Но новые, более просвещенные империалисты уже похлопывали Киплинга по плечу, прислушивались к его советам и платили шиллинг за слово.

Жизнь Киплинга — один из трагических примеров того, как гений может погубить себя.

Талант его был неистощим, язык — точен и богат, выдумка его была полна правдоподобия, все его обширные поразительные знания, вырванные из подлинной жизни, во множестве сверкают на страницах его книг.

Всех этих свойств достаточно для того, чтобы быть гением, принадлежащим всему человечеству. Но Киплинг отказался от этого. Он втиснул свой талант в узкие ножны английского солдатского тесака, он не захотел принадлежать человечеству и предпочел стать певцом британского империализма. Поэтому любой писатель гораздо меньшего дарования чем Киплинг, хотя бы Герберт Уэлс, дороже нам, чем блистательный и воинственный Киплинг. Рассказы Киплинга звучат как наглый крик трубы перед кавалерийской атакой на безоружную толпу голодных рабов.

Был ли империалист Киплинг (его имя стоит наравне с именами таких империалистов, как Сесиль Родс, Китченер, Чемберлен и полковник Лоуренс) искренним до конца?

Конечно, нет. Изредка он проговаривался. Он носил в себе множество тем, запретных для самого себя. Человек большого таланта, он не мог не видеть правды. Она тяготила его и помимо его воли проникала на страницы рассказов.

Эти страницы — самые ценные у Киплинга. Так непосредственно он написал книгу о зверях — «Джунгли», одну из лучших книг девятнадцатого столетия. Так он написал несколько рассказов «о мертвом уровне Индии», о бунте измученных солдат, Томми Аткинсов, замотанных тропической казармой, о том, наконец, что «Индия — это страна, где, желая обвинить человека в преступлении, можно купить все улики, включая мертвое тело, за 54 рупии».

Он первый дал резкие картины борьбы человека с природой, и это его свойство особенно ценно для советских читателей — людей той страны, где переделка природы идет глубоко и смело.

Жизнь Киплинга больше походила на жизнь солдата или шпиона, чем на жизнь писателя. Он много работал в газетах. Долгое время он был военным корреспондентом. Всю жизнь он занимался тем, что странствовал по свету, по всем углам земли, куда уже протянулась рука Англии или куда она хотела протянуться.

Киплинг написал 37 замечательных книг.

Это был сухой черноусый англичанин в очках, скрывавших его пристальный и неприятный взгляд. Все в нем было подчинено одной цели, даже почерк. Он писал твердо, разборчиво, тем почерком, каким пишут военные донесения.

Влияние Киплинга на мировую литературу было огромно.

1937

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Писатель Грин — Александр Степанович Гриневский — умер в июле 1932 года в Старом Крыму — маленьком городе, заросшем вековыми ореховыми деревьями.

Грин прожил тяжелую жизнь. Все в ней, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обывателя. Было непонятно, как этот угрюмый человек, не запятнав, пронес через мучительное существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Биография Грина — беспощадный приговор дореволюционному строю человеческих отношений. Старая Россия наградила Грина жестоко — она отняла у него еще с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти он нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня.

Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, — землю, не нанесенную

на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина.

«Я всегда замечал, — пишет Максим Горький в книге «Мои университеты», — что людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь».

Эти слова целиком относятся к Грину.

Русская жизнь была ограничена для него обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом. Но где-то за чертой серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав. Там жили люди, коричневые от солнца, — золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но прежде всего — моряки.

Жить без веры в то, что такие страны цветут и шумят где-то на океанских островах, было для Грина слишком тяжело, порой невыносимо.

Пришла революция. Ею было поколеблено многое, что угнетало Грина: звериный строй прошлых человеческих отношений, эксплуатация, отщепенство — все, что заставляло Грина бежать от жизни в область сновидений и книг.

Грин искренне радовался ее приходу, но прекрасные дали нового будущего, вызванного к жизни революцией, были еще неясно видны, а Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением.

Революция пришла не в праздничном уборе, а пришла как запыленный боец, как хирург. Она вспахала тысячелетние пласты затхлого быта.

Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно. Он хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома людей будущего, участвовать вместе с ними в заманчивых

экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и веселой жизнью.

Действительность не могла дать этого Грину тотчас же. Только воображение могло перенести его в желанную обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей.

Это вечное, почти детское нетерпение, желание сейчас же увидеть конечный результат великих событий, сознание, что до этого еще далеко, что перестройка жизни — дело длительное, все это вызывало у Грина досаду.

Раньше он был нетерпим в своем отрицании действительности, сейчас он был нетерпим в своей требовательности к людям, создавшим новое общество. Он не замечал стремительного хода событий и думал, что они идут невыносимо медленно.

Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел. Ожидание нагоняло на него скуку и разрушало поэтический строй его ощущений.

Может быть, в этом и заключалась причина малопонятной для нас отчужденности Грина от времени.

Грин умер на пороге социалистического общества, не зная, в какое время умирает. Он умер слишком рано.

Смерть застала его в самом начале душевного перелома. Грин начал прислушиваться и пристально присматриваться к действительности. Если бы не смерть, то, может быть, он вошел бы в ряды нашей литературы как один из наиболее своеобразных писателей, органически сливших реализм со свободным и смелым воображением.

Отец Грина — участник польского восстания 1863 года — был сослан в Вятку, работал там счетоводом в больнице, спился и умер в нищете.

Сын Александр — будущий писатель — рос мечтательным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. Он

увлекался множеством вещей, но ничего не доводил до конца. Учился он плохо, но запоем читал Майн-Рида, Жюля Верна, Густава Эмара и Жаколио.

«Слова: «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня, как музыка», — говорил потом об этом времени Грин.

Теперешней молодежи трудно понять, как неотразимо действовали эти писатели на ребят, выросших в прежней русской глуши. «Чтобы понять это, — говорит Грин в своей автобиографии, — надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту обстановку напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке».

С восьми лет Грин начал думать о путешествиях. Жажду путешествия он сохранил до самой смерти. Каждое путешествие, даже самое незначительное, вызывало у него глубокое волнение.

Грин с малых лет обладал очень точным воображением. Когда он стал писателем, то представлял себе те несуществующие страны, где происходило действие его рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз исхоженные места.

Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог отметить каждый поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки и расположение домов, мог, наконец, перечислить все корабли, стоящие в несуществующих гаванях, со всеми их морскими особенностями и свойствами беспечной и жизнерадостной корабельной команды.

Вот пример такого точного несуществующего пейзажа. В рассказе «Колония Ланфиер» Грин пишет:

«На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников.

На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей за город. По краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся крошечными, как побеги салата.

На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, простиралась синяя, сверкающая белыми искрами гладь океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер».

С ранних лет Грин устал от безрадостного существования.

Дома мальчика постоянно били, даже больная, измученная домашней работой мать с каким-то странным удовольствием дразнила сына песенкой:

А в неволе
Поневоле,
Как собака, прозябай.

«Я мучился, слыша это, — говорил Грин, — потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее».

С большим трудом отец отдал Грина в реальное училище.

Из училища Грина исключили за невинные стихи о своем классном наставнике.

Отец жестоко избил его, а потом несколько дней обивал пороги у директора училища, унижался, ходил к губернатору, просил, чтобы сына не исключали, но ничего не помогло.

Отец пытался устроить Грина в гимназию, но его туда не приняли. Город уже выдал маленькому мальчику неписаный «волчий билет». Пришлось отдать Грина в городское училище.

Мать умерла. Отец Грина вскоре женился на вдове псаломщика. У мачехи родился ребенок.

Жизнь шла по-прежнему без всяких событий, в тесноте убогой квартиры, среди грязных пеленок и диких ссор. В училище процветали зверские драки, и кислый запах чернил крепко въедался в кожу, в волосы, в поношенные ученические блузы.

Мальчику приходилось перебелять за несколько копеек сметы городской больницы, переплетать книги,

клеить бумажные фонари для иллюминации в день «восшествия на престол» Николая Второго и переписывать роли для актеров провинциального театра.

Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью.

Уже в зрелом возрасте, чтобы уйти от нужды, Грин придумал клеить из фанеры шкатулки и продавать их на рынке. Было это в Старом Крыму, где с великим трудом удалось бы продать одну-две шкатулки. Так же беспомощна была попытка Грина избавиться от голода. Грин сделал лук, уходил с ним на окраины Старого Крыма и стрелял в птиц, надеясь убить хоть одну и поесть свежего мяса. Но из этого ничего, конечно, не вышло.

Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье.

Мечтами об «ослепительном случае» и радости полны все рассказы Грина, но больше всего — его повесть «Алые паруса». Характерно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей.

«Алые паруса» — поэма, утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими же руками совершать чудеса.

Уныло и однообразно тянулась вятская жизнь, пока весной 1895 года Грин не увидел на пристани извозчика и на нем двух штурманских учеников в белой матросской форме.

«Я остановился, — пишет об этом случае Грин, — и смотрел, как зачарованный, на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира. Я не завидовал. Я испытывал восторг и тоску».

С тех пор мечты о морской службе, о «живописном труде мореплавания» овладели Грином с особенной силой. Он начал собираться в Одессу.

Семье Грин был в тягость. Отец раздобыл ему на дорогу двадцать пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном, ни разу не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

Грин взял с собой акварельные краски, — он был уверен, что будет рисовать ими где-нибудь в Индии, на берегах Ганга, — взял нищенский скарб и в состоянии полного смятения и ликования уехал из Вятки.

«Я долго видел на пристани в толпе, — рассказывает об этом отъезде Грин, — растерянное седобородое лицо отца. А мне грезилось море, покрытое парусами».

В Одессе произошла первая встреча Грина с морем — тем морем, что залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

О море написано множество книг. Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из этих писателей не шумят и не переливают на страницах такие праздничные моря, как у Грина.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов — Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов Грин вложил черты всех виденных им портов Черного моря.

Мечта была достигнута. Море лежало перед Грином как дорога чудес, но старое вятское прошлое тот-

час же дало себя знать. Грин с особой остротой почувствовал у моря свою беспомощность, ненужность и одиночество.

«Этот новый мир не нуждался во мне, — пишет он. — Я чувствовал себя стесненным, чужим здесь, как везде. Мне было немного грустно».

Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой.

Грин неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароходы, но ему или грубо отказывали, или высмеивали в глаза, — какой мог получиться матрос из хилого юноши с мечтательными глазами!

Наконец Грину «повезло». Его взяли без жалованья учеником на пароход, ходивший из Одессы в Батум. На нем Грин сделал два осенних рейса.

От этих рейсов у Грина осталась память только о Ялте и хребте Кавказских гор.

«Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невиданного города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетал запах цветов, теплые порывы ветра. Далеко слышались голоса и смех.

Остальная часть рейса мною забыта, кроме не исчезающего с горизонта шествия снежных гор. Их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров. Это была цепь высоко взнесенных стран сверкающего льдами молчания».

Вскоре капитан ссадил Грина с парохода — Грин не мог платить за продовольствие.

Кулак, хозяин херсонского «дубка», взял Грина подручным к себе на шхуну и помыкал им, как собакой. Грин почти не спал — вместо подушки хозяин дал ему разбитую черепицу. В Херсоне его вышвырнули на берег, не заплатив денег.

Из Херсона Грин вернулся в Одессу, работал в портовых пакгаузах маркировщиком и сделал

единственный заграничный рейс в Александрию, но его уволили с парохода за столкновение с капитаном.

Из всей одесской жизни у Грина осталось хорошее воспоминание только о работе в портовых складах.

«Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, — особенно если грело солнце».

Грин устал от одесской жизни и решил вернуться в Вятку. Домой он ехал «зайцем». Последние двести километров пришлось идти пешком по жидкой грязи — стояло ненастье.

В Вятке отец спросил Грина, где его вещи.

— Вещи остались на почтовой станции, — солгал Грин. — Не было извозчика.

«Отец, — пишет Грин, — жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал, а через день, когда выяснилось, что никаких вещей нет, спросил (от него сильно пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком. Где твои вещи? Ты изолгался!»

Опять начиналась проклятая вятская жизнь.

Потом были годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни, или, как было принято выражаться в обывательских семьях, поиски «занятия».

Грин был банщиком на станции Мураши, около Вятки, служил писцом в канцелярии, писал в трактире для крестьян прошения в суд.

Он долго не выдержал в Вятке и уехал в Баку. Жизнь в Баку была так отчаянно тяжела, что у Грина осталось о ней воспоминание, как о непрерывном холоде и мраке. Подробностей он не запомнил.

Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить по-

жары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом.

Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.

Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина. Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни — преждевременная старость — остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублевую бумажку.

Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.

Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.

Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку.

Жизнь Грина, особенно бакинская, многими своими чертами напоминает юность Максима Горького. И Горький и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом.

В Баку Грин дошел до последней степени нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, высокой и беззаботной. Наконец он нашел такое лицо — лицо девушки — и описал его в своем дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека, который начал издеваться над Грином и

незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.

Из Баку Грин снова вернулся в Вятку, где пьяный отец требовал от него денег. Но денег, конечно, не было.

Надо было снова придумывать какие-нибудь способы, чтобы тянуть существование. Грин был не способен на это. Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал — искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

Грин увидел Урал — дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он поднимал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.

Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком странником (оказавшимся впоследствии убийцей и вором), был дровосеком и сплавщиком.

После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычова — знаменитого Булычова, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.

Но окончилась и эта работа.

Казалось, жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но еще тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» — доктора или инженера.

Грин служил в пехотном полку в Пензе.

В полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги.

«С тех пор, — говорит Грин, — жизнь повернулась ко мне разоблаченной, казавшейся раньше таинственной, стороной. Мой революционный энтузиазм был беспределен. По первому предложению одного эсера-

вольноопределяющегося, я взял тысячу прокламаций и разбросал их во дворе казармы».

Прослужив около года, Грин дезертировал из полка и ушел в революционную работу. Эта полоса его жизни малоизвестна.

Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий, увлекательный подпольный оратор.

Но в опасностях и напряжении революционной работы Грин оставался таким же созерцателем, как и раньше. Недаром он сам говорил о себе, что жизненные явления его интересовали преимущественно зрительно, — он любил смотреть и запоминать.

В Севастополе Грин жил осенью — той ясной крымской осенью, когда воздух кажется прозрачной теплой влагой, налитой в границы улиц, бухт и гор, и малейший звук проходит по ней легкой и долго не смолкающей дрожью.

«Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы», — признавался Грин. Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган — это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации и кремнистой земли и торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды.

Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, ночными ветрами, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде.

Ни в одном из городов Советского Союза не чувствуется так явственно, как в Севастополе, поэзия морской жизни, высказанная Грином в следующих строках:

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие

жизни, а высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами...»

Осенью 1903 года Грин был арестован в Севастополе на Графской пристани и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года.

В севастопольской тюрьме Грин впервые начал писать. Он очень застенчиво относился к своим первым литературным опытам и никому их не показывал.

Грин мало рассказывал о себе, он не успел окончить свою автобиографию, и потому многие годы его жизни почти никому не известны.

После Севастополя в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но с дороги бежал, пробрался в Вятку и ночью пришел к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ.

С чужим паспортом Грин уехал в Петербург, и здесь, в газете «Биржевые ведомости», этот рассказ был напечатан.

Это была первая настоящая радость в жизни Грина. Он едва не расцеловал ворчливого газетчика, у которого купил номер газеты со своим рассказом. Он уверял газетчика, что рассказ написан им, но старик не верил и подозрительно смотрел на голенастого веснушчатого молодого человека. От волнения Грин не мог идти, у него дрожали и подгибались ноги.

Работа в эсеровской организации уже явно тяготила Грина. Он вскоре вышел из нее, отказавшись от порученного ему покушения. Он был захвачен мыслями о писательстве. Десятки замыслов отягощали его, он торопливо искал форму для них, но первое время не находил.

Он писал еще робко, с оглядкой на редактора и читателя, писал с тем хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа насмешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово. Грин еще боялся бури сюжетов, которая бушевала в нем и требовала освобождения.

Первый рассказ, написанный Грином без оглядки, лишь в силу свободного внутреннего побуждения, был «Остров Рено». В нем уже были заключены все черты будущего Грина. Это простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по приказу командира.

Грин начал печататься. Годы унижений и голода, правда, очень медленно, но все же уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом.

Вскоре Грин опять был арестован по старому делу о принадлежности к партии эсеров, просидел год в тюрьме и был выслан в Архангельскую губернию — в Пинегу, а потом в Кегостров.

В ссылке он много писал, читал, охотился и, по его словам, даже отдохнул от прошлой каторжной жизни.

В 1912 году Грин вернулся в Петербург. Здесь начался лучший период его жизни, своего рода «болдинская осень». В то время Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он перечитывал множество книг, хотел все узнать, испытать, перенести в свои рассказы.

Вскоре он повез отцу в Вятку свою первую книгу. Грину хотелось порадовать старика, уже примирившегося с мыслью, что из сына Александра вышел никчемный бродяга. Отец Грину не поверил. Понадобилось показать старику договоры с издательствами и другие документы, чтобы убедить его, что Грин действительно стал «человеком». Эта встреча отца с сыном была последней: старик вскоре умер.

Февральская революция застала Грина в Финляндии, в поселке Лунатиокки; он встретил ее с восторгом. Узнав о революции, Грин тотчас же пешком отправился в Петроград — поезда уже не ходили. Он

бросил в Лунатиокках все свои вещи и книги, даже портрет Эдгара По, с которым никогда не расставался.

Почти все, кто писал о Грине, говорят о близости Грина к Эдгару По, к Хаггарду, Джозефу Конраду, Стивенсону и Киплингу.

Грин любил «безумного Эдгара», но мнение, что он подражал ему и всем перечисленным писателям, неверно: Грин многих из них узнал, будучи уже сам вполне сложившимся писателем.

Он очень ценил Мериме и считал его «Кармен» одной из лучших книг в мировой литературе. Грин много читал Мопассана, Флобера, Бальзака, Стендаля, Чехова (рассказами Чехова Грин был потрясен), Горького, Свифта и Джека Лондона. Он часто перечитывал биографию Пушкина, а в зрелом возрасте увлекался чтением энциклопедий.

Грин не был избалован вниманием и потому очень ценил его.

Даже самая обычная в человеческих отношениях ласка или дружеский поступок вызывали у него глубокое волнение.

Так случилось, например, когда жизнь впервые столкнула Грина с Максимом Горьким. Шел 1920 год. Грин был призван в Красную Армию и служил в караульном полку в городе Острове, под Псковом. Там он заболел сыпняком. Его привезли в Петроград и вместе с сотнями сыпнотифозных положили в Боткинские бараки. Грин болел тяжело. Он вышел из больницы почти инвалидом.

Без крова, полубольной и голодный, с тяжелыми головокружениями, он бродил целые дни по гранитному городу в поисках пищи и тепла. Было время очередей, пайков, коптилок, черствых корок хлеба и обледенелых квартир. Мысль о смерти становилась все назойливее и крепче.

«В это время, — пишет в своих неопубликованных воспоминаниях жена писателя, — спасителем Грина явился Максим Горький. Он узнал о тяжелом положении Грина и сделал для него все. По просьбе Горького, Грину дали редкий в те времена академический

паек и комнату на Мойке, в «Доме искусств», — теплую, светлую, с постелью и со столом. Замученному Грину особенно драгоценным казался этот стол — за ним можно было писать. Кроме того, Горький дал Грину работу.

Из самого глубокого отчаяния и ожидания смерти Грин был возвращен к жизни рукою Горького. Часто по ночам, вспоминая свою тяжелую жизнь и помощь Горького, еще не оправившийся от болезни Грин плакал от благодарности».

В 1924 году Грин переехал в Феодосию. Ему хотелось жить в тишине, ближе к любимому морю. В этом поступке Грина отразился верный инстинкт писателя — приморская жизнь была той реальной питательной средой, которая давала ему возможность выдумывать свои рассказы.

В Феодосии Грин прожил до 1930 года. Там он много писал. Писал он преимущественно зимой, по утрам. Иногда часами он сидел в кресле, курил и думал, и в это время его нельзя было трогать. В такие часы размышлений и свободной игры воображения сосредоточенность была нужна Грину гораздо больше, чем в часы работы. Грин погружался в свои раздумья так глубоко, что почти глох и слеп, и вывести его из этого состояния было трудно.

Летом Грин отдыхал: делал луки, бродил у моря, возился с беспризорными собаками, приручал раненого ястреба, читал и играл на бильярде с веселыми феодосийскими жителями — потомками генуэзцев и греков. Грин любил Феодосию — знойный город у зеленого мутноватого моря, построенный на белой каменистой земле.

Осенью 1930 года Грин переехал из Феодосии в Старый Крым — город цветов, тишины и развалин. Здесь он умер в одиночестве от мучительной болезни — рака желудка и легких.

Грин умирал так же тяжело, как и жил. Он попросил поставить его кровать к окну. За окном си-

нели далекие крымские горы и небо сверкало, как отблеск любимого и навсегда потерянного моря.

В одном из рассказов Грина — «Возвращение» — есть строки, как бы написанные им о своей смерти, — так точно они передают обстановку умирания Грина: «Конец наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, он попросил посадить его у окна. Он смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха».

Перед смертью Грин сильно тосковал о людях — этого раньше с ним никогда не случалось.

За несколько дней перед смертью из Ленинграда прислали авторские экземпляры последней книги Грина — «Автобиографическая повесть».

Грин слабо улыбнулся, пытался прочесть надпись на обложке, но не смог. Книга выпала у него из рук. Глаза у него уже приобрели выражение тяжелой, глухой пустоты. Глаза Грина, умевшие так необыкновенно видеть мир, уже умирали.

Последним словом Грина был не то стон, не то шепот: «Помираю...»

Через два года после смерти Грина мне случилось побывать в Старом Крыму, в доме, где умер Грин, и на его могиле.

Вокруг маленького белого дома в густой и свежей траве цвели полевые цветы. Листья ореха, вялые от зноя, пахли лекарственно и терпко. В комнатах с суровой, простой обстановкой стояла глубокая тишина и лежал на меловой стене резкий луч солнца. Он падал на единственную гравюру на стене — портрет Эдгара По.

Могила Грина на кладбище за старой мечетью заросла колючими травами.

Дул ветер с юга. Очень далеко, за Феодосией, сизой стеною стояло море. И над всем — над домом Грина, над его могилой и над Старым Крымом — стояло безмолвие безоблачного летнего дня.

Грин умер, оставив нам решать вопрос, нужны ли нашему времени такие неистовые мечтатели, каким был он.

Да, нам нужны мечтатели. Пора избавиться от насмешливого отношения к этому слову. Многие еще не умеют мечтать, и, может быть, поэтому они никак не могут стать в уровень со временем.

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живем в этом будущем и сами становимся иными.

Принято думать, что мечты Грина были оторваны от жизни, являлись причудливой и ничего не значащей игрой ума. Принято думать, что Грин был авантюрным писателем —правда, мастером сюжета, но человеком, чьи книги лишены социального значения.

Значение каждого писателя определяется тем, как он действует на нас, какие чувства, мысли и поступки вызывают его книги, обогащают ли они нас знаниями, или прочитываются как забавный набор слов.

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей.

Эти цельные, привлекательные люди окружены свежим, благоухающим воздухом гриновской природы — совершенно реальной, берущей за сердце своим очарованием. Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным только человеку нищему духом. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого же глотка соленого и теплого воздуха морских побережий, сразу почувствует подлинность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских стран.

Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообразной жизни, полной риска, смелости и «чувства высокого», свойственного исследователям, мореплавателям и путешественникам. После рассказов Грина

хочется увидеть весь земной шар — не выдуманные Грином страны, а настоящие, подлинные, полные света, лесов, разноязычного шума гаваней, человеческих страстей и любви.

«Меня дразнит земля, — писал Грин. — Океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных уголков».

Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение — источник высоких и человечных страстей. Она не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом ее ценность, и в этом ценность невыразимого подчас словами, но ясного и могучего обаяния рассказов Грина.

Наше время объявило беспощадную борьбу ханжам, тупицам и лицемерам. Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Великое достигнуто, но впереди ждет еще более великое. Новые высокие и трудные задачи встают в близкой дали будущего, задачи создания нового человека, воспитания новых чувств и новых человеческих отношений, достойных социалистического века. Но чтобы бороться за это будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно, нужно воспитать в себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. Этим желанием был богат Грин, и он передает его нам в своих книгах.

Говорят об авантюрности сюжетов Грина. Это верно, но авантюрный сюжет у него — только скорлупа для более глубокого содержания. Нужно быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку.

Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но был еще и очень тонким психологом. Он писал о самопожертвовании, мужестве — героических чертах, заложенных в самых обыкновенных людях. Он писал о любви к труду, к своей про-

фессии, о неизученности и могуществе природы. Наконец, очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин.

Я мог бы привести здесь сотни отрывков из книг Грина, взволнующих каждого, не потерявшего способности волноваться перед зрелищем прекрасного, но читатель найдет их сам.

Грин говорил, что «вся земля, со всем, что на ней есть, дана нам для жизни, для признания этой жизни всюду, где она есть».

Грин — писатель, нужный нашему времени, ибо он вложил свой вклад в дело воспитания высоких чувств, без чего невозможно осуществление социалистического общества.

1939—1956

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Многие книги существуют для нас только как явления литературы. Но есть и другие, правда очень редкие, книги, — они живут в сознании, как события нашей жизни. Они неотделимы от нашего существования. Они становятся частью нас самих — частью наших дней, размышлений, радостей и печалей. Мы ощущаем их не как книги, а как большие, невыдуманные проявления жизни, — так же, как ощущаем любовь, разлуку, ежедневный труд. Таковы книги Алексея Толстого.

Первое впечатление от этих книг — чувство соприкосновения с зорким талантом — неистребимо. Раз появившись, оно занимает прочное место в нашем сознании.

Алексей Толстой не только крупнейший мастер нового, социалистического времени, но и носитель высоких традиций, идущих от Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького.

У Алексея Толстого — острый глаз, точный слух, живой и пленительный язык, редкое знание людей. Все это непрерывно обогащало и обогащает нас, его современников, и будет обогащать поколения людей, идущих нам на смену.

Алексей Толстой открыл мир людей многих эпох, начиная от «Смутного времени» и дней Петра Первого и кончая нашим социалистическим временем. Он открыл нам обширное богатство человеческих образов — всегда живых, всегда задевающих сердце, всегда вызывающих у нас беспокойство, смех и радость, печаль и негодование.

Писательский путь Толстого сложен, характерен для облика подлинного мастера. Это — путь живого и пытливого писателя с его удачами, бесстрашием, упорными поисками наилучших изобразительных средств, с неизбежными подчас ошибками, но ошибками талантливыми, бесследно тонущими в блеске неоспоримых побед. Это — прекрасный и трудный путь большой литературы, необходимой народу.

Юность Ал. Толстого совпала с периодом разорения и вырождения мелкопоместного дворянства. Первые книги Толстого «Заволжье», «Чудаки» и очень многие небольшие рассказы написаны об этих доживающих последние дни, растерянных чудаках-дворянах. Образ такого «чудака» Мишуки Налымова стал классическим.

Воспоминания детства наложили резкий отпечаток на творчество Толстого.

«Детство Никиты» написано Толстым с особым, неповторимым блеском и простотой.

Писательский размах Толстого так велик, Толстой так щедр, что, кажется, для него почти нет ничего невозможного в области литературы. Редкие писатели могут с таким совершенством касаться совершенно разных тем, как это делает Толстой. Здесь и история («Петр Первый», «День Петра», «Любовь — книга золотая»), и фантастические романы («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), и гражданская война («Хождение по мукам», «Гадюка», «Похождения Невзорова»), и детские сказки («Буратино»), и печальная судьба простых и самоотверженных русских женщин («Маша», «Под старыми липами»), и Запад («Древний путь», «Черное золото»), и еще множество интересных рассказов, окруженных воздухом ржаных полей, заглохших садов, многоводных рек.

Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами. Они остро чувствовали поэзию познания. Может быть, этому чувству они и были отчасти обязаны смелостью своих обобщений, дерзостью мысли, своими открытиями. Научный закон почти всегда извлекается из множества отдельных и подчас как будто очень далеких друг от друга фактов при помощи мощного творческого воображения. Оно создало и науку и литературу. И — на большой глубине — во многом совпадают между собой творческое воображение хотя бы Гершеля, открывшего величественные законы звездного неба, и творческое воображение Гете, создавшего «Фауста».

Истоки творчества — и научного и литературного — во многом одинаковы. Объект изучения — жизнь во всем ее многообразии — один и тот же и у науки и у литературы.

Настоящие ученые и писатели — кровные братья. Они одинаково знают, что прекрасное содержание жизни равно проявляется как в науке, так и в искусстве.

Язык Толстого блестящ, народен, полон лаконичной выразительности. Пожалуй, ни у одного из наших современных писателей нет такого органического чувства русского языка, как у Толстого. Он владеет этим великолепным языком так же легко, как люди владеют своими пальцами, своим голосом.

Толстой изучал этот язык там, где его только и можно изучить, — у самого народа, у самых богатых истоков этого языка.

Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству, к фольклору, и его громадная, недавно начатая работа по собиранию воедино всего фольклора народа Советского Союза — работа, имеющая, помимо всего, и большое чисто научное значение.

1939

РУВИМ ФРАЕРМАН

Батумская зима 1923 года ничем не отличалась от обычных тамошних зим. Как всегда, лил, почти не переставая, теплый ливень. Бушевало море. Над горами клубился пар.

На раскаленных мангалах шипела баранина. Едко пахло водорослями — прибой намывал их вдоль берега бурыми валами. Из духанов сочился запах кислого вина. Ветер разносил его вдоль дощатых домов, обитых жестью.

Дожди шли с запада. Поэтому стены батумских домов, выходившие на запад, обивали жестью, чтобы они не гнили.

Вода хлестала из водосточных труб без перерыва по нескольку суток. Шум этой воды был для Батума настолько привычным, что его уже перестали замечать.

В такую вот зиму я познакомился в Батуме с писателем Фраерманом. Я написал слово «писатель» и вспомнил, что тогда ни Фраерман, ни я еще не были писателями. В то время мы только мечтали о писательстве, как о чем-то заманчивом и, конечно, недостижимом.

Я работал тогда в Батуме в морской газете «Маяк» и жил в так называемом «бордингаузе» — гостинице для моряков, отставших от своих пароходов.

Я часто встречал на улицах Батума низенького, очень быстрого человека со смеющимися глазами. Он бегал по городу в старом черном пальто. Полы пальто развевались от морского ветра, а карманы были набиты мандаринами. Человек этот всегда носил с собой зонтик, но никогда его не раскрывал. Он просто забывал это делать.

Я не знал, кто этот человек, но он нравился мне своей живостью и прищуренными веселыми глазами. В них, казалось, все время перемигивались всякие интересные и смехотворные истории.

Вскоре я узнал, что это — батумский корреспондент Российского телеграфного агентства — РОСТА и зовут его Рувим Исаевич Фраерман. Узнал и удивился потому, что Фраерман был гораздо больше похож на поэта, чем на журналиста.

Знакомство произошло в духане с несколько странным названием «Зеленая кефаль». (Каких только названий не было тогда у духанов, начиная от «Симпатичного друга» и кончая «Не заходи, пожалуйста».)

Был вечер. Одинокая электрическая лампочка то наливалась скучным огнем, то умирала, распространяя желтоватый сумрак.

За одним из столиков сидел Фраерман с известным всему городу вздорным и желчным репортером Соловейчиком.

Тогда в духанах полагалось сначала бесплатно пробовать все сорта вина, а потом уже, выбрав вино, заказать одну-две бутылки «за наличный расчет» и выпить их с поджаренным сыром сулугуни.

Хозяин духана поставил на столик перед Соловейчиком и Фраерманом закуску и два крошечных персидских стаканчика, похожих на медицинские банки. Из таких стаканчиков в духанах всегда давали пробовать вино.

Желчный Соловейчик взял стаканчик и долго, с презрением рассматривал его на вытянутой руке.

— Хозяин, — сказал он, наконец, угрюмым басом, — дайте мне микроскоп, чтобы я мог рассмотреть, стакан это или наперсток.

После этих слов события в духане начали разворачиваться, как писали в старину, с головокружительной быстротой.

Хозяин вышел из-за стойки. Лицо его налилось кровью. В глазах сверкал зловещий огонь. Он медленно подошел к Соловейчику и спросил вкрадчивым, но мрачным голосом:

— Как сказал? Микроскопи?

Соловейчик не успел ответить.

— Нет для тебя вина! — закричал страшным голосом хозяин, схватил за угол скатерть и сдернул ее широким жестом на пол. — Нет! И не будет! Уходи, пожалуйста!

Бутылки, тарелки, жареный сулугуни — все полетело на пол. Осколки со звоном разлетелись по всему духану. За перегородкой вскрикнула испуганная женщина, а на улице зарыдал, икая, осел.

Посетители вскочили, зашумели, и только один Фраерман начал заразительно хохотать.

Он смеялся так искренне и простодушно, что постепенно развеселил и всех посетителей духана. А потом и сам хозяин, махнув рукой, заулыбался, поставил перед Фраерманом бутылку лучшего вина — изабеллы — и сказал примирительно Соловейчику:

— Зачем ругаешься? Скажи по-человечески. Разве русского языка не знаешь?

Я познакомился после этого случая с Фраерманом, и мы быстро сдружились. Да и трудно было не подружиться с ним — человеком открытой души, готовым пожертвовать всем ради дружбы.

Нас объединила любовь к поэзии и литературе. Мы просиживали ночи напролет в моей тесной каморке и читали стихи. За разбитым окном шумело во мраке море, крысы упорно прогрызали пол, порой вся наша еда за день состояла из жидкого чая и куска чурека, но жизнь была прекрасна. Чудесная действительность дополнялась строфами Пушкина и Лермонтова, Блока и Багрицкого (его стихи тогда

впервые попали в Батум из Одессы), Тютчева и Маяковского.

Мир для нас существовал, как поэзия, а поэзия — как мир.

Молодые дни революции шумели вокруг, и можно было петь от радости перед зрелищем счастливой дали, куда мы шли вместе со всей страной.

Фраерман недавно приехал с Дальнего Востока, из Якутии. Там он сражался в партизанском отряде против японцев. Длинные батумские ночи были заполнены его рассказами о боях за Николаевск-на-Амуре, об Охотском море, Шантарских островах, буранах, гиляках и тайге.

В Батуме Фраерман начал писать свою первую повесть о Дальнем Востоке. Называлась она «На Амуре». Потом, после многих авторских придирчивых исправлений, она появилась в печати под названием «Васька-гиляк». Тогда же в Батуме Фраерман начал писать свой «Буран» — рассказ о человеке в гражданской войне, повествование, полное свежих красок и отмеченное писательской зоркостью.

Удивительной казалась любовь Фраермана к Дальнему Востоку, его способность ощущать этот край как свою родину. Фраерман родился и вырос в Белоруссии, в городе Могилеве-на-Днепре, и его юношеские впечатления были далеки от дальневосточного своеобразия и размаха — размаха во всем, начиная от людей и кончая пространствами природы.

Подавляющее большинство повестей и рассказов Фраермана написаны о Дальнем Востоке. Их с полным основанием можно назвать своего рода энциклопедией этой богатой и во многих своих частях еще неведомой нам области Советского Союза.

Книги Фраермана — совсем не краеведческие. Обычно, книги по краеведению отличаются излишней описательностью. За чертами быта жителей, за перечислением природных богатств края и всех прочих его особенностей исчезает то, что является главным для познания края — чувство края, как целого. Исчезает то особое поэтическое содержание, которое присуще каждой области страны.

Поэзия величавого Амура совершенно иная, чем поэзия Волги, а поэзия тихоокеанских берегов очень разнится от поэзии Черноморья. Поэзия тайги, основанная на ощущении непроходимых девственных лесных пространств, безлюдия и опасности, конечно, иная, чем поэзия среднерусского леса, где блеск и шум листвы никогда не вызывает чувства затерянности среди природы и одиночества.

Книги Фраермана замечательны тем, что очень точно передают поэзию Дальнего Востока. Можно открыть наугад любую из его дальневосточных повестей — «Никичен», «Ваську-гиляка», «Шпиона» или «Собаку Динго» и почти на каждой странице найти отблески этой поэзии. Вот отрывок из «Никичен».

«Никичен вышла из тайги. Ветер пахнул ей в лицо, высушил росу на волосах, зашуршал под ногами в тонкой траве. Кончился лес. Его запах и тишина остались за спиной Никичен. Только одна широкая лиственница, словно не желая уступать морю, росла у края гальки и, корявая от бурь, качала раздвоенной вершиной. На самой верхушке сидел, нахохлившись, орел-рыболов. Никичен тихо обошла дерево, чтобы не потревожить птицу. Кучи наплавного леса, гниющих водорослей и дохлой рыбы обозначали границу высоких приливов. Пар струился над ними. Пахло влажным песком. Море было мелко и бледно. Далеко из воды торчали скалы. Над ними серыми стаями носились кулики. Между камнями ворочался прибой, качая листья морской капусты. Его шум окутал Никичен. Она слушала. Раннее солнце отражалось в ее глазах. Никичен взмахнула арканом, будто хотела накинуть его на эту тихую зыбь, и сказала: «Капсе дагор, Ламское море!» (Здравствуй, Ламское море!)»

Прекрасны и полны свежести картины леса, рек, сопок, даже отдельных цветов-саранок — в «Собаке Динго».

Весь край в рассказах Фраермана как бы появляется из утреннего тумана и торжественно расцветает под солнцем. И, закрывая книгу, мы чувствуем себя наполненными поэзией Дальнего Востока.

Но главное в книгах Фраермана — это люди. Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока — о тунгусах, гиляках, нанайцах, корейцах — с такой дружеской теплотой, как Фраерман. Он вместе с ними воевал в партизанских отрядах, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька-гиляк, и Никичен, и Олешек, и мальчик Ти-Суеви и, наконец, Филька — все эти кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинства и справедливости.

Если до Фраермана существовал только один образ замечательного дальневосточного следопыта и человека — Дерсу Узала из книги Арсеньева об Уссурийском крае, то сейчас Фраерман утвердил этот обаятельный и сильный образ в нашей литературе.

Конечно, Дальний Восток дал Фраерману только материал, пользуясь которым он раскрывает свою писательскую сущность, высказывает свои мысли о людях, о будущем и передает читателям свою глубочайшую веру в то, что свобода и любовь к человеку — это главное, к чему мы должны всегда стремиться. Стремиться на том, как будто коротком, но значительном отрезке времени, который мы зовем «своей жизнью».

Стремление к усовершенствованию самого себя, к простоте человеческих отношений, к пониманию богатств мира, к социальной справедливости проходит через все книги Фраермана и выражено им в словах простых и искренних.

Выражение «добрый талант» имеет прямое отношение к Фраерману. Это — талант добрый и чистый. Поэтому Фраерману удалось с особой бережностью прикоснуться к таким сторонам жизни, как первая юношеская любовь.

Книга Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» — это полная света, прозрачная поэма о любви между девочкой и мальчиком. Такая повесть могла быть написана только хорошим психологом.

Поэтичность этой вещи такова, что описание самых реальных вещей сопровождается ощущением сказочности.

Фраерман не столько прозаик, сколько поэт. Это определяет многое как в его жизни, так и в творчестве.

Сила воздействия Фраермана и заключена главным образом в этом его поэтическом видении мира, в том, что жизнь предстает перед нами на страницах его книг в своей прекрасной сущности. Фраермана с полным основанием можно причислить к представителям социалистического романтизма.

Может быть, поэтому Фраерман иной раз предпочитает писать для юношества, а не для взрослых. Непосредственное юношеское сердце ему ближе, чем умудренное опытом сердце взрослого человека.

Как-то так случилось, что с 1923 года жизнь Фраермана довольно тесно переплеталась с моей и почти весь его писательский путь прошел у меня на глазах. В его присутствии жизнь всегда оборачивалась к вам своей привлекательной стороной. Даже если бы Фраерман не написал ни одной книги, то одного общения с ним было бы достаточно, чтобы погрузиться в веселый и неспокойный мир его мыслей и образов, рассказов и увлечений.

Сила рассказов Фраермана усиливается его тонким юмором. Этот юмор то трогателен (как в рассказе «Писатели приехали»), то резко подчеркивает значительность содержания (как в рассказе «Путешественники вышли из города»). Но кроме юмора в своих книгах, Фраерман еще удивительный мастер юмора в самой жизни, в своих устных рассказах. Он широко владеет даром, который встречается не так уж часто,— способностью относиться с юмором к самому себе.

Самая глубокая, самая напряженная деятельность человека может и даже должна сопровождаться живым юмором. Отсутствие юмора свидетельствует не только о равнодушии ко всему окружающему, но и об известной умственной тупости.

В жизни каждого писателя бывают годы спокойной работы, но бывают иногда годы, похожие на ослепительный взрыв творчества. Одним из таких подъемов,

таких «взрывов» в жизни Фраермана и ряда других, родственных ему по духу писателей, было начало тридцатых годов. То были годы шумных споров, напряженной работы, нашей писательской молодости и, пожалуй, наибольших писательских дерзаний.

Сюжеты, темы, выдумки и наблюдения бродили в нас, как молодое вино. Стоило сойтись за банкой свинобобовых консервов и кружкой чая Гайдару, Фраерману и Роскину, как тотчас же возникало поразительное соревнование эпиграмм, рассказов, неожиданных мыслей, поражавших своей щедростью и свежестью. Смех порой не затихал до утра. Литературные планы возникали внезапно, тотчас обсуждались, приобретали порой фантастические очертания, но почти всегда выполнялись.

Тогда уже все мы вошли в широкое русло литературной жизни, уже выпускали книги, но жили все так же, по-студенчески, и временами Гайдар или Роскин, или я гораздо сильнее, чем своими напечатанными рассказами, гордились тем, что нам удалось незаметно, не разбудив бабушку Фраермана, вытащить ночью из буфета последнюю припрятанную ею банку консервов и съесть их с невероятной быстротой. Это было, конечно, своего рода игрой, так как бабушка — человек неслыханной доброты — только делала вид, что ничего не замечает.

То были шумные и веселые сборища, но никто из нас не мог бы допустить и мысли, что они возможны без бабушки,— она вносила в них ласковость, теплоту и порой рассказывала удивительные истории из своей жизни, прошедшей в степях Казахстана, на Амуре и во Владивостоке.

Гайдар всегда приходил с новыми шутливыми стихами. Однажды он написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах Детского издательства. Поэма эта затерялась, забылась, но я помню веселые строки, посвященные Фраерману:

В небесах над всей вселенной,
Вечной жалостью томим
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим...

Это была дружная семья — Гайдар, Роскин, Фраерман, Лоскутов. Их связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье.

Это было содружество людей, преданных без страха и упрека своему писательскому делу. В общении выковывалась общность взглядов, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но всегда юных. И в годы испытаний, в годы войны все, кто входил в эту писательскую семью своим мужеством, а иные и героической смертью доказали силу своего духа.

Вторая полоса жизни Фраермана после Дальнего Востока была накрепко связана со Средней Россией.

Фраерман — человек, склонный к скитальчеству, исходивший пешком и изъездивший почти всю Россию, нашел, наконец, свою настоящую родину — Мещорский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани.

Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, поемными приокскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями, и печальным блеском звезд над спящими деревушками, с ее простодушными и талантливыми людьми — лесниками, паромщиками, колхозниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками. Глубокая и незаметная на первый взгляд прелесть этой песчаной лесной стороны совершенно покорила Фраермана.

С 1932 года каждое лето, осень, а иногда и часть зимы Фраерман проводит в Мещорском крае, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце девятнадцатого века гравером и художником Пожалостиным.

Постепенно Солотча стала второй родиной и для друзей Фраермана. Все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче, и не было года, когда бы туда, особенно по осени, не приезжали на рыбную ловлю, на охоту или работать над книгами и Гайдар, и Роскин, и я, и Георгий Шторм, и Василий Гроссман, и многие другие.

Старый дом и все окрестности Солотчи полны для нас особого обаяния. Здесь были написаны многие

книги, здесь постоянно случались всяческие веселые истории, здесь в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью. Нигде мы так тесно не соприкасались с самой гущей народной жизни и не были так непосредственно связаны с природой, как там.

Ночевки в палатке вплоть до ноября на глухих озерах, походы на заповедные реки, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой, — все это погружало нас в мир народной поэзии, почти в сказку и вместе с тем в мир прекрасной реальности.

Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещорскому краю, но ни он, ни я не можем считать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывал перед нами все новые красоты и становился все интереснее — вместе с движением нашего времени.

Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то в избах, то на сеновалах, то просто на земле на берегах Мещорских озер и рек, в лесных чащах, сколько было всяких случаев — то опасных, то трагических, то смешных, — сколько мы наслышались рассказов и небылиц, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было споров и смеха, и осенних ночей, когда особенно легко писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола.

Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас — созданию счастливого и разумного человеческого общества.

1948

ДЯДЯ ГИЛЯЙ

(В. А. Гиляровский)

Мы часто говорим «времена Чехова», но вкладываем в эти слова преимущественно наше книжное умозрительное представление. Самый воздух этого недавнего времени, его окраска, его характер, слагавшийся из неисчислимых черт, все же потерян для нас. Наше поколение уже не может ощутить чеховское время, как нечто совершенно понятное и органически цельное.

В качестве свидетельства о нем для нас остались история, искусство, газеты и воспоминания. И немногие его современники.

Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с его современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир Александрович Гиляровский — человек неукротимой энергии и неудержимой доброты.

Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его характера. Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком относится к Гиляровскому.

Он был живописен во всем — в своей биографии, в манере говорить, в ребячливости, во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости.

Это был веселый труженик. Всю жизнь он работал (он переменил много профессий — от волжского бурлака до актера и писателя), но в любую работу он всегда вносил настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль.

Не было, кажется, в окружающей жизни ни одного явления, которое не казалось бы ему заслуживающим пристального внимания.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испробовать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резинъяции и разумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги.

По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю.

Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой натурой». Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятная — сивоусый,

с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане, — он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил «розыгрыши» (вспомните его замечательный «розыгрыш» своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин — делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — ловить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрицкий — ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом.

Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы.

Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.

У Гиляровского в жизни было много случаев, сделавших его в нашем представлении человеком просто легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским

дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин, и многие писатели, актеры и художники.

Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев — множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни.

Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека, который один понимал всю глубину хитрованского героя, несчастий и опущенности.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей.

Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитровские трущобы. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно смиряло даже самые жестокие сердца.

Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для «холодных» сапожников у Савеловского вокзала до знаменитого Гусева у Калужской заставы, где лучшая в Москве трактирная машина-оркестрион гремела, бряцая литаврами, свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец, не только в области исторических событий, но и летописец быта и уклада.

Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт

пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его можно назвать «комментатором своего времени».

К сожалению, у нас таких писателей почти не было. Да и сейчас их нет. А они делали и делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца девятнадцатого и начала двадцатого века без Гиляровского, как невозможно ее представить без Художественного театра, Шаляпина и Третьяковской галереи.

Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был своего рода средоточием Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) редкий музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо бережно сохранить его, как образчик московского житейского обихода девятнадцатого века.

Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы. Это — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный ток.

Не важно — много ли они, или мало написали. Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и общественная жизнь, что вся современная им история страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Александрович Гиляровский — поэт, писатель, знаток Москвы и России, человек большого сердца, чистейший образец талантливости нашего народа.

1955

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

В одной из сказок Андерсена засохший розовый куст покрывается среди жестокой зимы белыми душистыми цветами. Потому что к нему прикоснулась добрая человеческая рука.

Эта сказка могла бы быть написана о Фридрихе Шиллере. «Он обладал даром, — сказал о Шиллере Гете, — облагораживать все, к чему прикасался».

У меня на столе лежит старая книга — биография Шиллера. На первой странице этой книги чьей-то дрожащей, очевидно старческой, рукой написано: «Чудный благородный человек!»

Когда я смотрю на эту надпись, я не могу избавиться от мысли, что тот, кто написал эти простые и верные слова о великом немецком поэте, наверное, оплакивал его.

Я невольно ищу на страницах следы слез. Но книге больше семидесяти лет. Слезы давно высохли, а их следы — выветрились. Их заменили в наших сердцах благоговение к поэту и горечь за него, умершего так рано, измученного жестокостью и самомнительной глупостью «старой доброй Германии» — этого «питомника рабов», как выразился один из друзей Шиллера.

Никто из биографов Шиллера даже не пытается объяснить, каким чудом из среды скучного немецкого

мещанства, из образцовой казармы наглого герцога Виртембергского вышел этот блистательный, смелый и пленительно простой поэт. Он по полному праву стал в ряды тех людей, которых мы называем «украшением человечества».

Шиллер учился в военной школе с военным режимом. За малейшее проявление живой мысли учеников этой школы карали заключением в крепость на несколько лет.

И вот там, в этой тюрьме, он написал свою первую бунтарскую пьесу — «Разбойники».

Он проклинал тиранов, он верил в спасительность народного восстания, он призывал к нему во имя свободы и достоинства человека.

Недаром Национальное собрание Франции приняло его в 1792 году в число французских граждан. Декрет об этом был подписан Дантоном.

Во Франции даже не знали толком его имени, — эта великая честь была оказана автору «Разбойников» господину «Жиллю». Понадобилось несколько лет, пока друзья поэта догадались, что таинственный «господин Жилль» — это Шиллер.

«Разбойники» были написаны в темной каморке старого казарменного сторожа. Там Шиллер прятался от ястребиных глаз своих начальников.

Удивительна все же судьба многих первых книг. «Разбойники» написаны где-то под лестницей, прекрасные стихи Бернса — в шотландской хижине с такими узкими окнами, что сквозь них едва просачивался свет, многие рассказы Чехова — на подоконнике в бедной московской квартире, сказки Андерсена — в дешевых номерах провинциальных гостиниц.

Но эти убогие жилища озарены в нашем представлении светом молодости и таланта и кажутся нам великолепнее самых красивых и величественных дворцовых зал.

«Разбойники» прокатились по Европе, как внезапный удар грома. На затхлую Германию дохнуло ветром. Подходила гроза.

Шиллер — глашатай этой грозы, глашатай «бури и натиска», назначенный после окончания школы

полковым лекарем, вынужден был бежать из Виртемберга, чтобы не попасть в крепость. Герцог был разгневан появлением дерзкой пьесы.

С тех пор началась скитальческая и трудная жизнь Шиллера. Он был штатным театральным драматургом, издателем журнала, преподавателем истории, но прежде всего — поэтом, драматургом и человеком огромного личного обаяния.

По словам его современников, духовная чистота Шиллера, романтическая его настроенность, сила его мысли, его доброта и наполненность поэзией — все это отражалось даже на его внешности.

Это был высокий и очень худой, бледный человек со светлыми каштановыми волосами, с задумчивым взглядом, с ловкими изящными движениями и открытой улыбкой.

Но главное его свойство была простота. Он был не только прост со всеми, но временами застенчив.

Очевидно, поэтому его так самоотверженно любили друзья и так нежно любили женщины.

Даже мимолетное появление Шиллера преображало людей и весь уклад их размеренной жизни. Он всюду вносил с собой беспокойство ума. Он всюду видел поэзию, какой бы скромной на вид она ни была, и умел незаметно втягивать людей в круг поэтических ощущений и в мир богатого своего воображения.

Он полагал, что искусство — это средство воспитать человека так, чтобы он стал подлинным гражданином «государства разума».

После «Разбойников» он написал еще несколько пьес: «Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Валленштейн», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» и «Вильгельм Телль».

Все эти пьесы — шедевры драматургического искусства как по напряженному действию, так и по глубине мысли.

«Коварство и любовь» — беспощадный удар по тирании и сопутствующим ей мерзостям жизни. И вместе с тем это трогательный рассказ о гибели прекрасной девушки.

Эта пьеса до наших дней не сходит со сцены театров всего мира. У нас она была особенно популярна во времена гражданской войны.

Я был однажды на представлении «Коварства и любви» в Киеве — на второй или третий день после занятия города советскими войсками.

В зрительном зале сидели вооруженные, полуголодные, пахнущие порохом красноармейцы. Накал среди зрителей достиг такой силы, что актер, игравший негодяя президента, боялся, как бы из зрительного зала по нему не начали стрелять.

У него, как оказалось, были веские основания для этого. В задних рядах кто-то крикнул: «Ну, погоди ж ты, гад, паразит!» Щелкнул затвор. В зрительном зале тотчас началась какая-то невнятная и упорная суталока, — это товарищи отнимали винтовку у бойца, впавшего в неистовый гнев.

Я видел «Коварство и любовь» много раз. Особенно хорошо шла эта пьеса в Москве в театре Вахтангова. Ее сопровождала удивительная музыка Бетховена (Бетховен написал финал Девятой симфонии на текст шиллеровской оды «К радости») и великолепное оформление — зима в немецком старом городке с облетелыми ивами, со снегом, похожим на старое серебро, с огнем свечей в бюргерских домах.

Два таких великих немца, как Шиллер и Гете, не могли не встретиться.

Шиллер переехал в Веймар, познакомился там с Гете, и вскоре это знакомство перешло в дружбу. Гете говорил, что после встречи с Шиллером «все в нем радостно распустилось и расцвело». А знаменитый немецкий ученый Гумбольдт, знавший и Гете и Шиллера, утверждал, что влияние этих двух великих людей друг на друга было прекрасно и плодотворно.

Когда Шиллер тяжело заболел и стало ясно, что смерть близка, то это обстоятельство скрыли от Гете. «Великий старец» был болен, и домашние боялись его волновать. Но Гете догадывался. Он боялся спросить окружающих о состоянии Шиллера, чтобы оставить себе хоть какую-нибудь надежду на выздоровление

друга. Он тихо плакал напролет несколько ночей и никого к себе не пускал.

О смерти Шиллера он узнал, услышав рыдания своей старой служанки. «Я был уверен, — писал потом Гете, — что сам умру. Я потерял половину своей жизни».

Недаром Гете и Шиллеру поставлен один общий памятник. На постаменте они стоят рядом.

Советские солдаты, как только освободили Веймар от фашистов в 1945 году, еще пыльные и истомленные боем, осыпали цветами могилы Гете и Шиллера, как бы подтвердив этим, что в стране, где жили два великих немецких поэта, никому не будет позволено разбойничать и гасить человеческий разум.

1955

ОСКАР УАЙЛЬД

В ноябре 1895 года в Реддингскую каторжную тюрьму был доставлен из Лондона в ручных кандалах знаменитый английский писатель Оскар Уайльд. Он был приговорен к нескольким годам заключения за «нарушение нравственности».

На вокзале в Реддинге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал впервые в жизни. Толпа хохотала.

До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания. До тех пор он был блестящим лондонским денди, бездельником и гениальным говоруном. Он выходил гулять на Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался так, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и надменно смотрел на мир из-под полуприкрытых век, почти так, как Уайльд.

Уайльд не хотел замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней.

Он любил все искусственное. Оранжереи были ему милее лесов, духи — милее запаха осенней земли. Он недолюбливал природу. Она казалась ему грубой и утомительной. Он играл с жизнью, как с игрушкой. Все, даже острая человеческая мысль, существовало для него как повод для наслаждения.

В Лондоне около дома, где жил Уайльд, стоял нищий. Его лохмотья раздражали Уайльда. Он вызвал лучшего в Лондоне портного и заказал ему для нищего костюм из тонкой, дорогой ткани. Когда костюм был готов, Уайльд сам наметил мелом места, где должны быть прорехи. С тех пор под окнами Уайльда стоял старик в живописном и дорогом рубище. Нищий перестал оскорблять вкус Уайльда. «Даже бедность должна быть красивой».

Так жил Уайльд — надменный человек, погруженный в книги и созерцание прекрасных вещей. По вечерам он появлялся в клубах и салонах, и это были лучшие часы его жизни. Он преображался. Его обрюзгшее лицо становилось молодым и бледнело.

Он говорил. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний.

Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Уходя, он забывал о рассказанном. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному. Он предоставлял друзьям записывать все, что они слышали от него, сам же писал очень мало. Едва ли сотая часть его рассказов была записана им впоследствии. Уайльд был ленив и щедр.

«В истории всего человечества, — писал об Уайльде его биограф, — никогда еще не было такого замечательного собеседника».

После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдание стали уде-

лом этого человека и уже не покидали его до самой смерти.

В тюремной камере Уайльд, наконец, понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».

За год до этого он высокомерно удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал:

«Бедняки мудры. Они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего — мне подадут бедные».

Год назад он говорил, что выше всего в жизни искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе:

«Много прекрасных людей — рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих — ничего не знают об искусстве, и, несмотря на это, они — истинная соль земли».

Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы — полевую гвоздику или ромашку, — прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему слишком крикливым. Теперь он писал:

«Я чувствую стремление к простому, первобытному, к морю, которое для меня такая же мать, как земля».

В тюрьме он мучительно завидовал натуралисту Линнею, который упал на колени и заплакал от радости, когда впервые увидел обширные луга нагорья, желтые от дрока.

Нужна была каторга, нужно было смотреть в лицо смертника, видеть, как избивают сумасшедших, месяцами, сдирая ногти, расщипывать по волокнам гнилые канаты, бессмысленно перетаскивать с места на место

тяжелые камни, потерять друзей, потерять блестящее прошлое, чтобы понять, наконец, что общественный строй Англии «чудовищен и несправедлив», чтобы окончить свои записки такими словами:

«В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где смогу я укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке, и ветром завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. В великих водах очистит меня природа и исцелит горькими травами».

В тюрьме Уайльд впервые в жизни узнал, что значит товарищество. «Никогда в жизни я не испытал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей — арестантов».

Из тюрьмы Уайльд вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.

После тюрьмы Уйльд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи, пожалуй, стоят всего написанного Уайльдом раньше.

В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослыми сажают в английские тюрьмы, в другой — о дикости тюремных нравов.

Эти статьи ставят Уайльда в ряды лучших людей. Уайльд впервые выступил как обличитель.

Одна из статей написана как будто по незначительному поводу: надзиратель Реддингской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.

«Жестокость, которой подвергаются и днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятна. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Реддингской

тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить на целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей».

Так писал Уайльд в то время, и совершенно ясно, что наравне с остальными арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого он часто видел рыдающим в одиночной камере.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Уайльд умер в добровольном изгнании в Париже.

Он умер в нищете, забытый Англией, Лондоном и друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.

1937

СКАЗОЧНИК

(Христиан Андерсен)

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «Снегурка», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.

Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.

Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них средневековый мастер Клаус Берг вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот — величественный и грозный — наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие

вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели тюльпаны. Их запах сливался с перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.

В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком — он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое.

Но мальчик не сердился на старого кота. Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шесть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя богаделкам. А те только ахали и шептали между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил, — на его умении радоваться всему

интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам является в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или даже больше — легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных вещей.

Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки — такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки, — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.

Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это

никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь — до самой смерти.

На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста, и до пожилых лет писал не совсем уверенно и делал орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей на другом конце земного шара находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных

халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного солдата.

Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на пенсию.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек, — любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих театральных кукол (у него уже был свой собственный домашний театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Уменье шить пригодилось впоследствии Андерсену, как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись — ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в столицу Копенгаген — завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые прелестные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй. Но они лежали под спудом. Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник, — будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий

ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную форму, свойственную елочным украшениям.

Что говорить! Приморская зима, ковры снега, треск огня в печах и сияние зимней ночи — все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика — молодая женщина — сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

Я сохранил тебя в своей груди,
О, роза нежная моих воспоминаний...

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам, — очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Лунд, в которую он был влюблен — все звали ее «ослепительной Дженни» — Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они сто́ят по сравнению с этой благодатной, душистой весной.

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника и бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт «божьей милостью», был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь», — говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.

Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. Он вошел в «Рабочий союз» и пер-

вый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам, —
Из их среды почивший вышел сам...

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале, — говорил о себе под старость Андерсен, — так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя:

«Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот — на двадцать третьем году жизни — вышла первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполняли его ощущением собственной силы.

В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы: «Дания» и «Каледония». Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал

свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, — то дымили лондонские заводы и доки.

— У нас полон дом детей, — сказал Диккенс Андерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек — сыновей и дочерей Диккенса — вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной.

Однажды Андерсен проезжал в дилижансе по Италии.

Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек. Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек.

Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о сказочных принцессах. Он увлекся. Он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы.

Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсена. И по-своему счастлива.

Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику.

Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.

Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с душой, трепещущей от ожидания любви.

Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.

Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами. Фыркали лошади, и низкие итальянские созвездия пылали над головой. И Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импро-

визатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

1955

ИВАН БУНИН

Во Франции умер замечательный русский писатель — писатель классической силы и простоты — Иван Алексеевич Бунин.

Он умер под чужим небом в ненужном и горьком изгнании, которое он сам создал для себя, в непереносимой тоске по России и своему народу.

Кто знает, сколько отчаяния от этой разлуки перенес наедине с собой этот внешне спокойный и сдержанный человек.

Не будем судить Бунина. Не стоит вспоминать его роковую ошибку. Не это важно сейчас.

Важно то, что он наш, что мы вернули его нашему народу, нашей русской литературе, и отныне он займет в ней то высокое место, которое ему принадлежит по праву.

Меня просили сказать вступительное слово на первом вечере памяти Бунина. Я начал готовиться к нему, но открыл наугад одну из книг Бунина — и все пропало! Я зачитался, и у меня почти не осталось времени, чтобы набросать на бумаге заметки о Бунине.

Я забыл обо всем. Такова сила бунинского таланта, бунинского слова, сила его беспощадно-прекрасного и безукоризненного мастерства.

Он был суров потому, что полагал художественную правду превыше всего.

Как часто и глубоко мы ошибаемся в своих оценках писателей из-за неистребимой склонности приклеивать на каждого писателя ярлыки. Чехов почти всю жизнь прожил с ярлыком «пессимиста» и «певца сумерек», о Бунине всегда говорили как о «холодном мастере» и «бесстрастном парнасце».

Какими жалкими кажутся все эти наклейки, когда читаешь книги Бунина и постепенно открываешь за этим внешним бесстрастием огромное человеческое сердце, впитавшее в себя еще недавнее черное горе русской деревни, ее сирую в то время и жестокую долю.

Не дольше, как сегодня, я (не помню уже в который раз) перечитал рассказы Бунина «Худая трава» и «Илья-пророк».

Каждый из этих рассказов, говоря словами самого Бунина, полосонул меня ледяной бритвой по сердцу.

Мало найдется в нашей литературе таких щемящих рассказов, полных скрытой любви к простому человеку. И не только любви, но и полного понимания, полного проникновения в его мысли и сердце.

Человек должен быть человечен не только в своей радости, но и в страдании. Это хорошо знал Бунин. Он мог бы повторить крик английского писателя Оскара Уайльда, раздавшийся из королевской каторжной тюрьмы:

«Где страдание — там святая земля!»

Сегодня же — тоже наугад — я прочел стихи Бунина «Плачь ночью». По-моему, немногие стихи в мировой поэзии передают с такой томительной силой очистительную моральную силу страдания:

Плакала ночью вдова.
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец сосед, прижимая к глазам рукава.
Звезды светили, и плакал в закуте козленок.

Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого.
Звезды слезами текут с небосклона ночного,
Плачет господь, рукава прижимая к очам.

Бунин дошел, особенно в своей автобиографической книге «Жизнь Арсеньева», до того предела в области прозы, о котором говорили Чехов и Лев Толстой — до предела, когда проза сливается в одно органическое неразделимое целое с поэзией, когда нельзя уже отличить поэзию от прозы и каждое слово ложится на душу, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк Бунина о своей матери, о навсегда затерянной ее могиле, строк, написанных человеком, чьи дни на земле были уже по существу сочтены, чтобы понять силу любви, нашедшей единственно возможное и единственно нужное выражение.

Что-то почти библейское по скупости и мощи слов заключено в этих строках.

Бунина большинство знает главным образом как прозаика.

Но как поэт он стоит на уровне своей прозы. У него много превосходных стихов.

Стихи эти, равно как и проза Бунина, говорят о необыкновенной его способности перевоплощаться, если можно так выразиться, во все то, о чем он пишет.

Почти мгновенно он схватывает и закрепляет в слове те черты людей и пейзажа, которые с особой точностью передают сущность того, о чем Бунин пишет.

Да, Бунин суров, почти безжалостен. Но вместе с тем он пишет о любви с огромной силой. Для него любовь гораздо шире и богаче, чем обычное представление о ней.

Для него любовь — это приобщение ко всей красоте и ко всем сложностям мира. Для него — это ночи, дни, небо, беспредельный шум океана, книги и размышления — одним словом, это все, что существует вокруг.

Пейзаж Бунина так точен, богат, так географически разнообразен и вместе с тем так полон лирической силы, что говорить о нем вскользь нет возможности. Эта тема требует особого разговора.

Бунин великолепно, с полным совершенством владел русским языком. Он его знал так, как может знать лишь человек, бесконечно любящий свою страну.

Язык Бунина прост, даже временами скуп, очень точен, но вместе с тем живописен и богат в звуковом отношении, — от звенящей медью торжественности до прозрачности льющейся родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительной мягкости, от легкого напева до медленных раскатов грома.

В области языка Бунин мастер почти непревзойденный.

Как каждый большой писатель, Бунин много думал о счастье. Ждал его, искал и когда находил, то щедро делился им с людьми.

В этом смысле очень характерны две его строфы, которыми я и закончу свои слова о Бунине:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано...

1956

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Люди, работающие в любых областях, заметно делятся на три категории — на тех, кто у́же своей профессии, тех, кто точно входит в ее рамки и, наконец, на тех, кто значительно шире своей профессии. Эти последние обыкновенно бывают людьми беспокойными и кипучими. Они — настоящие созидатели.

Александр Петрович Довженко был значительно шире своей профессии режиссера кино и сценариста. Режиссура была только одним из обликов этого удивительного художника, мыслителя и спорщика.

В жизни не было ничего, что бы его не интересовало, — от глубоких психологических сдвигов в нашем обществе до наилучшего способа кладки печей и от анализа актерских приемов Чаплина до происхождения песни «Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте, хлопцы, спать».

На все у него были свои мысли, требовавшие в силу неукротимого темперамента Довженко немедленного воплощения в жизнь.

Если бы дети могли понимать до конца разговоры взрослых, то они, конечно, считали бы Довженко настоящим чародеем. Потому что, когда бы он ни появлялся, он всякий раз приносил с собой много не только новых мыслей, но и поразительных рассказов. Слу-

шать его можно было часами, лишь бы хватило у людей для этого физических сил.

В последний раз я встретился с Довженко в одном из киевских садов над Днепром. Летняя зеленая пышность сада сменилась уже пышностью осени.

Довженко только что вернулся из Каховки, куда ездил работать над новым своим сценарием. Он объехал все строительство, изучил его и пришел к нескольким удивительным на первый взгляд выводам. Он тотчас же изложил эти свои мысли в виде докладной записки в правительство и привез свой доклад в Киев.

Сущность этого доклада сводилась к следующему. На дне будущего Каховского моря снесено много тысяч крестьянских хат. Людей переселяют на днепровские кручи, где строят новые колхозные села.

Вот об этих новых селах Довженко и писал. Они были построены по типовым проектам и выглядели казарменно и уныло. Одинаковые дома стояли в степи шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии друг от друга. Дома эти не были огорожены. Архитектурный проект не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок на выжженном солнцем пустыре.

В этих селах не было центра и хотя бы одного приметного высокого сооружения — никакого ориентира. В старину такими ориентирами были колокольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни с часами. Плоская степь невольно наводила на мысль о необходимости одного-двух таких приметных зданий в каждом селе.

Довженко справедливо писал, что у людей не может быть никакой охоты жить в этих не отличимых друг от друга домах, где, кстати, не растет за окнами ни одного деревца. В нашей гигантской работе по подъему земледелия, говорил Довженко, нужно думать не только о совершенных методах работы, но и о состоянии и настроении людей.

«Новые села, — писал Довженко, — должны быть живописными, разнообразными и уютными. Почему в новых селах нет переулков, поворотов, зарослей, са-

дов? Почему украинская живописность уступила место деляческой сухости и какой-то мертвой скаредности мысли у архитектора, строившего эти села? Почему при постройке их не была принята во внимание живая душа человеческая? Неужели мы можем мириться с таким пренебрежением к колхозникам, которые, как очевидно думают строители таких сел, — только рабочие руки, не чувствующие красоты и нисколько в ней не нуждающиеся. Нужно в корне переменить это дело и приостановить насаждение уныния в нашей стране».

Мы стояли с Довженко над обрывом Днепра. Он поднял трость и показал на юг. Там, в голубеющем тумане светились воды Днепра и вся даль поблескивала слабым свечением, должно быть от летящей по ветру паутины. Там простиралась любимая его Украина.

Довженко оставил не только превосходные свои фильмы. Он оставил рассказы, очерки, пьесы. Они написаны с жаром души, они патетичны в лучшем смысле этого слова, как патетична во многом проза Гоголя.

У Довженко была очень маленькая записная книжка. Там были записаны одним только словом сюжеты его устных и совершенно великолепных рассказов. Бесконечно жаль, что сейчас их уже нельзя записать и восстановить. Они ошеломляли слушателей неожиданными поворотами сюжета, покоряли их юмором и поэзией. Я слышал только три рассказа — о народной медицине, лейтенанте Сливе и поездке в Батурин — но не забуду их никогда. Они всегда будут для меня вершинами словесного творчества, к сожалению навсегда утерянного, так как никто уже не сможет повторить тончайших интонаций Довженко, пленительного украинского строя его речи и его лукавого юмора.

1956

МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление.

Спекшийся от столетий быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы.

Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда «Кара-Бугаз».

В это время я познакомился с Лоскутовым.

В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каж-

дый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новые вещи.

Очевидно по примеру пушкинского «Арзамаса», Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана «Конотопами».

Раз в месяц устраивался «Большой Конотоп». На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал «Средний Конотоп» и, наконец, каждый вечер «Малый Конотоп». Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лоскутов, Семен Гехт, я, редактор журнала «Наши достижения» Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала «Пионер» Боб Ивантер.

На «Конотопе» я услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонах предавался размышлениям о своей будущей смерти:

Конотопские женщины свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«Отчего это вмер паренек?»

Стихи кончались жалобным криком:

Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в «Конотоп»!

Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек.

Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, «чертовски талантливым» писателем.

У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного

или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к жизни.

Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из «подробностей быстротекущей жизни», они всегда были основаны на конкретности, на своем видении мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места никакой поэзии.

Жизнь Лоскутова была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и не описанный континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника, — такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.

Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей.

Прочтите в его книге эпизод с грузовой машиной. Она стоит на обочине дороги, мотор у нее работает вхолостую, и кажется, что машина трясется от злости.

Шофер сидит рядом на траве и подозрительно следит за машиной. Проезжие, думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают помочь. Но шофер мрачно отказывается и говорит:

— Ничего. Она постоит, постоит и пойдет. Это она характер показывает.

Эта простая на первый взгляд и скупо написанная сцена полна большого содержания.

Прежде всего в ней ясно виден неудачник-шофер, мучающийся с этой машиной, как с упрямым и вздорным существом, шофер-труженик, безропотно покрывающий тысячи километров среднеазиатских пространств.

Кроме того, в этом эпизоде заключена мысль об отношении человека к машине именно как к живому существу, заслуживающему то любви, то гнева, то сожаления и требующему чисто отцовской заботы. Так относятся к машине настоящие рабочие.

Описать любую машину можно, лишь полюбив ее, как своего верного помощника, — страдая и радуясь вместе с ней.

Много таких точных наблюдений разбросано в книгах Лоскутова, в частности в его «Тринадцатом караване», — наблюдений, вызывающих гораздо более глубокие мысли, чем это может показаться на первый взгляд, — наблюдений образных, острых, обогащающих нас внутренним миром писателя.

Достаточно вспомнить описанный Лоскутовым эпизод, как переполошились кочевники, когда по кара-кумским пескам прошла первая грузовая машина и оставила два параллельных узорчатых следа от колес. Набредшие на эти следы пастухи тотчас же разнесли по пустыне тревожный слух, что ночью по пескам проползли рядом две исполинские змеи, — пастухи ни разу еще не видели машины. Они привыкли только к следам животных и людей.

В книгах Лоскутова много разнообразного познавательного материала. Из них мы впервые узнаем о многом, хотя бы о том, как ведут себя во время палящего зноя в пустыне самые обыкновенные вещи, — вроде зубной пасты или легких летних туфель.

Лоскутов не успел написать и сотой части того, что задумал и мог бы написать. Он погиб преждевременно и трагически.

Его книги говорят не только о том, что мы потеряли большого писателя, не только о том, как богата талантами наша страна, но и о том, как надо крепко беречь каждого талантливого человека.

1957

ПОТОК ЖИЗНИ

(Заметки о прозе Куприна)

В 1921 году в одесских газетах появилось объявление о смерти никому не известного Арона Гольдштейна.

В те годы революции, голода и веселья никто бы не обратил внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией Гольдштейн не было напечатано в скобках: «Сашка Музыкант из «Гамбринуса».

Я прочел это объявление и удивился. Значит, он действительно жил на свете, этот Сашка Музыкант, а не был только отдаленным прототипом для Куприна в его «Гамбринусе». Значит, все, о чем писал в этом рассказе Куприн, — подлинность.

В это трудно было поверить потому, что жизнь и искусство в нашем представлении никогда не сливались так неразрывно.

Оказалось, что Сашка Музыкант, давно ставший для нас легендой, литературным героем, жил в зимней обледенелой Одессе рядом с нами и умер где-то на мансарде старого одесского дома.

Хоронила Сашку Музыканта вся портовая и окраинная Одесса. Эти похороны были как бы концовкой купринского рассказа.

Колченогие лошади, часто останавливаясь, тащили черные дроги с гробом. Где достали этих одров, выживших в то голодное время, когда и людям нечего было есть, так и осталось тайной.

Правил этими конями высокий рыжий старик, должно быть какой-нибудь знаменитый биндюжник с Молдаванки. Рваная кепка была сдвинута у него на один глаз. Биндюжник курил махорку и равнодушно сплевывал, выражая полное презрение к жизни и к смерти. «Какая разница, когда на Привозе уже не увидишь буханки арнаутского хлеба и зажигалка стоит два миллиона!»

За гробом шла большая шумная толпа. Ковыляли старые тучные женщины, замотанные в теплые шали. Похороны были для них единственным местом, где можно поговорить не о ценах на подсолнечное масло и керосин, а о тщете существования и семейных бедах, — поговорить, как выражаются в Одессе, «за жизнь».

Женщин было немного. Я упоминаю их первыми потому, что, по галантным правилам одесского нищего люда, их пропустили вперед к самому гробу.

За женщинами шли в худых, подбитых ветром пальто музыканты — товарищи Сашки. Они держали под мышками инструменты. Когда процессия остановилась около входа в заколоченный «Гамбринус», они вытащили свои инструменты, и неожиданная печальная мелодия старинного романса полилась над толпой:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется...

Скрипки пели так томительно, что люди в толпе начали сморкаться, кашлять и утирать слезы.

Когда музыканты кончили, кто-то крикнул сиплым голосом:

— А теперь давай Сашкину!

Музыканты переглянулись, ударили смычками, и над толпой понеслись игривые скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса!
Прощай, мой Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!

Куприн писал о посетителях «Гамбринуса», что все это были матросы, рыбаки, кочегары, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — люди молодые, здоровые, пропитанные крепким запахом моря и рыбы. Они-то и шли сейчас за гробом Сашки Музыканта. Но от прежней молодости и задора ничего уже не осталось. «Жизнь погнула!» — говорили старые морские люди. Что от нее сохранилось? Надсадный кашель, обкуренные седые усы да опухшие суставы на руках с узловатыми синими венами. Да и то сказать — жизнь не обдуришь! Жизнь надо выдюжить, как десятипудовый тюк — донести до трюма и скинуть. Вот и скинули, а отдохновения все равно нету, — не тот возраст! Вот и Сашка лежит в гробу белый, сухой, как та обезьянка.

Я слушал эти разговоры в толпе, но их горечь не доходила до меня. Я был тогда молод, революция гремела вокруг, события смывали друг друга с такой быстротой, что некогда было как следует в них разобраться.

Ко мне подошел репортер Ловенгард — седобородый нищий старик с большими детскими глазами.

Ловенгард, как шутили молодые непочтительные репортеры, картавил на все буквы, и потому его не всегда можно было сразу понять. К тому же Ловенгард любил говорить несколько выспренно.

— Я первый, — сказал он мне, — привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, курил, пил пиво и смеялся — и вдруг через год вышел этот рассказ! Я плакал над ним, молодой человек. Это — шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Он был прав, Ловенгард. Я не знал, что он был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о самом Ловенгарде.

Это был подлинный купринский персонаж. Единственной страстью этого одинокого старика был одесский порт. В редакциях газет ему предлагали любую выгодную работу, но он от всего упорно отказывался и оставлял за собой только порт.

С утра до вечера, в любое время года и в любую погоду, он медленно обходил все гавани и все причалы — неимоверно худой и торжественный, как Дон-Кихот, опираясь вместо рыцарского копья на толстую палку.

Он подымался на все пароходы и, как «капитан порта», в известном рассказе Грина, опрашивал моряков о подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и с отпетыми портовыми босяками и, разговаривая, снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди буйного и ядовитого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка Музыкант для моряков.

Мне кажется, что Ловенгард очень просто, даже слишком просто сказал о том главном, что характерно для Куприна — о его любви к человеку и его человечности.

Любовь Куприна к человеку проступает ясным подтекстом почти во всех его повестях и рассказах, несмотря на разнообразие их тем и сюжетов. Она лежит в основе таких разных произведений, как «Олеся» и «Анафема», «Чудесный доктор» и «Листригоны».

Прямо, в открытую, Куприн говорит о любви к человеку не так уж часто. Но каждым своим рассказом он призывает к человечности.

Он повсюду искал ту силу, что могла бы поднять человека до состояния внутреннего совершенства и дать ему счастье. В поисках он шел по разным путям, часто заблуждался, но в конце концов пришел к единственно правильному решению, что только величайший гений социализма приведет к расцвету человечности в этом измученном противоречиями мире.

Он пришел к этому решению поздно, после трудной и сложной жизни, после дружбы и разрыва с Горьким, после своего противоречивого и не всегда ясного от-

ношения к революционным событиям, после некоторой склонности к анархическому индивидуализму, — пришел уже в старости, больной и утомленный своим непрерывным писательским трудом. Тогда он вернулся из эмиграции на родину, в Россию, в Советский Союз, и этим поставил точку под всеми своими исканиями и раздумьями.

Александр Иванович Куприн родился 8 сентября 1870 года в городке Наровчате Пензенской губернии.

Городок этот стоял, по свидетельству Куприна, среди пыльной равнины и каждый год почти наполовину выгорал от пожаров. Место было унылое и безводное.

Долгое время Наровчат по своей полной ничтожности пребывал в качестве так называемого «заштатного города». В нем не было ничего примечательного, кроме ремесленников, делавших хорошие решета и бочки, и ржаных полей, подступавших вплотную к заставам Наровчата.

У городка этого по существу не было истории, как не было и своих летописцев. Да и в литературе Наровчат до революции ни разу не отмечался.

В общем, только два выдающихся литературных события были связаны с именем этого захолустного городка — рождение в нем Куприна и «Наровчатская хроника», книга Федина, тоже имевшего некоторое касательство к Наровчату (мать писателя была родом из этого городка).

Пензенская земля дала много незаурядных людей. Недаром Чехов в одном из своих писем пензяку Ладыжинскому шутливо воскликнул: «Vive la Penza! Да здравствует Пенза!»

В первом ряду этих замечательных пензяков был Куприн.

Отец Куприна — обнищавший дворянин — был мелким уездным письмоводителем.

Раннее его детство прошло в скучнейшем Наровчате, в обстановке мещанской и скудной, но Куприн никогда не проклинал этот город. Наоборот, он любил

его, как любят, должно быть, заброшенного и некрасивого ребенка, и, будучи уже писателем, навещал его. Каким бы он ни был, этот безвестный Наровчат, но все же это была родина, своя земля. Она первая открыла ему свою нехитрую прелесть.

В любви к родным местам есть всегда доля необъяснимого или, вернее, необъясненного. Порой эта любовь ставит нас в тупик и удивляет, но, конечно, только в тех случаях, когда относится не к нашим родным местам.

Вот Наровчат! За что, кажется, можно полюбить этот плоский и пыльный городок?

Для того чтобы проникнуть в тайну этой любви, нужно пожить в нем, и тогда, возможно, и вам, приезжему человеку, приглядится и полюбится этот городок. Тогда исподволь начнет оживать скрытая в нем поэзия молчаливых полей, что простираются вокруг, поэзия закатов, мутных от пыли, поднятой стадами, резных наличников с облупившейся краской, могучих вязов со внезапно возникающим шумом тяжелой листвы, фикусов, выставленных под теплый дождь, веснушчатых детей и сухих вечеров, когда зарницы полыхают за оврагами, за полями и от них доходит запах прибитой дождем дорожной пыли.

Все эти разнообразные черты, где бы мы с ними ни встречались, одинаково близки и понятны нам, и из них-то и разрастается любовь к своей земле.

С самого раннего детства она завладела Куприным и преобразилась в дальнейшем в сильнейшую жадность к жизни. Это, пожалуй, было самым характерным свойством Куприна как писателя и человека. Не было ничего в реальной жизни своей страны, ни единой мелочи, которая казалась бы ему безразличной.

Сам он сказал о себе словами Платонова в «Яме»:

«Я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни

и нестерпимое любопытство... я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою, или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого я встречаю».

В этих словах — человеческий и писательский облик Куприна.

Для него характерна конкретность видения мира. Он говорит не вообще о махорке, а о махорке-серебрянке, и не вообще о рыбачьих промыслах на Черном море, а именно о Дубининских промыслах. И мы прекрасно понимаем, что Куприн может написать интереснейшие рассказы и об этой махорке и этих промыслах, и потому нам становится досадно, что он упомянул о них вскользь и не рассказал подробнее.

Есть наука или, вернее, свод знаний, которая носит скучное название «товароведение». Она подробно рассказывает о всех так называемых товарах, хотя бы, к примеру, о той же махорке, о всех ее сортах и качествах, о том, как ее выращивают и приготовляют, о том, чем и почему «кременчугская крошка» лучше «нежинских корешков». Учебник товароведения можно читать как увлекательную повесть.

Можно представить себе такой же свод знаний о жизни, своего рода энциклопедию жизневедения. В этой области Куприн был замечательным знатоком, великим жизневедом. Все окружающее, в особенности человеческий быт, обиход, служило для него вернейшим показателем внутренней человеческой жизни и ее сложнейших психических состояний.

Но дело не только в знании людей. Куприн поистине поражает нас своими познаниями в любой области жизни.

Познания эти особенно ценны потому, что все они — следствие житейских наблюдений. Все пережито, все увидено воочию, все услышано самим писателем. Это сообщает прозе Куприна неувядаемую свежесть и богатство.

Можно открывать наугад том за томом сочинения Куприна и в каждом рассказе находить россыпи глубоких и разносторонних знаний.

Например, в великолепном рассказе «Анафема» Куприн показал себя блестящим знатоком церковной службы с ее «крюковскими» распевами, требниками, чином анафемствования, канонами. В «Поединке» и в цикле военных рассказов Куприн — непревзойденный знаток армейской службы и армейских нравов.

Обо всем он пишет, как знаток, — о цирке, актерской работе, охоте, рысистых бегах и нравах животных.

Куприн читается легко. Таково общее мнение. И это верно. Но для того чтобы погрузиться в тот житейский материал, какой «подымает» Куприн, чтобы оценить всю обширность купринских познаний в науке жизневедения, надо читать его книги медленно, надо запоминать множество точных и метких черт жизни, схваченных острым глазом писателя и целиком перенесенных им из жизни на страницы книг, где они продолжают жить, как и в действительности. Так пересаживают растения с комом плодородной земли, чтобы они не завяли.

Одним из первых выражений купринского «жизневедения» была его маленькая книга «Киевские типы». Она похожа на блестяще выполненный молодым писателем литературный этюд.

Это — галерея киевских обывателей (в Киеве обывательщина носила своеобразный, несколько западный характер) и темных пронырливых людей — от студентов-«белоподкладочников» до шулеров.

Нужно было обладать превосходной проницательностью, чтобы так безошибочно вникнуть в душевный мир разнообразнейших людей, как это сделал Куприн в своих «Киевских типах».

Я не буду подробно рассказывать здесь биографию Куприна. Вся его жизнь — в его повестях и рассказах. Полнее, чем сам Куприн, никто об этом, конечно, не скажет. К тому же Куприн писал, что «лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателей, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло». По-

этому я ограничусь лишь самыми важными событиями из его жизни.

Отец умер рано. С тех пор у мальчика началась сиротская жизнь с беспомощной матерью, жизнь без маленьких радостей, но с большими обидами и нуждой. С необыкновенной едкостью и горечью Куприн рассказал об этой сиротской жизни в рассказе «Река жизни»:

«Моя мать... рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитанием по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми мучительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей, — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей... Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво, и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед».

Мать Куприна устроилась во вдовий дом в Москве на Кудринской площади. Мальчик первое время жил там вместе с матерью, потом его перевели в сиротский пансион.

В нашей дореволюционной литературе мало писали о «богоугодных заведениях» — о сиротских и вдовьих домах и убежищах для престарелых. Унижение человека было доведено в этих заведениях до степени искусства. Нужно было впасть в полное отчаяние, чтобы добиваться приема в эти дома, откуда не было

другого выхода, кроме как в больницу или на кладбище.

Куприн с необыкновенной точностью описал жизнь этих заведений в рассказах «Беглецы», «Святая ложь», «На покое». Он, пожалуй, первый из наших писателей безбоязненно прикоснулся к теме людей, вышвырнутых за ненадобностью из жизни. Он писал об этом с какой-то пронзительной жалостью.

Но у Куприна было доброе сердце. Иногда он сам не выдерживал беспросветного горя, о котором писал, и старался смягчить судьбу своих персонажей по своей писательской воле. Но это плохо ему удавалось и воспринималось читателями, да, очевидно, и самим автором, как беспомощное утешение или как вынужденная концовка святочного рассказа.

После сиротского периода в жизни Куприна начался второй период — военный. Он тянулся очень долго — четырнадцать лет.

Мальчика удалось устроить в кадетский корпус. В те времена для детей обнищавших чиновников и дворян кадетский корпус был единственной возможностью получить кое-какое образование, — обучение в корпусе было бесплатное, и кадеты жили, как говорилось, «на всем готовом».

Из корпуса Куприн перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. Оттуда он был выпущен подпоручиком и направлен «для несения строевой службы» в 46-й пехотный Днепровский полк. Полк стоял в захолустных городках Подольской губернии — Проскурове и Волочиске.

Очень лаконично Куприн описал эти заброшенные города в своих военных рассказах.

В этих рассказах впервые проявилась редкая особенность купринского таланта (таланта «чрезвычайного», как говорил о нем Бунин) — его способность быстро и крепко вживаться в любую обстановку, в любой уклад жизни, в любой пейзаж. О чем бы Куприн ни писал, он с первых же слов захватывал читателя полной достоверностью своей прозы.

Писал ли он об Одессе, Западном крае, Киеве, лесах и посадах Рязанского края, Балаклаве, Донецком

бассейне, Полесье, Москве, о деревнях и железнодорожных полустанках — всегда он наполнял свои рассказы остро подмеченными чертами, которые тотчас же переносили нас, читателей, в эти места, делали нас обитателями их и очевидцами местных событий.

Эта способность Куприна — все от того же жизнелюбия, постоянной заинтересованности всеми проявлениями действительности, от жажды все знать, все видеть и все понять.

Куприн прослужил в полку всего четыре года. Но этого времени ему вполне хватило, чтобы досконально изучить армейскую жизнь и написать через несколько лет одно из самых замечательных и беспощадных произведений русской литературы — повесть «Поединок».

«Поединок» вышел в мае 1905 года в 6-м сборнике «Знания».

Появление этой книги было тяжелейшей пощечиной политическому строю царской России. Успех «Поединка» был поистине неслыханным и небывалым.

Я был в то время мальчишкой, мне исполнилось только тринадцать лет, но я помню и то грозное время и то впечатление, какое произвела новая книга Куприна.

Война в Маньчжурии приближалась к своему роковому и позорному концу. Солдаты гибли тысячами в гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов. Болтливого Куропаткина сменил выживший из ума маньяк генерал Линевич. Тыл воровал и пьянствовал. Армия не умела даже отступать. Страна волновалась.

И как последний ошеломляющий удар пришла весть о полном, почти неправдоподобном разгроме всего нашего флота при Цусиме.

Я видел первые рабочие и студенческие демонстрации после Цусимского разгрома. Даже шарманщики пели по дворам новую песню:

Довольно! Довольно! Герои Цусимы,
Вы жертвой последней легли.
Она уже близко, она у порога,
Свобода родимой земли!

И в это время вышел «Поединок».

Все искали причин маньчжурского поражения. Куприн в «Поединке» сказал свое слово об этих причинах с такой неопровержимостью, что даже сторонники царского строя были растеряны.

Нельзя было спорить с очевидностью. А этой очевидностью был «Поединок» — повесть и вместе с тем документ о тупой и сгнившей до сердцевины офицерской касте, об армии, державшейся только на страхе и унижении солдат, об армии, как бы нарочно созданной для неизбежного и постыдного разгрома в первых же боях.

Волна гнева прокатилась по стране. Даже лучшая часть офицерства приветствовала Куприна и посылала ему благодарственные телеграммы. Но большинство офицеров — типичных героев из «Поединка» — было возмущено и озлоблено.

В то время я — киевский гимназист — жил вне семьи и снимал комнату в тесной дешевой квартире пехотного поручика Ромуальда Козловского в Диком переулке. Поручик жил с матерью — подслеповатой и незлобивой старушкой.

Когда я прочел «Поединок», то мне казалось, что в этой книге не хватает Ромуальда Козловского. Чванный этот офицер, несмотря на то, что отец его был полотером, очень кичился своим шляхетством и был налит до краев глуповатым гонором. Он был задирист и взвинчен постоянным ожиданием столкновений с непочтительными «шпаками». Он даже ждал этих столкновений и набивался на них, чтобы потом защищать свою шляхетскую честь и честь своего пехотного мундира.

Из-за своего маленького роста он носил сапоги на высоченных каблуках, корсет и все время вытягивался, как петух перед тем, как загорланить на мусорной куче.

По утрам он пил на кухне ячменный кофе, сидя в подусниках и голубых кальсонах. От него несло бриллиантином и крепкими дешевыми духами. Пан Ромуальд душился яростно, чтобы перебить кислый

запах каких-то лекарств, которыми он безуспешно лечился от сифилиса. Этот тошнотворный запах сочился из его комнаты и наполнял всю квартиру.

Поручик считал себя сердцеедом, неутомимым в любви. Говорили, что он бил солдат. Изредка он бренчал на гитаре и пел шансонетку:

Ваша ножка
Толста немножко,
Но обожаю
Ее лобзать!

С матерью он был груб. Она боялась его. Я же поручика ненавидел.

Однажды пан Ромуальд вошел в кухню, где мы со старушкой Козловской пили кофе «Гималайское жито». Он брезгливо нес двумя пальцами неизвестную книгу и бросил ее в мусорное ведро.

— Сожгите это! — сказал он своей мамаше. — Сожгите в грубке эту гадость, где какой-то штафирка позволил себе оплевать наше русское офицерство. Если бы он мне попался, я бы показал ему кузькину мать, клянусь честью. Он бы у меня потанцевал!

Этой книгой был «Поединок».

Сейчас я ловлю себя на том, что уже второй раз вспоминаю людей, которые могли бы участвовать в рассказах Куприна. Мне кажется, что это совсем не случайно и только доказывает необыкновенную типичность его персонажей для своего времени, кажущегося нам очень далеким.

Сила «Поединка» в превосходном знании армейской среды и в точности ее изображения. Портретная галерея офицеров в «Поединке» вызывает и стыд за человека и спасительный гнев.

Шкала унижения в армии шла по нисходящей линии: генерал грубо и пренебрежительно обращался с командиром полка, командир в свою очередь «цукал», как тогда говорили, офицеров, а офицеры — солдат. Всю злобу мелких неудачников, всю житейскую муть, жгущую сердце, офицеры срывали на солдатах.

Почти все офицеры в «Поединке» — это скопище ничтожеств, тупиц, пьяниц, трусливых карьеристов и невежд, для которых Пушкин был только «какой-то там шпак».

Они начисто оторваны от народа. Они варятся в грязноватом и нудном быту. Их сознательно превратили в касту с ее спесью, с ее ни на чем не основанном представлении о своей исключительной роли в жизни страны, о «чести мундира».

Лучше всего об этом сказал Куприн словами одного из героев «Поединка», талантливого и спившегося офицера, доморощенного ницшеанца Назанского:

«Подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы... убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: «Стреляй!», и он стреляет, — кого, за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть талантливого, способного, — спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом.

...Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас (офицеров. — *К. П.*)... станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что

мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы — слепы и глухи ко всему. Давно уже где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли... А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшечьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят — во веки веков!»

О сирой солдатской доле Куприн говорит с такой же жестокой силой, как и об офицерстве.

Мучительная сцена разговора Ромашова с замордованным, обезумевшим от побоев солдатом Хлебниковым, пытавшимся броситься под поезд, принадлежит к одной из лучших сцен в русской литературе. Ее невозможно читать без глубокой внутренней дрожи.

В том же ряду, как и «Поединок», стоят военные рассказы Куприна: «Ночная смена», «Поход» и «Дознание».

Значительно позднее «Поединка» Куприн написал превосходный и отточенный рассказ о японском шпионе — «Штабс-капитан Рыбников».

В рассказе великолепно выписан японский шпион, в какой-то мере напоминающий гоголевского капитана Копейкина. Это был, пишет Куприн, «настоящий тип госпитальной военно-канцелярской или интендантской крысы». Шпион долго и безнаказанно работал только из-за разгильдяйства властей и благодушия и непомерной лени русских интеллигентов.

«Поединок» стал одной из революционных вех в России. Недаром, когда Куприн читал «Поединок» в Севастополе, к нему подошел лейтенант Шмидт и крепко пожал ему руку. Это было незадолго до восстания на «Очакове».

После «Поединка» слава Куприна приобрела не только всероссийский, но и мировой характер. Но Куприн не только не обольщался ею, но даже тяготился.

Свою славу Куприн, по свидетельству Бунина, «нес... так, как будто ровно ничего не случилось в его жизни; казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, ни в грош не ставит ее».

Куприн часто говорил, что писателем он стал случайно и потому собственная слава его удивляет.

В 1894 году Куприн вышел в отставку из армии и поселился в Киеве.

Сначала он бедствовал, но вскоре начал работать в киевских газетах фельетонистом и писать, как он говорил, «рассказишки».

До этого Куприн писал очень мало. Еще юнкером в 1889 году он напечатал свой первый рассказ «Последний дебют» в московском юмористическом журнале «Русский сатирический листок». В кадетском корпусе Куприн написал несколько стихотворений с революционной, но несколько приподнятой и по-детски наивной окраской.

Свои рассказы Куприн писал легко, не задумываясь, брал талантом, но прекрасно понимал, что на одном таланте без большого жизненного материала долго не продержишься. В одном из своих писем он писал о том, что, когда он вышел из полка, «самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний — ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги».

Надо было уходить в жизнь, и Куприн, не задумываясь, бросился в нее. Он изъездил всю Россию, меняя одну профессию за другой. Он изучил страну и знал ее во всех ее качествах, любил жить одной жизнью с простыми людьми, выспрашивать их, следить за ними, запоминать их язык, их говор.

И так постепенно, из года в год, Куприн стал таким же бывалым человеком, как Горький, с которым он потом подружился, как Лесков, — стал знатоком своего народа и его описателем. Поэтому он никогда

не чувствовал недостатка материала. Все занимало его, и обо всем он рассказывал живо, со вкусом, ни на минуту не сомневаясь в том, что это интересно и всем окружающим.

В этом широком погружении в жизнь страны вырабатывалась зрелость писателя. В этом отношении интересно сравнить рассказы «Киевские типы» с рассказом «Река жизни».

Все эти рассказы связаны с жизнью Куприна в Киеве. Материал их одинаков, но после фельетонных, хотя и несомненно талантливых, «Киевских типов» рассказ «Река жизни» по своей силе является классическим.

Мне пришлось еще юношей жить в таких же киевских номерах, как купринская «Сербия», и каждый раз, когда я перечитываю этот рассказ, он меня поражает своей типичностью. В «Сербии» я не жил. Но жил в номерах «Прогресс». Там все было совершенно таким же, как и в описанной Куприным «Сербии»,— и вся обстановка, и хозяйка, и ее любовник-управитель, и вся коллекция отталкивающих и подозрительных жильцов.

Тогда, между прочим, я впервые и единственный раз видел Куприна. Он выступал в помещении киевского цирка с чтением своих рассказов. Читал он превосходно. Меня поразила внешность Куприна. До этого я видел его фотографии, и он казался мне похожим на хорошего русского прасола. У него было широкое простонародное лицо чуть монгольского типа.

В цирке же я увидел крепкого, немного кряжистого человека с явными чертами внутреннего и внешнего изящества — вплоть до красной гвоздики в петлице пиджака

В 1896 году Куприн работал в кузнечном цехе одного из металлургических заводов Донбасса. Вскоре после этого он написал повесть «Молох».

В те годы донецкие земли быстро теряли патриархальный характер чеховской «Степи». Мутные дымы

заводов залегли над степными горизонтами. Степная поэзия «Слова о полку Игореве» ушла в невозвратимое прошлое. А. Блок писал об этом:

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

Донецкий бассейн охватила золотая каменноугольная лихорадка. Угленосные участки раскупались за бешеные деньги. Создавались акционерные компании, строились шахты и заводы. Шло жестокое соревнование между русскими промышленниками и иностранцами. Иностранцы почти всегда побеждали. У них была старая сноровка, а русские толстосумы, недавние купцы и подрядчики, пока что примеривались и приспосабливались и знали только один способ выколачивать прибыли — выжимать все до конца из людей, земли и машин.

Перечитывая Куприна, я с удивлением заметил, что в своих жизненных скитаниях я как бы шел по его следам. Западный край, Киев, Одесса, Донбасс, Балаклава, Мещерские леса под Рязанью — все это прошло через жизнь почти в той же последовательности, как и в жизни Куприна. Разница была только во времени, и то небольшая, не больше двадцати лет.

Я застал жизнь такой же, какой она была при Куприне, и потому могу с некоторым правом свидетельствовать о необыкновенной свежести его характеристик людей и событий, всего его художественного письма.

Куприн был на Юзовском заводе в 1896 году. Мне привелось работать там в 1916 году — ровно через двадцать лет, но я застал еще в Донбассе всю обста-

новку купринского «Молоха». Я помню те же рабочие поселки, Нахаловки и Шанхаи, из землянок и лачуг, беспросветную работу и нужду шахтеров, воскресные побоища с казаками, уныние, гарь, брезгливых и высокомерных инженеров и «молохов» — владельцев акционерных компаний, промышленных сатрапов, перед которыми заискивали министры.

Ни в одной своей вещи Куприн не выразил с такой силой, как в «Молохе», свою ненависть к капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое сочувствие рабочим, обреченным на голод и нищету.

Очень резко, густо выписан в повести делец и промышленник Квашнин — «молох», «мешок, набитый золотом». Временами Куприн придает Квашнину даже несколько гротескные черты.

Часть современных Куприну критиков, так называемых «литературных чистоплюев», обвиняла писателя, особенно в связи с «Молохом», в том, что он не окончил «литературную консерваторию» и допускает в своих вещах языковые и стилистические небрежности.

Обвинение это объясняется тем, что Куприн стремится сказать все, что он хотел, «по свежему следу», не откладывая работу и не вынашивая ее годами. Ему было важно заразить людей своим состоянием, своими мыслями, гневом или радостью, своей заветной мечтой, и для этого он не искал особых слов и особых эпитетов.

Куприн любил и превосходно знал русский язык, но никогда не делал из него раз навсегда установленного литературного канона.

Временами его язык приближается к разговорному, к языку устного рассказчика, и в этом отношении он несколько родствен языку Толстого. Вместе с тем Куприн всегда восхищался языком Чехова — «благоуханным, тонким и солнечным». Эта солнечность языка, его свет, его сила, его свежие краски были присущи и купринскому языку.

Куприн с удивительным чувством меры и умением пользовался родственными русскому языками (в частности, украинским) и местными диалектами. Особенно хороши его полесские рассказы, где диалект полещуков придает локальную прелесть всему произведению.

Помимо этого, Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до «блатного» языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента. Это качество придает его рассказам острую типичность. Куприн свободно владел способностью характеристики не только отдельных людей, но и больших прослоек русского общества при помощи их языковых особенностей, при помощи диалога.

Примеров можно привести много, но достаточно хотя бы двух — манеры говорить инженера Боброва из «Молоха» и студента из рассказа «Река жизни».

Ничто так не разоблачает внутреннюю несостоятельность этих «интеллигентов», как их язык — приподнятый, временами даже ходульный, книжный, многословный, «прекраснодушный», но лишенный твердости и силы.

По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.

Еще будучи офицером, Куприн ездил в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Экзамена он не выдержал, но поездка помогла ему установить связь с журналом «Русское богатство» и несколькими писателями.

С тех пор, несмотря на беспрерывные скитания иногда по самым забытым и глухим углам страны, Куприн не прерывал эти связи. Он познакомился с Чеховым, часто бывал у него в Ялте на Аутке и сдружился там с Буниным, Горьким, Федоровым, писателем-доктором Елпатьевским и со всем чеховским окружением.

Среди писателей он выделялся своей непосредственностью, простотой и образом жизни, далеким от обычного писательского существования. Дружа с писате-

лями; Куприн никогда не изменял своим старым друзьям из рабочих, рыбаков, крестьян и матросов, из простонародья и ради общения с ними легко мог поступиться обществом литераторов.

В нем не было тщеславия. Он никогда не говорил о себе как о писателе, — возможно, что он просто забывал об этом. Но он никогда не упускал случая помочь начинающему писателю, особенно если он происходил из милой его сердцу простонародной среды.

Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил и жестоко заставлял его, Никандрова, работать, чтобы «сколотить из него настоящего писателя».

История эта вообще интересна для характеристики того времени.

В 1905 году Никандров — бывший черноморский рыбак — сидел в севастопольской тюрьме за принадлежность к организации эсеров.

Севастопольская тюрьма была расположена вблизи Базарной площади, в месте довольно оживленном. Было лето. Стояла жара, и потому окна в камерах были открыты.

Никандрову — человеку необыкновенно жизнерадостному и большому говоруну — было скучно сидеть без дела, и он придумывал себе развлечения. Стоя у окна, он следил за пешеходами, шедшими на базар, главным образом за крикливыми южными хозяйками. Как только хозяйки, встретившись, останавливались и заводили разговор, Никандров начинал вслух сочинять этот разговор — смехотворный и необыкновенно сочный. Никандров хорошо знал быт и нравы южан.

Вся тюрьма слушала Никандрова у открытых окон и награждала его рассказы хохотом и аплодисментами.

Однажды Никандров получил через уголовного, прибиравшего камеры, записку. В ней было сказано, что если Никандров набросает на бумаге свои устные рассказы и передаст их автору этой записки, то рассказы можно будет напечатать в севастопольской газете и даже получить за них гонорар. Под запиской стояла незнакомая Никандрову подпись — Гриневский. Это был А. С. Грин.

Никандров набросал свои озорные рассказы, переслал их Грину, и вскоре рассказы действительно были напечатаны.

После освобождения из тюрьмы Никандров зашел в редакцию севастопольской газеты. Там на его имя лежало письмо из Балаклавы от Куприна. Куприн с восхищением отзывался о рассказах Никандрова и приглашал неизвестного автора к себе.

Никандров поехал к Куприну в Балаклаву, они быстро сдружились, и Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства.

В Балаклаве Куприн написал один из самых обаятельных своих рассказов «Листригоны».

Я уже говорил о том, что почти все вещи Куприна автобиографичны. Все мечтатели и все влюбленные в жизнь в его рассказах — это он сам, Куприн, цельный и непосредственный человек, не знающий ни рисовки, ни позы, ни резонерства. Поэтому его неудержимо тянуло к таким же простым и ярким людям, каким он был сам.

Таковы были балаклавские греки — «листригоны».

Вообще «Листригоны» занимают по своей поэтичности, свободе повествования и вместе с тем по живописной конкретности людей, обстановки и пейзажа особое место в творчестве Куприна.

«Листригоны» — удивительная по простоте и прелести поэма русской прозы. Каждая черта, каждая деталь вызывают улыбку, — настолько все ощутимо верно и просто.

Двумя-тремя лаконичными фразами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, представление о Балаклаве.

Вот, например, одна из таких фраз:

«Нигде во всей России — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон — и весь поглощаешься

мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая».

Куприн недаром жил в Балаклаве. Нет, по-моему, лучшего места (конечно, зимой, когда Балаклава пустеет) для писательской работы.

Что-то гриновское есть в этом городке, в его греческих домах с пустыми нишами для статуй, в тончайших голубых сетях, разостланных прямо на набережной, в его уютных лесенках, в закоулках и переходах, в его тишине, в близости открытого моря. Гул шторма слышен рядом, за мысом, тогда как в Балаклавской бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно и ветер даже не шелестит в сухой листве акаций.

Но самыми поразительными, действительно магическими и необыкновенными являются балаклавские ночи, когда свет единственного в городе фонаря тонет во мраке и так хорошо думать, сидя на балконе, в кромешной темноте и чувствовать беспредельный покой и какую-то, я бы сказал, тишину сердца. В этой тишине должны рождаться удивительные мысли и такие удивительные книги, как «Листригоны».

У Куприна есть цикл рассказов «Лесная глушь», «Болото», «На глухарей». Их объединяет место действия — леса, но по своему содержанию они очень различны.

Благоговейная и спокойная любовь Куприна к природе очень заразительна, и в этом тоже чувствуется сила его таланта.

О природе, о лесах, о какой-нибудь хибарке смолокуров Полесья Куприн рассказывает так, что тоска начинает грызть сердце, — тоска от того, что ты сейчас не там, не в этих местах, тоска от страстного желания немедленно увидеть их во всей девственной суровости и красоте.

Одно время Куприн жил в Мещерских лесах у мужа сестры, лесничего в Криушах. Действие рассказа «Болото» происходит в Мещере.

Память о зяте Куприна и о нем самом еще жива среди старых мещерских лесников и объездчиков. Они даже показывают место, где стояла сторожка лесника Степана, описанного Куприным в «Болоте», — безответного, тихого человека, умершего, как и вся его семья, от малярии.

Сторожка стояла на Боровом Мху, на обширном болоте. Такие болота в Рязанской области зовут мшарами. Сейчас Боровой Мох почти осушен и лесники на нем уже не живут. Лесные сторожки-кордоны вынесены из болот на так называемые «острова», на песчаные бугры среди сосновых лесов.

На буграх сухо и тепло, но жить там летом — тоже адовая мука. Комара столько, что семьи лесников по неделям не выходят из избы и сидят в едком дыму от дымокуров. Спят только под марлевыми пологами. К осени комар исчезает, и потому осень — самое благословенное время для лесных жителей. Воздух свеж и чист, и последняя легкая теплота еще прогревает сосновые чащи.

О великой силе комаров можно судить хотя бы по тому, что листва ольхи по берегам озер и на болотах днем кажется серой, а не зеленой, от плотного слоя комаров, сидящих на деревьях. А по вечерам все болота зудят тонким и, кажется, всемирным комариным писком.

Мне случилось ночевать на мшарах. Ни костер, ни толстая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого водянистого холода, что сочился снизу, из самых недр земли. А туманы были такие, что никак не могли разгореться костры.

Все сказанное выше — только внешняя обстановка рассказа «Болото». Рассказ этот с потрясающей силой обличает идиотизм деревенской жизни и тупую, поистине рабскую покорность человека перед недоброй силой тогдашнего общественного строя. Вся беспомощность лесника Степана, вся его безответная философия сводится к словам: «Не мы, так другие».

Есть у Куприна одна заветная тема. Он прикасается к ней целомудренно, благоговейно и нервно. Да иначе к ней и нельзя прикасаться. Это — тема любви.

Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно сказать о любви после «Тристана и Изольды», после сонетов Петрарки и истории Манон Леско, после пушкинского «Для берегов отчизны дальной», лермонтовского — «Не смейся над моей пророческой тоскою», после «Анны Карениной» и чеховской «Дамы с собачкой»?

Но у любви тысячи аспектов, и в каждом из них — свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание.

Один из самых благоуханных и томительных рассказов о любви — и самых печальных — это купринский «Гранатовый браслет».

Куприн плакал над рукописью «Гранатового браслета», плакал скупыми и облегчающими слезами. К сожалению, писатели не так часто плачут и хохочут над своими рукописями. Я говорю к сожалению, потому, что и эти слезы и этот смех говорят о глубокой жизненности того, что писатель создал, иной раз сам не понимая до конца силы своего перевоплощения и своего таланта.

Куприн говорил о «Гранатовом браслете», что ничего более целомудренного он еще не писал.

Это верно. У Куприна есть много тонких и превосходных рассказов о любви, об ожидании любви, о трагических ее исходах, об ее поэзии, тоске и вечной юности. Куприн всегда и всюду благословлял любовь. Он посылал «великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям и вечной благости и вечной красоте, заключенной в женщине».

Характерно, что великая любовь поражает самого обыкновенного человека — гнущего спину за канцелярским столом чиновника контрольной палаты Желткова.

Невозможно без тяжелого душевного волнения читать конец рассказа с его изумительно найденным рефреном: «Да святится имя твое!»

Особую силу «Гранатовому браслету» придает то, что в нем любовь существует как нежданный подарок — поэтический и озаряющий жизнь — среди обыденщины, среди трезвой реальности и устоявшегося быта.

Все персонажи «Гранатового браслета» действительно существовали. Куприн сам писал об этом в одном из своих писем: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова».

Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы подчеркнуть безусловную подлинность многих вещей Куприна. Куприн не извлекал свои рассказы из мира вымысла и поэзии. Наоборот, он открывал в реальности поэтические пласты настолько глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного вымысла.

У меня нет возможности рассказать обо всех достоинствах «Гранатового браслета», но об одном нельзя не сказать, — о безошибочном вкусе Куприна, включившего рассказ о трагической и единственной любви в обстановку южной приморской осени.

Трудно сказать почему, но блистательный и прощальный ущерб природы, прозрачные дни, безмолвное море, сухие стебли кукурузы, пустота оставленных на зиму дач, травянистый запах последних цветов — все это сообщает особую горечь и силу повествованию.

Куприн с восторгом принял февральскую революцию, но по отношению к Октябрьской революции он занял противоречивую позицию. Он гневно восставал против врагов Октябрьской революции и вместе с тем сомневался в ее успехе и в ее подлинно народной сущности.

В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 году во Францию.

Поступок этот был не органичен для него, был случаен. За границей он тяжело тосковал по России,

почти бросил писать и, наконец, весной 1937 года вернулся в родную Москву.

Он был уже тяжко болен и умер 25 августа 1938 года.

«Даже цветы на родине пахнут по-иному», — написал он перед самой смертью, и в этих словах выразилась вся его глубочайшая любовь к своей стране.

Мы должны быть благодарны Куприну за все — за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом.

1957

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ

Кружевница Настя. — Впервые опубликован в газете «Труд» 7 августа 1942 г.

Английская бритва. — Впервые опубликована в газете «Правда Востока» 26 апреля 1942 г.

Белые кролики. — Впервые опубликован в сборнике «Наши дни», Ташкент, 1942 г.

Правая рука. — Впервые напечатан в сборнике «Степная гроза», Детгиз, М.—Л. 1945 г.

Пачка папирос. — Впервые под названием «Материнское сердце» напечатан в журнале «Красноармеец» № 9—10, 1943 г.

Робкое сердце. — Впервые напечатан в сборнике рассказов «Ленинградская ночь», Военмориздат, 1943 г.

Приказ по военной школе. — Впервые напечатан в журнале «Красноармеец» № 2, 1944 г.

Дорожные разговоры. — Впервые напечатан в газете «Пионерская правда» 26 мая 1943 г.

Снег. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 5—6, 1944 г.

Степная гроза — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 12—13, 1944 г.

Стеклянные бусы. — Впервые напечатан в газете «Известия» 1 мая 1944 г.

Бриз. — Впервые под названием «Летний бриз» напечатан в журнале «Смена» № 11—12, 1944 г.

Подпасок. — Впервые напечатан в газете «Известия» 22 октября 1944 г.

Фенино счастье. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 47, 1944 г., так же как и рассказ «Подпасок» написан по материалам частых поездок Паустовского в 1944 г. на реку Дубну в район Вербилок.

Молитва мадам Бовэ. — Рассказ печатается впервые.

Белая радуга. — Впервые напечатан в журнале «Красноармеец» № 11—12, 1945 г.

Бабушкин сад. — Впервые под названием «Старый сад» напечатан в журнале «Мурзилка» № 7, 1944 г.

Бакенщик. — Впервые под названием «На реке» был напечатан в газете «Пионерская правда» 7 июля 1943 г.

Дождливый рассвет. — Впервые напечатан в журнале «Ленинград» № 13—14, 1945 г.

Ночь в октябре. — Впервые опубликован в газете «Комсомольская правда» 2 марта 1946 г.

Телеграмма. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 8, 1946 г.

Об истории написания «Телеграммы» Паустовский подробно рассказал в книге «Золотая роза» (глава «Зарубки на сердце»). По рассказу в студии Мосфильма летом 1957 г. была снята режиссером Ю. Б. Щербаковым короткометражная кинокартина.

Воронежское лето. — Впервые напечатан в журнале «Новый мир» № 10—11, 1946 г.

Аннушка. — Впервые напечатан в журнале «Новый мир» № 10—11, 1946 г.

Роза ветров. — Впервые напечатан в журнале «Советская женщина» № 7, 1956 г.

Толя-капитан. — Впервые напечатан в газете «Пионерская правда» 26 ноября 1948 г.

Беспокойство. — Впервые напечатан в газете «Комсомольская правда» 6 ноября 1948 г.

Воитель. — Под названием «Беспокойные люди» был напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 6 ноября 1949 г.

Кордон-«273». — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 43, 1948 г.

Равнина под снегом. — Впервые опубликован в сборнике «Бег времени», изд-во «Советский писатель», 1954 г.

Записки Ивана Малявина. — Впервые опубликован в журнале «Огонек» № 6, 1950 г.

Астаповские пруды. — Впервые напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 31 декабря 1950 г.

Во глубине России. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 31, 1950 г.

Ледостав. — Впервые напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 5 ноября 1950 г.

Маша. — Впервые напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 1 мая 1950 г.

Собрание чудес. — Впервые напечатан в газете «Пионерская правда» 1 мая 1946 г.

Бег времени. — Впервые напечатан в журнале «Советская женщина» № 1, 1952 г.

Шиповник. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 38, 1951 г.

Поселок среди скал. — Впервые напечатан в журнале «Огонек» № 1, 1951 г.

Пришелец с юга. — Впервые напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 6 ноября 1952 г.

Секвойя. — Впервые напечатан в газете «Социалистическое земледелие» 1 января 1953 г.

Клад. — Впервые опубликован в газете «Правда» 12 апреля 1953 г.

Симферопольский скорый. — Впервые опубликован в сборнике «Родные просторы», Географгиз, 1954 г.

Приточная трава. — Впервые напечатан в «Литературной газете» 1 мая 1953 г.

Грач в троллейбусе. — Впервые под названием «Простой случай» опубликован в «Литературной газете» 1 мая 1953 г.

Синева. — Впервые напечатан в «Литературной газете» 17 ноября 1953 г.

Рождение рассказа. — Печатается впервые.

Таинственный сундук. — Впервые опубликован в газете «Сельское хозяйство» 1 мая 1954 г.

Беглые встречи. — Впервые опубликован в сборнике «Бег времени», изд-во «Советский писатель», 1954 г.

Корзина с еловыми шишками. — Впервые опубликован в журнале «Огонек» № 1, 1954 г.

По ту сторону радуги. — Впервые опубликован в «Литературной газете» 1 мая 1954 г.

Старик в потертой шинели. — Впервые опубликован в журнале «Огонек» № 17, 1956 г.

Уснувший мальчик. — Впервые опубликован в газете «Социалистическое земледелие» 2 мая 1957 г.

СКАЗКИ

Теплый хлеб. — Впервые опубликована в журнале «Мурзилка» № 1, 1954 г.

Похождения жука-носорога (Солдатская сказка). — Впервые под названием «Старый жук» была напечатана в газете «Пионерская правда» 1 мая 1945 г.

Стальное колечко. — Впервые напечатана в «Литературной газете» 1 мая 1946 г.

Дремучий медведь. — Впервые напечатана в журнале «Мурзилка» № 1, 1948 г.

Растрепанный воробей. — Впервые напечатана в журнале «Огонек» № 17, 1948 г.

Артельные мужички. — Впервые напечатана в сборнике «Бег времени», изд-во «Советский писатель», 1954 г.

Квакша. — Впервые напечатана в журнале «Мурзилка» № 5, 1954 г.

Заботливый цветок. — Впервые под названием «Теплый цветок» была напечатана в журнале «Мурзилка» № 6, 1953 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, ЗАМЕТКИ

Приморские встречи. — Печатается впервые.

День смерти Горького. — Впервые под названием «Завидная жизнь» опубликована в «Литературной газете» 27 июня 1936 г.

Малышкин. — Впервые напечатана в «Литературной газете» 10 августа 1938 г.

Случай с Диккенсом (Из записной книжки). — Впервые напечатана в сборнике «Михайловские рощи», изд-во «Правда», 1941 г.

Редиард Киплинг. — Впервые напечатана как вступительная статья к книге Р. Киплинга «Мятежник Моти Гадж», Детиздат, 1937 г.

Жизнь Александра Грина. — Впервые под названием «Александр Грин» была напечатана в Альманахе «Год XXII», № 15, М. 1939 г. В переработанном виде печаталась в качестве вступительной статьи к «Избранному» А. Грина, Гослитиздат, 1956 г. (Печатается по тексту Гослитиздата, 1956 г.)

Алексей Толстой. — Впервые опубликована в газете «Правда» 27 января 1939 г.

Рувим Фраерман. — Печатается впервые.

Дядя Гиляй (В. А. Гиляровский). — Впервые напечатана как предисловие к книге В. А. Гиляровского, «Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта», изд-во «Московский рабочий», 1955 г.

Фридрих Шиллер. — Впервые напечатана в журнале «Пионер» № 5, 1955 г.

Оскар Уайльд. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Оскара Уайльда «Преданный друг», Детиздат, 1937 г.

Сказочник (Христиан Андерсен). — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к «Сказкам и историям» Христиана Андерсена, Гослитиздат, 1955.

Иван Бунин. — Речь, произнесенная Паустовским на юбилее Бунина в Литературном музее в Москве в 1955 г. Печатается впервые.

Александр Довженко. — Печатается впервые.

Михаил Лоскутов. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Михаила Лоскутова «Тринадцатый караван», Детгиз, 1958 г.

Поток жизни (Записки о прозе Куприна). — Написана весной 1957 г. в Дубултах под г. Ригой, опубликована впервые в качестве вступительной статьи в I томе собр. соч. А. И. Куприна, Гослитиздат, 1957 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Кружевница Настя 7
Английская бритва 12
Белые кролики . . . 16
Правая рука 21
Пачка папирос 28
Робкое сердце 33
Приказ по военной школе 44
Дорожные разговоры 50
Снег 57
Степная гроза . . 66
Стеклянные бусы 79
Бриз 85
Подпасок 92
Фенино счастье 98
Молитва мадам Бовэ 105
Белая радуга 111
Бабушкин сад 119
Бакенщик 124
Дождливый рассвет 129
Ночь в октябре 141
Телеграмма 154
Воронежское лето 168
Аннушка 175

Роза ветров 188
Толя-капитан 202
Беспокойство 206
Воитель 213
Кордон-«273» 220
Равнина под снегом 240
Записки Ивана Малявина 254
Астаповские пруды 268
Во глубине России 275
Ледостав 290
Маша 299
Собрание чудес 308
Бег времени 314
Шиповник 320
Поселок среди скал 333
Пришелец с юга 351
Секвойя 358
Клад 365
Симферопольский скорый 376
Приточная трава 384
Грач в троллейбусе 387
Синева 391
Рождение рассказа 401
Таинственный сундук 411
Беглые встречи 419
Корзина с еловыми шишками 425
По ту сторону радуги 435
Старик в потертой шинели 443
Уснувший мальчик 458

СКАЗКИ

Теплый хлеб 467
Похождения жука-носорога (*Солдатская сказка*) 476
Стальное колечко 481
Дремучий медведь 488
Растрепанный воробей 496
Артельные мужички 504
Квакша 519
Заботливый цветок 528

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, ЗАМЕТКИ

Приморские встречи 535
День смерти Горького 542
Малышкин 544
Случай с Диккенсом 547
Редиард Киплинг 549
Жизнь Александра Грина 552
Алексей Толстой 572
Рувим Фраерман 575
Дядя Гиляй (*В. А. Гиляровский*) 585
Фридрих Шиллер 590
Оскар Уайльд 595
Сказочник (*Христиан Андерсен*) 600
Иван Бунин 618
Александр Довженко 622
Михаил Лоскутов 625
Поток жизни (*Заметки о прозе Куприна*) . . . 629

Примечания 656

Паустовский
Константин Георгиевич
Собрание сочинений, т. 5

Редактор *Н. Крючкова*
Художник *Н. Шишловский*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректоры *Э. Зайчикова, Т. Кузина*

*

Сдано в набор 12/II 1958 г. Подписано к печати 23/IV 1958 г. А 03830. Бумага $84\times108^{1}/_{32}$ — 20,75 печ. л. = = 34,03 усл. печ. л. 29,3 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 Заказ № 2867.
Цена 9 р. 70 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29